

ТРИЛОГИЯ "СТРАНА ДРУГИХ"

Дейла Слимани



Рождество
под
кипарисами

CoRpus

ГРАН-ПРИ ЖУРНАЛА "МАДАМ ФИГАРО"
ЗА ЛУЧШИЙ ЖЕНСКИЙ ПЕРСОНАЖ

Лейла Слимани

**Страна других. Книга первая.
Рождество под кипарисами**

© Éditions Gallimard, 2020

© Е. Тарусина, перевод на русский язык, 2022

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2022

© ООО «Издательство Аст», 2022

Издательство CORPUS ®

* * *

*Памяти Анны и Атики, чья свобода
служит
для меня неиссякаемым источником
вдохновения*

Моей нежно любимой матери

** * **

*Метисы – это слово звучит как проклятие,
напишем его крупно, во всю страницу.*

Эдуар Глиссан

Поэтический замысел

** * **



Юность Матильды пришлась на Вторую мировую. Без памяти влюбившись в офицера колониальных войск, она, не раздумывая, вышла за него замуж и отправилась за ним из Франции в Марокко, где жизнь женщины подчинена жестким правилам. Несмотря на разочарования, бедность и унижения, она отчаянно борется за свою любовь. «Рождество под кипарисами» – первая книга трехтомной семейной эпопеи «Страна других» знаменитой Лейлы Слимани. Гран-при журнала «Мадам Фигаро».

* * *

Выпустив два романа, Лейла Слимани очень быстро стала литературной звездой. Ее переводят на все языки, обожают в англосаксонских странах. Можно не сомневаться, что «Рождество под кипарисами», первая книга ее трилогии о Марокко, поднимет молодую писательницу на следующую ступень славы, на уровень Джонатана Франзена или Элены Ферранте.

Les Inrockuptibles

Этот роман в каком-то смысле классический: рассказ ведется от третьего лица, языком понятным каждому, с четко выверенным чередованием описаний, портретов, диалогов. И отлично работает! Лейла Слимани великолепно доказывает, что из старого можно создать новое, когда есть талант!

France Culture

В основе сюжета – судьба деда и бабушки писательницы. Это волнующая история с непростыми персонажами, мечтающими о простой жизни. Сдержанный стиль с терпким привкусом опасности и грусти буквально завораживает.

Les Échos

Часть I

«Как далеко!» – подумала Матильда, впервые приехав на ферму. Ее тревожило, что придется жить на отшибе. В то время, в 1947 году, они еще не обзавелись машиной и двадцать пять километров от Мекнеса вынуждены были трястись в старой повозке какого-то цыгана. Амин не обращал внимания на то, что деревянное сиденье ужасно неудобное, что жена задыхается от кашля, глотая пыль. Он жадно всматривался в пейзаж по обе стороны дороги и, сгорая от нетерпения, ждал, когда же они наконец доберутся до участка, унаследованного им от отца.

Много лет прослужив переводчиком в колониальной армии, в 1935 году Кадур Бельхадж купил пару сотен гектаров каменистой земли. Он поведал сыну свою мечту: превратить это владение в процветающее сельскохозяйственное предприятие, чтобы оно кормило не одно поколение семейства Бельхадж. Амин вспоминал взгляд отца, когда тот твердым голосом излагал планы создания фермы. Несколько десятков арпанов нужно будет отвести под виноградники, втолковывал он сыну, остальные площади засеять зерновыми. Дом надо построить на холме, на самом солнечном месте, вокруг разбить фруктовый сад, высадить несколько рядов миндальных деревьев. Кадур гордился тем, что эта земля принадлежит ему. «Наша земля!» – он произносил эти слова не так, как националисты или поселенцы-колонисты, взывающие к патриотизму и высоким идеалам, а как хозяин – счастливый и полноправный обладатель собственности. Старый Бельхадж мечтал, чтобы его похоронили в этой земле, чтобы в ней упокоились его дети, чтобы она его кормила и дала ему последний приют. Но он умер в 1939 году, когда его сын поступил на службу в полк спаги, с гордостью облачившись в бурнус и брюки-саруэл. Амин, старший сын и отныне глава семьи, уходя на фронт, сдал свою землю в аренду одному французу из Алжира.

Когда Матильда спросила, от чего умер ее свекор, которого она не знала, Амин положил руку на живот и молча покачал головой. Позже Матильде стало известно, что случилось с Кадуром Бельхаджем на самом деле. Он остался жив в сражении под Верденом, но с той поры

страдал от хронических болей в желудке, и никакие лекари – ни марокканцы, ни французы – так и не сумели ему помочь. И вот Кадур, считавший себя человеком здравомыслящим, гордившийся своей образованностью и способностями к иностранным языкам, совершенно отчаявшись и сгорая от стыда, отправился к знахарке-шуафе, принимавшей посетителей в подвале. Ведунья принялась убеждать его в том, что все дело в порче, кто-то затаил на него великое зло, и этот враг, наставший на него мучительный недуг, очень опасен. Она дала Кадуру сложенный вчетверо листок бумаги, насыпав туда желтый порошок шафрана. В тот же вечер он выпил снадобье, разведя его водой, и спустя несколько часов умер в ужасных мучениях. Члены семьи не любили об этом вспоминать. Им было стыдно, что отец проявил такую наивность и скончался при таких неприглядных обстоятельствах: почтенный офицер обделался во внутреннем дворике собственного дома, измарав жидкими фекалиями белоснежную джеллабу.

В тот апрельский день 1947 года Амин, улыбнувшись Матильде, стал поторапливать возницу, который тер одну о другую грязные босые ступни. Мужчина так сильно стегнул мула, что Матильда вздрогнула. Ее возмутила жестокость цыгана. Он звучно цокал языком и то и дело хлопал кнутом по тощей, с выпирающим хребтом спине несчастной животины. Стояла весна, Матильда была на третьем месяце беременности. В полях густо цвели оранжевые ноготки, розовые мальвы, ярко-синяя огуречная трава. Свежий ветер раскачивал стебли подсолнечника. По обе стороны дороги раскинулись владения французских поселенцев, обосновавшихся здесь лет двадцать-тридцать назад: их земли располагались на пологих склонах и тянулись до самого горизонта. Большинство приехали сюда из Алжира, и местные власти выделили им самые лучшие и обширные участки. Амин вытянул вперед руку, другой, как козырьком, прикрыл глаза от полуденного солнца и стал всматриваться в открывшийся его взору бескрайний простор. Он указал жене пальцем на ровный ряд кипарисов, который опоясывал поместье Роже Мариани, сколотившего состояние на виноделии и свиноводстве. Ни хозяйского дома, ни больших виноградников с дороги было не разглядеть. Однако Матильде не составило труда представить себе, какими богатствами обладал этот землевладелец, и это преисполнило ее радужных надежд

на собственное будущее. Безмятежная прелесть пейзажа напомнила ей гравюру, висевшую на стене над пианино в доме ее учителя музыки в Мюлузе. Она вспомнила, как он ей сказал:

– Мадемуазель, это Тоскана. Возможно, однажды вы побываете в Италии.

Мул остановился и стал щипать травку, росшую на обочине. Он не выказывал ни малейшего желания взбираться на крутой склон, куда вела дорога, тем более что она была покрыта крупными белыми камнями. Возница пришел в ярость и принялся осыпать животное проклятьями и ударами. Матильда почувствовала, как ее глаза наполняются слезами. Попыталась взять себя в руки и прижалась к мужу, но ему такая нежность показалась неуместной.

– Что с тобой? – спросил Амин.

– Скажи ему, чтобы перестал бить этого несчастного мула.

Матильда положила руку на плечо цыгана и посмотрела на него, словно ребенок, который пытается умиловить разбушевавшегося отца. Но возница от этого озверел еще больше. Сплюнул на землю, поднял руку и прорычал: «Тебе что, тоже кнута захотелось?»

Настроение у всех испортилось, да и пейзаж стал безрадостным. Они очутились на вершине холма с осыпями на склонах. Ни цветов, ни кипарисов, лишь несколько оливковых деревьев, чудом выживших на каменистой почве. Казалось, этот холм – бесплодная пустыня. Мы уже не в Тоскане, скорее на Диком Западе, подумала Матильда. Они сошли с повозки и направились к маленькому и невзрачному белому дому с уродливой жестяной кровлей. Это был даже не дом, а несколько кое-как пристроенных одно к другому темных сырых помещений. Из единственного оконца, расположенного высоко, под самым потолком, дабы внутрь не могли попасть вредоносные твари, лился скудный свет. Матильда заметила на стенах широкие зеленоватые разводы – следы недавних дождей. Бывший арендатор жил один; его жена вернулась домой, в Ним, после того как потеряла ребенка, а ему в голову не приходило придать этому жилищу вид гостеприимного дома, где может поселиться семья. Хотя в воздухе разливалось тепло, Матильда продрогла до костей. Планы, которым поделился с ней Амин, очень ее тревожили.

* * *

Ей уже однажды довелось испытывать такую тревогу – в Рабате, первого марта 1946 года. Хотя небо было ослепительно-синим, а ее переполняла радость оттого, что она снова видит мужа и ей удалось перехитрить судьбу, ее охватил страх. Она провела в пути двое суток. Сначала добралась из Страсбурга до Парижа, потом – из Парижа в Марсель, из Марселя в Алжир, где поднялась на борт старенького «юнкерса», не чая дожить до конца рейса. Она сидела на неудобной скамейке среди переживших войну мужчин с усталыми глазами и с трудом сдерживалась, чтобы не закричать. Во время перелета она плакала, молилась, ее рвало. Горечь желчи смешалась у нее во рту с соленым вкусом слез. Ее угнетало не то, что она может погибнуть где-нибудь над Африкой, а то, что в аэропорту, где ее ждет самый дорогой в мире человек, ей придется показаться в мятом, испачканном рвотой платье. В итоге она все-таки приземлилась, живая и невредимая, и Амин ждал ее, еще более красивый, чем раньше, под небом такого яркого голубого цвета, что казалось, его только что тщательно промыли чистой водой. Муж расцеловал ее в обе щеки, украдкой ловя взгляды других пассажиров. Потом страстно и предостерегающе сжал ее правый локоть. Видимо, хотел ее контролировать.

Они сели в такси, и Матильда прижалась к Амину, наконец почувствовав, как он напрягся от желания, как изголодался по ней.

– Сегодня мы переночуем в гостинице, – произнес он, обращаясь к водителю, и, словно желая продемонстрировать свою нравственность, добавил: – Это моя жена. Мы только что встретились после разлуки.

Рабат, маленький белый, залитый солнцем городок, поразил Матильду изысканной красотой. Она с восторгом любовалась фасадами центральных зданий в стиле ар-деко и, прижав нос к стеклу, старалась получше рассмотреть гулявших по бульвару Маршала Лиоте красивых дам в тщательно подобранных по цвету перчатках, туфлях и шляпках. Повсюду кипела работа, строились новые здания, перед ними в поисках работы толпились мужчины в лохмотьях. Вдалеке чинно шествовали монахини, рядом с ними – две крестьянки, тащившие на спине вязанки хвороста. Малышка с короткой мальчишеской стрижкой хохотала, глядя на ослика, которого волок на поводу чернокожий мужчина. Впервые в жизни Матильда дышала соленым воздухом Атлантики. Свет дня потускнел, стал розоватым,

бархатистым. Ей захотелось спать, она уже почти склонила голову на плечо мужа, когда тот сообщил, что они приехали.

Двое суток они не выходили из номера. Матильда, хотя ее очень интересовали люди на улицах и то, что происходило снаружи, наотрез отказалась открывать ставни. Ей не надоедали ни руки Амина, ни его губы, ни запах кожи, пропитанной, как она теперь понимала, воздухом этой земли. То, что он делал с ней, было похоже на колдовство, и она умоляла его оставаться внутри нее как можно дольше, даже если они засыпали или просто разговаривали.

Мать говорила, что напоминанием о нашей животной природе служат нам страдания и стыд. Однако никто не рассказывал Матильде о наслаждении. Во время войны печальными, унылыми вечерами, поднявшись в свою стылую спальню, Матильда удовлетворяла себя сама. Заслышав сигнал воздушной тревоги, возвещавший о бомбежке, и рев приближающихся самолетов, Матильда поднималась к себе, но не для того, чтобы укрыться от налета, а чтобы утолить желание. Всякий раз, как ей становилось страшно, она мчалась к себе в комнату, и хотя дверь туда не запиралась, ей было наплевать, что кто-нибудь может застать ее врасплох. Остальные предпочитали забиться всем скопом в какую-нибудь яму или в погреб, они хотели умереть вместе, как животные. А она, развалившись на кровати, удовлетворяла себя, и это был единственный способ умерить страх, взять его под контроль, одолеть ужас войны. Лежа в постели на несвежих простынях, она думала о мужчинах, которые с винтовками наперевес бредут по равнинам, о мужчинах, лишенных женщин, как она была лишена мужчины. И когда она трогала свой клитор, ей представлялось безбрежное неутоленное желание, жажда любви и обладания, охватившая всю планету. Эта вселенская похоть приводила ее в состояние экстаза. Она откидывала голову и, закатив глаза, воображала, как целые легионы мужчин приближаются к ней, овладевают ею, потом благодарят. Для нее страх и удовольствие были неразделимы, и в момент опасности она первым делом думала о наслаждении.

Прошло два дня и две ночи, прежде чем Амин, умиравший от жажды и голода, почти силком вытащил Матильду из кровати, заставил спуститься на террасу отеля и сесть за столик. Но и там, разгорячившись от вина, она принялась мечтать о том, как Амин

вернется туда, где ему следует находиться – у нее между ног, – и наполнит ее удовольствием. Однако лицо мужа посерьезнело. Он руками отломил половину курицы и быстро ее уничтожил, потом завел разговор о будущем. Амин не пошел с ней в номер, ему не понравилось ее предложение отдохнуть в кровати после обеда. Несколько раз он выходил звонить по телефону. Когда она спрашивала его, кому он звонит и скоро ли они уедут из Рабата и из этой гостиницы, он отвечал уклончиво.

– Все будет хорошо, очень хорошо, – говорил он. – Я все устрою.

Прошла неделя, и однажды, после того как Матильда весь день просидела одна, он вошел в номер, сердитый, раздосадованный. Матильда осыпала его ласками, села к нему на колени. Он едва пригубил пиво, которое она ему налила, и сказал:

– Плохая новость. Пока что мы не можем переехать в наш дом, придется несколько месяцев подождать. Я говорил с арендатором: он отказывается освободить ферму до окончания срока договора. Я попытался найти квартиру в Мекнесе, но там пока еще слишком много беженцев, и совершенно невозможно снять жилье по приемлемой цене.

Матильда растерянно спросила:

– И что же нам теперь делать?

– Поживем пока что у моей матери.

Матильда вскочила и расхохоталась:

– Ты шутишь?

Эта ситуация, видимо, показалась ей нелепой и смешной. Разве такой мужчина, как Амин, мужчина, способный всецело обладать ею, как сегодня ночью, может толковать о том, что им придется пожить у его матери?

Амину ее веселье явно пришлось не по вкусу. Он остался сидеть, чтобы не испытывать унижения из-за разницы в росте с женой. И, сосредоточенно рассматривая мозаичный пол, ледяным тоном произнес:

– Здесь так принято.

Сколько раз потом ей приходилось слышать эти слова! Но именно в тот момент Матильда поняла, что она иностранка, женщина, супруга, существо, целиком зависящее от воли других. Теперь Амин был на своей территории, он растолковывал ей правила, указывал, как себя

вести, обозначал границы дозволенного, объяснял, что прилично, а что нет. В Эльзасе, в годы войны, он был иностранцем, который ненадолго попал на чужую территорию, и старался держаться незаметно. Встретив его осенью 1944 года, она стала ему проводником и защитницей. Полк Амина размещался в нескольких километрах от Мюлуза и со дня на день ожидал приказа об отправке на восток. Среди девушек, окруживших джип в день их прибытия, Матильда была самой высокой. У нее были широкие плечи и мускулистые мальчишечьи икры. Зеленые глаза цветом напоминали ключевую воду в Мекнесе, и она неотрывно смотрела на него. Всю ту долгую неделю, что они провели в ее деревне, она ходила с ним гулять, познакомилась со своими друзьями, научила играть в карты. Он был по меньшей мере на голову ниже ее и невыносимо, неправдоподобно темнокожим. И таким красивым, что Матильда постоянно боялась, что его у нее отобьют. Боялась, что все это ей только чудится. Никогда прежде она ничего подобного не испытывала. Ни в четырнадцать лет с учителем музыки, преподававшим ей игру на фортепьяно. Ни с двоюродным братом, который шарил рукой у нее под платьем и воровал для нее вишни на берегу Рейна. Однако, приехав сюда, на родину Амина, она почувствовала себя так, будто ее обобрали до нитки.

* * *

Спустя три дня они сели в кабину грузовика, водитель которого согласился довезти их до Мекнеса. От шофера воняло, дорога была вся разбита, Матильда чувствовала себя скверно. Они дважды останавливались у обочины, потому что ее сильно тошнило. Бледная, обессиленная, пристально вглядываясь в пейзаж за стеклом, в котором не находила ни души, ни очарования, Матильда погрузилась в беспросветную тоску. «Хоть бы эта страна не ополчилась на меня! Станет ли этот мир когда-нибудь мне привычным?» Когда они приехали в Мекнес, было уже темно, и по ветровому стеклу грузовика стучал частый холодный дождь.

– Слишком поздно, чтобы знакомить тебя с моей матерью, – заявил Амин. – Переночуем в гостинице.

Мекнес показался ей мрачным и негостеприимным. Амин рассказал Матильде, что план города был разработан в соответствии с распоряжениями маршала Лиоте, в первые годы протектората. Он

предполагал строгое разграничение медины – старого поселения с древними обычаями, которые следовало сохранить, – и европейского города, призванного стать центром современной жизни, где улицам надлежало дать названия французских городов. Водитель грузовика высадил их в низине, на левом берегу уэда Буфакран, у входа в арабскую часть города. Там, в квартале Беррима, прямо напротив меллы^[1], жила семья Амина. Они взяли такси и переехали на другую сторону реки. Потом долго шли вверх по дороге, миновали несколько спортивных площадок, пересекли своего рода *no man's land*, буферную зону, разделявшую город надвое, где запрещено было любое строительство. Амин показал Матильде лагерь Публан – военную базу, которая располагалась над арабским городом: отсюда велось пристальное наблюдение за мединой и за всем, что там происходит.

Они остановились в приличной гостинице, где портье скрупулезно, как настоящий бюрократ, изучил их паспорта и свидетельство о браке. На лестнице, ведущей в их номер, чуть не разгорелся скандал: мальчик-посыльный упорно пытался говорить с Амином по-арабски, в то время как тот обращался к нему по-французски. Подросток бросал на Матильду двусмысленные взгляды. Он злился на Амина за то, что тот спит с женщиной из вражеского стана и может свободно ходить, где вздумается, тогда как ему, местному жителю, приходится показывать специальную бумажку, чтобы подтвердить, что он имеет право появляться на улицах нового города в ночное время. Едва они внесли чемоданы в номер, как Амин снова надел пальто и шляпу:

– Пойду поздороваюсь с родными. Я ненадолго.

Не дав ей времени ответить, он захлопнул за собой дверь, и она услышала, как он мчится вниз по лестнице.

Матильда села на кровать, подтянув колени к груди. Что она тут делает? Ей некого в этом винить, кроме самой себя и собственного тщеславия. Она сама ввязалась в эту авантюру, сама, бравирюя своей отвагой, кинулась в омут этого крайне экзотического брака – на зависть школьным подругам. Теперь над ней в любой момент могли жестоко насмеяться, могли предать. А вдруг Амин отправился к любовнице? А вдруг он даже женат, поскольку, как сообщил ей отец, от смущения пряча глаза, здешние мужчины могут иметь несколько жен? Возможно, он играет в карты в каком-нибудь бистро в двух шагах от гостиницы, весело рассказывая приятелям, как без объяснений удрал от своей

надоедливой супруги. Матильда расплакалась. Ей было стыдно, что она поддалась панике, но стояла темная ночь, а она даже не знала, где находится. Если бы Амин не вернулся, она пропала бы, оставшись одна, без гроша в кармане, без друзей. Она даже не знала названия улицы, где они остановились.

Когда Амин вернулся, она сидела в номере растрепанная, с красным, опухшим от слез лицом. Она не сразу ему открыла и вся дрожала, и он решил, что случилось что-то ужасное. Она бросилась в его объятия и попыталась поведать о своих страхах, о тоске по родине, об охватившей ее жуткой тревоге. Амин ничего не понял, и тело жены, прижавшейся к нему, вдруг показалось ему невыносимо тяжелым. Он потянул ее к кровати, и они уселись рядом. Шея Амина была мокрой от ее слез. Матильда успокоилась, ее дыхание стало ровнее, она несколько раз шмыгнула носом, и Амин протянул ей платок, который прятал в рукаве. Медленно погладил ее по спине и сказал:

– Ну что ты как маленькая! Теперь ты моя жена. Твоя жизнь здесь.

Два дня спустя они поселились в доме в квартале Беррима. Очутившись на узеньких улочках старого города, Матильда вцепилась в руку мужа: она боялась заблудиться в этом лабиринте, где куда-то спешили толпы лавочников, а торговцы овощами громко зазывали покупателей. За тяжелой, обитой массивными коваными гвоздями дверью ее ждала семья Амина. Мать, Муилала, стояла посреди внутреннего дворика. На ней был изящный шелковый кафтан, голова покрыта изумрудно-зеленым платком. По торжественному случаю она достала из кедровой шкатулки старинные золотые украшения; браслеты на щиколотках, резная брошь и ожерелье были такими массивными, что ее сухонькая фигурка под их тяжестью клонилась вперед. Когда супруги вошли в дом, она бросилась к сыну, обняла его и благословила. Она улыбнулась Матильде, та взяла ее руки в свои и заглянула в красивое темнокожее лицо, зардевшееся легким румянцем.

– Она говорит: «Добро пожаловать», – перевела Сельма, младшая сестра Амина, которой только что исполнилось девять.

Она стояла впереди Омара, худого молчаливого юноши, который держал руки за спиной и не поднимал глаз.

Матильде пришлось привыкать к этому существованию друг у друга на голове, в доме, где тьюфяки кишели клопами и прочими

паразитами, где невозможно было скрыться от разных телесных звуков, не слышать храпа. Ее золовка врывалась к ней в комнату без предупреждения и плюхалась к ней на постель, бормоча те несколько французских слов, что выучила в школе. Ночью Матильда слышала крики Джалила, младшего из братьев, который жил взаперти на втором этаже и постоянно посматривал в зеркало, служившее ему единственным другом. Он непрерывно курил себси^[2], и от наполнявшего коридор запаха дури у Матильды кружилась голова.

Целыми днями орды худосочных кошек неслышно бродили по маленькому саду во внутреннем дворике, где из последних сил боролось за жизнь покрытое пылью банановое дерево. В глубине дворика был вырыт колодец, из которого служанка, бывшая рабыня, доставала воду для хозяйственных нужд. Амин рассказал Матильде, что Ямин была родом из Африки, скорее всего из Ганы, и что Кадур Бельхадж купил ее для своей жены на рынке в Марракеше.

* * *

В письмах к сестре Матильда лгала. Она утверждала, будто ее жизнь похожа на романы Карен Бликсен, Александры Давид-Неель и Перл Бак. В каждом послании она сочиняла новую историю о знакомстве с жизнью добродушных суеверных аборигенов, отводя себе, разумеется, главную роль. Она неизменно красовалась в сапогах и шляпе, верхом на чистокровном арабском жеребце. Она хотела, чтобы Ирен ей завидовала, чтобы каждое слово в письме причиняло ей боль, чтобы она бесилась от раздражения и досады. Матильда мстила строгой и властной старшей сестре, которая всю жизнь обращалась с ней как с несмышленной девчонкой, Ирен доставляло удовольствие прилюдно унижать ее. «У Матильды ветер в голове. Она распутная», – заявляла она без всякой нежности и снисходительности. Матильде всегда казалось, что сестра так и не сумела ее понять, держа в плену своей деспотичной привязанности.

Уехав в Марокко, сбежав из своей деревни, от соседей и заранее известного будущего, Матильда торжествовала. Поначалу она писала восторженные письма, в которых рассказывала о своей жизни в медине. Особенно усердно расписывала таинственность узеньких улочек квартала Беррима, лишь вскользь упоминая о том, что они грязные, шумные, насквозь пропитаны вонью ослов, перевозящих

людей и товары. Одна монахиня, работавшая в приюте, помогла ей найти книжку о Мекнесе, иллюстрированную гравюрами Делакруа. Эту книжку с пожелтевшими страницами она держала на тумбочке у своей постели, словно хотела впитать ее содержимое. Она выучила наизусть отрывки из текста Пьера Лоти, казавшиеся ей удивительно поэтичными, ее приводила в трепет мысль, что этот писатель когда-то останавливался на ночлег совсем рядом, всего в нескольких километрах от их дома, и рассматривал мощные старинные стены и рукотворный водоем Агдаль. Она писала сестре о вышивальщиках, медниках, резчиках по дереву, которые трудятся, сидя по-турецки, в своих лавчонках, устроенных в подвальных помещениях. Рассказывала о процессиях религиозных братств на площади Эль-Хедим, о шествиях предсказательниц и целителей. В одном из писем она уделила целую страницу описанию лавочки знахаря, который торговал черепами гиен, сушеными воронами, лапками ежей и змеиным ядом. Она предполагала, что это произведет сильное впечатление на Ирен и на их папу Жоржа и, лежа в своих кроватях на втором этаже их добротного дома, они будут завидовать тому, что она пожертвовала скучной повседневностью ради приключений, комфортом ради романтики. Все, что ее окружало, было так необычно, непохоже на то, что она знала до сих пор. Ей понадобились новые слова, целый новый лексический пласт, чтобы выразить свои чувства, описать солнечный свет, такой сильный, что все ходили прищурившись, передать ежечасно переполнявшее ее изумление этой великой тайной и великой красотой. Все вокруг – цвет листвы, оттенки небес, даже вкус, который порывы ветра оставляли на языке и губах, – было ей незнакомо. Все изменилось.

В первые месяцы пребывания в Марокко Матильда много времени проводила за маленьким письменным столом, который свекровь поставила в ее комнате. Старушка проявляла к ней трогательное почтение. Впервые в жизни Муилала жила под одной крышей с образованной женщиной и, когда видела, как Матильда склоняется над листком коричневатой почтовой бумаги, испытывала безмерное восхищение своей невесткой. Вскоре она запретила домашним шуметь в коридорах и приказала Сельме не бегать с первого этажа на второй и обратно. Она также воспротивилась тому, чтобы Матильда проводила целый день на кухне, ибо, как она рассудила, это не место для

европейской женщины, которая умеет читать газеты и листать книжные страницы. Так что Матильда закрылась у себя и стала писать. Она редко получала от этого удовольствие, потому что всякий раз, когда она принималась за описание пейзажа или какой-нибудь бытовой сценки, ей не хватало словарного запаса, по крайней мере, ей так казалось. Она постоянно спотыкалась на одних и тех же словах, тяжелых и скучных, и тогда начинала смутно догадываться, что язык – бескрайнее поле, площадка для игр, не имеющая границ, и это пугало ее и приводило в изумление. Столько всего надо было рассказать, она хотела бы быть Мопассаном, чтобы описать желтый цвет стен медины, детей, которые, играя, носятся сломя голову, женщин, укутанных в белый хайк^[3], скользящих по улицам словно призраки. Она старалась подобрать разные экзотические выражения: они – Матильда была уверена – очень понравились бы отцу. Она писала о набегах кочевников, о феллах, о джиннах и разноцветной глазурованной плитке с орнаментом.

Ей больше всего на свете хотелось бы выражать свои мысли, не натываясь ни на какие барьеры, не встречая никаких препятствий. Чтобы в ее описаниях предметы выглядели такими, какими она их видит. Рассказать о мальчишках, обритых наголо из-за парши, которые бегают по улицам, оглушительно кричат и играют, а когда она проходит мимо, останавливаются, оборачиваются и внимательно смотрят на нее сумрачным взглядом, куда более взрослым, чем они сами. Однажды она имела глупость сунуть монетку в ладошку малыша лет пяти, а то и меньше, в коротких штанишках и сползающей с макушки, слишком большой для него феске. Ростом он был не выше мешков с чечевицей и кускусом, выставленных бакалейщиком перед дверью лавки: Матильда мечтала однажды с наслаждением погрузить в них руки.

– Купи себе мячик, – сказала она ребенку и почувствовала, как ее переполняет чувство гордости и радости.

Но малыш что-то прокричал, со всех соседних улиц сбежались мальчишки и облепили Матильду, словно рой назойливых насекомых. Они призывали Аллаха, произносили французские слова, но она ничего не понимала и вынуждена была спасаться бегством под насмешливыми взглядами прохожих, говоривших про себя: «Это отучит ее от дурацкой благотворительности». За этой непостижимой

реальностью она предпочла бы наблюдать издали, оставаясь невидимой. Высокий рост, белая кожа, положение иностранки не позволяли ей стать частью этой жизни и, как все, по умолчанию ощущать себя здесь своей. На тесных улочках она вдыхала аромат кожи, горящих дров и свежего мяса, смешанный запах застойной воды, перезревших груш, ослиного помета и древесной стружки. Но слов, чтобы описать это, не находила.

Когда Матильде надоедало сочинять письма или читать романы, которые она знала наизусть, она поднималась на крышу, на террасу, где женщины стирали белье и раскладывали сушить мясо. Она слушала уличные разговоры и песни женщин, прятаясь, как им и полагалось, наверху. Она наблюдала, как они ловко, словно эквилибристки, перебираются с одной террасы на другую, рискуя сломать себе шею. На этих крышах девочки, служанки, замужние женщины громко перекликались, плясали, делились секретами, спускаясь вниз только вечером или в полдень, когда солнце жгло слишком яростно. Спрятавшись за низенькой стенкой, Матильда, тренируясь в произношении арабских слов, повторяла те несколько ругательств, которые усвоила, и прохожие, задирая голову, бранились на нее в ответ: *Lay atik typhus!*^[4] Они, наверное, думали, что над ними потешается какой-нибудь мальчишка, маленький озорник, изнывающий от скуки у материнской юбки. Матильда чутко улавливала и необычайно быстро впитывала арабские слова, и это оказалось для всех полной неожиданностью. «Еще вчера она ничего не понимала!» – удивленно воскликнула Муилала и с тех пор в присутствии Матильды тщательно следила за тем, что говорит.

Матильда выучила арабский на кухне. В конце концов она настояла на том, чтобы ей разрешили там находиться, и Муилала позволила ей сидеть и смотреть. Ей подмигивали, улыбались, женщины пели. Сначала она выучила слова «помидор», «масло», «вода» и «хлеб». Потом «горячий», «холодный», названия специй, затем все, что связано с погодой: «засуха», «дождь», «мороз», «горячий ветер» и даже «песчаная буря». С этим багажом она уже сама могла говорить о теле и о любви. Сельма, учившая в школе французский, служила ей переводчиком. Часто, спускаясь к завтраку, Матильда обнаруживала Сельму спящей на кушетке в гостиной. Она корила Муилалу за то, что

та не интересуется учебной дочерью, ее отметками, прилежанием. Муилала позволяла дочери спать круглыми сутками, и у нее не хватало духу поднимать ее в школу рано утром. Матильда попыталась убедить Муилалу в том, что ее дочь, получив образование, сумеет добиться независимости и свободы. Но старуха в ответ насупилась. Ее лицо, обычно такое приветливое, помрачнело: ей очень не понравилось, что какая-то неверная, чужачка, вздумала ее поучать. «Почему вы разрешаете ей пропускать школу? Вы ставите под удар ее будущее», – заявила Матильда. О каком будущем, думала Муилала, толкует эта француженка? Что плохого, если Сельма проведет день дома и научится набивать фаршем кишки для колбасы, а потом их зашивать, вместо того чтобы мараить тетрадные листы черными закорючками? У Муилалы было слишком много детей и слишком много забот. Она похоронила мужа и троих малюток. Сельма стала для нее подарком, отдушиной, последней в жизни возможностью проявить нежность и терпение.

С наступлением первого для нее рамадана Матильда решила соблюдать пост, как и все, и Амин поблагодарил ее за то, что она соблюдает их обычаи. Каждый вечер она ела хариру – пряный суп из чечевицы и нута, который ей не нравился, и поднималась до рассвета, чтобы позавтракать финиками и густым кислым молоком. Весь священный месяц Муилала почти не выходила из кухни, и Матильда, любившая поесть и не отличавшаяся сильной волей, не могла понять, как можно воздерживаться от еды и при этом проводить дни напролет среди ароматов томящегося с мясом риса и свежего хлеба. С рассвета до вечерней темноты женщины раскатывали миндальное тесто, окунали в теплый мед жаренные в масле лакомства. Они месили маслянистое тесто и растягивали его до тех пор, пока оно не становилось тонким, как бумага, на которой Матильда писала письма. Их руки не боялись ни холода, ни жара, они то и дело касались ладонями раскаленных противней. За время поста они спали с лица, и Матильда спрашивала себя, как они ухитряются держаться на ногах в душной, перегретой кухне, где от густого запаха супа можно упасть в обморок. Сама она все долгие дни воздержания от пищи только и думала о том, что будет есть с наступлением темноты. Вытянувшись на одной из отсыревших кушеток в гостиной, она закрывала глаза и перекачивала во рту комочки слюны. Матильда старалась побороть

приступы головной боли, представляя себе исходящие паром ломти теплого хлеба, яичницу с вяленным мясом, «рожки газели»^[5], размоченные в чае.

Как только с минарета раздавался призыв к молитве, женщины ставили на стол кувшин молока, тарелку с крутыми яйцами, миску с дымящимся супом, финики, из которых они заранее ногтями вытащили косточки. Муилала уделяла внимание каждому из мужчин: она до отвала кормила этих важных господ мясом, добавляя младшему сыну побольше перца, потому что он любил, чтобы во рту горело. Она выжимала из апельсинов сок для Амина, поскольку беспокоилась о его здоровье. Стоя на пороге гостиной, она дожидалась, пока мужчины со слегка помятыми после дневного сна лицами разломают хлеб, очистят по крутому яйцу и поудобнее устроятся на подушках вокруг стола, и только тогда возвращалась на кухню, чтобы приступить к еде. Матильда этого совершенно не понимала. Она говорила: «Она что, рабыня? Целый день стряпает, а потом еще ждет, пока вы поедите! В голове не укладывается!» Она высказала свое возмущение в присутствии Сельмы, сидевшей на подоконнике в кухне, и та залилась смехом.

Осыпав Амина яростными обвинениями, Матильда повторила их вновь в день праздника Ид-аль-Кабир^[6], и между ними вспыхнула жестокая ссора. Сперва Матильда молчала, словно окаменев при виде мясников в залитых кровью фартуках. С террасы на крыше дома она смотрела, как по притихшим улочкам старого города неспешно перемещались силуэты этих живодедов, а потом молодые мужчины торопливо сновали от входной двери к очагу и обратно. Между домами текли ручьи теплой пузырящейся крови. В воздухе витал запах сырого мяса, а у входов в жилища болтались на железных крюках ворсистые шкуры животных. «В такой день очень удобно совершать убийства», – подумала Матильда. На других террасах, в царстве женщин, все трудились без устали. Резали, потрошили, обдирали, делили. Закрывались на кухнях, промывали внутренности, обрабатывали бараньи кишки, удаляя запах помета, а потом фаршировали их, зашивали и долго томили в остром соусе. Нужно было отделить жир от мяса и сварить баранью голову, ведь даже глаза животного будут съедены: они достанутся старшему сыну, который подцепит указательным пальцем плотные блестящие шары и вытащит их из

глазниц. Когда Матильда подошла к Амину и заявила, что это «праздник дикарей», что сырое мясо и кровь вызывают у нее отвращение и ее вот-вот стошнит, он воздел к небесам трясущиеся от гнева руки, и только мысль о том, что в день священного праздника Всевышний велит обуздывать гнев и проявлять сочувствие к ближним, помешала ему шлепнуть жену по губам.

* * *

В конце каждого письма Матильда просила Ирен присылать ей книги. Приключенческие романы, сборники рассказов, действие которых разворачивается в далеких холодных странах. Она не призналась сестре, что больше не ходит в книжный магазин в центре европейской части города. Она возненавидела этот район болтливых кумушек, жен поселенцев и военных, она чувствовала, что на этих улицах, вызывающих у нее гадкие воспоминания, в ней просыпается убийца. В один сентябрьский день 1947 года, когда она была на восьмом месяце беременности, она очутилась на авеню Республики; большинство жителей Мекнеса называли ее просто авеню. Стояла жара, ноги у Матильды отекали. Она подумала, что хорошо бы пойти в кинотеатр «Империя» или выпить чего-нибудь холодного на террасе «Пивного короля». В этот момент ее толкнули две молодые женщины. Одна из них, брюнетка, рассмеялась и сказала: «Посмотри-ка на нее. Ее араб обрюхатил». Матильда развернулась и схватила женщину за рукав, та освободилась резким рывком. Если бы не огромный живот, если бы не измотавшая ее жара, Матильда бросилась бы за ней. И отделала бы как следует. Вернула бы все оплеухи, которые сама получала в течение жизни. Дерзкая девчонка, похотливая девица, непокорная жена, она подвергалась побоям и насмешкам, приводя в ярость тех, кто хотел сделать из нее респектабельную даму. Ее всю жизнь пытались дрессировать, и две незнакомые дамочки заплатили бы за это.

Как это ни странно, Матильде ни разу не пришло в голову, что Ирен и Жорж могут не поверить ее рассказам, и тем более – что они могут неожиданно-негаданно приехать ее навестить. Когда весной 1949 года Матильда поселилась на ферме, она почувствовала, что вольна врать что угодно о том, как ей живется в роли землевладелицы. Она не признавалась, что ей не хватает суеты, царившей в медине, что

теснота, которую она проклинала на первых порах, теперь казалась ей недостижимым благом. Она часто писала сестре: «Хотела бы я, чтобы ты сейчас меня видела», – не отдавая себе отчета в том, что это было признание в безграничном одиночестве. Она с грустью думала о том, что никому не интересно, как она впервые сделала то или это, что ее жизнь проходит без зрителей. А зачем жить, если тебя никто не видит?

Она всегда заканчивала письмо такими словами: «Я вас люблю» или «Я скучаю по вас», – но никогда не упоминала, что тоскует по родине. Не поддавалась соблазну рассказать им о том, что перелет аистов, каждый год появлявшихся в небе над Мекнесом в начале зимы, погружал ее в черную меланхолию. Ни Амин, ни работники на ферме не разделяли ее любви к животным, и когда в один прекрасный день она поделилась с мужем воспоминанием о кошке Минэ, которая была у нее в детстве, тот только закатил глаза, выражая неодобрение подобной сентиментальности. Матильда подбирала кошек, прикармливая их кусочками хлеба, смоченными в молоке, и когда берберские женщины косились на нее, полагая, что она только понапрасну изводит хлеб, она думала: «Этих бедных животных никто никогда не любил, нужно это исправить».

Ну рассказала бы она правду Ирен, и что проку? Повела бы, как с утра до вечера трудится как сумасшедшая, как одержимая, таская на спине двухлетнюю малютку? Что поэтичного в том, что она долгими ночами, исколов большой палец, шьет для Аиши вещички, чтобы ее одежда выглядела как новая? При свете свечи, смердящей дешевым воском, она вырезала выкройки из старых журналов и самоотверженно шила малышке крошечные шерстяные штанишки. В удушливую августовскую жару, усевшись в одной комбинации прямо на цементный пол, она мастерила для дочки платье из прелестной хлопковой ткани. И никто не обратил внимания на то, какое оно красивое, никто не заметил изящных складок, бантиков над карманами, красной подкладки, подчеркивавшей все эти детали. Люди здесь были равнодушны к красоте, и это ее убивало.

В рассказах Матильды Амин появлялся крайне редко. Ее муж был персонажем второго плана, и его окружала непроницаемая завеса. Она хотела, чтобы у Ирен создалось впечатление, будто их с Амином связывает такая пылкая любовь, что о ней нет смысла говорить: ее не выразить словами. В ее умолчаниях сквозили чувственные намеки, она

прибегала к недомолвкам из стыдливости и особенно из чувства такта. Дело в том, что Ирен влюбилась и вышла замуж перед самой войной, ее избранником стал немец, сутулый от сколиоза, и спустя всего три месяца она овдовела. Когда у них в деревне объявился Амин, Ирен, выпучив глаза и сгорая от зависти, наблюдала, как ее младшая сестра трепещет в объятиях африканца. И как шея девчонки покрывается темными пятнами засосов.

Как ей было признаться, что мужчина, которого она встретила во время войны, стал совсем другим? Под гнетом забот и унижений Амин изменился, сделался угрюмым. Сколько раз, идя с ним под руку, Матильда ловила тяжелые взгляды прохожих! И тогда ей становилось неприятны его прикосновения, они как будто ее обжигали, и она с некоторой долей отвращения осознавала, до чего они с мужем разные. Она думала, что нужно очень много любви – гораздо больше, чем ей дано, – чтобы вынести людское презрение. Нужна непоколебимая, безграничная, крепкая любовь, чтобы спокойно переносить унижение, когда французы обращаются к Амину на «ты», когда полицейские требуют предъявить документы, а потом извиняются, заметив его воинские награды и безупречный французский: «Надо же, дружище, вы не такой, как другие». Амин улыбался. Прилюдно он уверял, что у него нет проблем с Францией, поскольку он едва не погиб за нее. Но как только они оставались одни, Амин замыкался в молчании, снова и снова испытывая стыд за свое малодушие и за то, что он предал свой народ. Он входил в дом, распахивал шкафы и сбрасывал на пол все, что попадало ему под руку. Матильда тоже быстро вспыхивала и однажды, посреди ссоры, когда он орал: «Заткнись! Ты меня позоришь!» – она открыла холодильник и схватила миску со спелыми персиками, из которых собиралась варить джем. Она выплеснула размякшие перезрелые плоды в лицо Амину, не заметив, что Аиша все это время внимательно наблюдала за ними и теперь с изумлением тарасилась на отца, с волос и шеи которого стекал сладкий сок.

* * *

Амин говорил с Матильдой только о делах. Работники, проблемы, цены на пшеницу, прогноз погоды. Когда их приезжали навестить родственники, они усаживались в маленькой гостиной, раза три-четыре осведомлялись о ее здоровье, потом сидели молча и пили чай.

Матильда всех их считала до тошноты раболопными и заурядными, они причиняли ей больше страданий, чем тоска по родине и одиночество. Ей хотелось бы поговорить о своих чувствах, надеждах, о тревогах, накатывающих неожиданно и чаще всего беспричинно, как и любые тревоги. «Неужели у него нет никакой внутренней жизни?» – размышляла она, наблюдая, как Амин молча ест, уставившись в тарелку с приготовленным служанкой тажином из нута с отвратительным, по мнению Матильды, жирным соусом. У Амина не было никаких интересов, кроме фермы и упорного труда. Ни смеха, ни танцев, ни досуга, ни болтовни – никогда. Здесь, в этой стране, они друг с другом не разговаривали. Ее муж был суров как квакер. Обращался с ней как с девочкой, которую ему поручили воспитывать. Она получала уроки хороших манер вместе с Аишей, и ей оставалось только послушно кивать, когда Амин объяснял: «Так делать нельзя» или «У нас нет денег». Когда Матильда приехала в Марокко, она была как ребенок. Всего за несколько месяцев ей пришлось научиться переносить одиночество и жизнь в четырех стенах, терпеть мужскую грубость и обычаи чужой страны. Она переехала из отчего дома в дом мужа, но ей казалось, что от этого у нее не прибавилось ни независимости, ни авторитета. Она с трудом добилась повиновения от молоденькой служанки, Тамо. Однако старшая служанка, Ито, мать девушки, проявляла бдительность, и в ее присутствии Матильда не осмеливалась повышать голос. Еще хуже дело у нее обстояло с терпением и педагогикой. Она то бросалась к дочке и жадно ее ласкала, то орала на нее в приступе гнева. Порой, когда она смотрела на свое дитя, материнство казалось ей чем-то ужасным, жестоким, бесчеловечным. Как один ребенок может воспитывать другого? Ее тело безжалостно разъяли и вытащили из него безвинную страдальницу, которую она не способна защитить.

Когда Амин женился на Матильде, ей едва исполнилось двадцать лет, но тогда это его не беспокоило. Напротив, он находил совершенно очаровательными молодость своей жены, ее широко распахнутые глаза, полные восторга и удивления перед всем на свете, ее ломкий, подростковый голос, мягкий и нежный, как у ребенка, язык. Ему исполнилось двадцать восемь лет, немногим больше, чем ей, но впоследствии ему пришлось признать, что тягостное чувство неловкости, которое временами вызывала у него жена, не имело

отношения к возрасту. Он был мужчиной и прошел войну. Родился в стране, где честь и Всевышний – понятия одного порядка, к тому же он потерял отца, а это заставляло его вести себя серьезно и степенно. Все, что очаровывало его, пока они были в Европе, теперь начало тяготить и даже раздражать. Матильда была капризной и легкомысленной. Амин злился на нее за то, что она не умела проявлять твердость, что оказалась недостаточно толстокожей. У него не хватало ни времени на нее, ни таланта утешителя. А ее слезы! Сколько слез она пролила с тех пор, как они приехали в Марокко! Она плакала из-за малейшей неприятности, рыдала по любому поводу, и это выводило его из себя. «Перестань плакать. Моя мать, не раз хоронившая детей и в сорок лет оставшаяся вдовой, пролила меньше слез, чем ты за одну только прошлую неделю. Перестань, перестань немедленно!» Европейские женщины, видимо, склонны к отрицанию реальности, думал он.

Она слишком много плакала и слишком много и нескромно смеялась. Когда они только познакомились, то целыми днями валялись в траве на берегу Рейна. Матильда делилась с ним своими мечтами, а он обнадеживал ее, не думая о последствиях, не замечая собственного тщеславия. Она забавляла Амина, который не умел искренне и открыто веселиться и, смеясь, прикрывал рот ладонью, как будто считал смех чем-то постыдным, глубоко неприличным. Здесь, в Мекнесе, все было по-другому, и в те редкие дни, когда он водил Матильду в кинотеатр «Империя», выходил после сеансов в скверном настроении, сердясь на жену за то, что она громко хохотала да к тому же пыталась осыпать его поцелуями.

Матильде хотелось бывать в театре, включать музыку на полную громкость, танцевать в маленькой гостиной. Она мечтала о красивых платьях, о приемах, вечеринках с танцами, роскошных праздниках под сенью пальм. Она хотела ездить на балы во «Французское кафе» по субботам, в «Счастливую долину»^[7] по воскресеньям, приглашать друзей на чашечку чая. С грустью вспоминала о вечеринках, которые устраивали ее родители. Она боялась, что время пролетит слишком быстро, что бедность и тяжелый труд – это надолго, а когда она сможет наконец отдохнуть, то станет слишком старой для красивых платьев и вечеринок под пальмами.

Однажды вечером, вскоре после того, как они поселились на ферме, Амин, одетый в праздничный костюм, прошел у нее перед

носом через кухню, где она кормила ужином Аишу. Потеряв дар речи, она подняла глаза на мужа, не зная, радоваться ей или сердиться.

– У меня встреча, – произнес он. – Старые друзья, с которыми я вместе служил, сейчас в городе. – Наклонившись к Аише, он поцеловал ее в лоб, но тут Матильда проворно вскочила. Она позвала Тамо, наводившую порядок во дворе, и сунула ей в руки малышку. Не терпящим возражения голосом Матильда спросила:

– Мне одеться понаряднее или это необязательно?

Амин опешил. Пробормотал что-то о том, что это просто встреча старых товарищей и для женщины это неподходящее место.

– Если это неподходящее место для меня, то я не понимаю, почему оно подходит для тебя, – заявила Матильда.

Растерявшись и не понимая, что делает, Амин позволил Матильде поехать с ним, та швырнула домашний халат на кухонный стул и стала щипать себе щеки, чтобы на них заиграл румянец.

В машине Амин не произнес ни слова и рулил с мрачным видом, не отрывая глаз от дороги, злясь на Матильду и проклиная собственную слабость. Она болтала, улыбалась, вела себя так, словно не замечала, что ее слишком много. Она убедила себя в том, что ее веселое настроение поможет ему расслабиться, и была нежна, шаловлива, раскованна. Они уже въехали в город, а Амин даже рта не раскрыл. Припарковал машину, торопливо выскочил из нее и поспешил к террасе кафе. Можно было подумать, что он питает смутную надежду, что она отстанет от него и затеряется на улицах европейской части города, а может, просто хотел избежать унижительной сцены появления в кафе под руку с женой.

Матильда догнала его так быстро, что он даже не успел ничего объяснить своим товарищам, которые его уже ждали. Мужчины встали, застенчиво и учтиво поприветствовали Матильду. Омар, брат Амина, пригласил ее сесть рядом с ним. Все мужчины выглядели очень элегантно, надели пиджаки, приладили волосы бриолином. Подозвали веселого грека, уже почти двадцать лет державшего это кафе, заказали выпить. В этом кафе, одном из немногих заведений в городе, не было и намека на сегрегацию, за одним столиком сидели и выпивали арабы с европейцами, и мужское общество приятно разбавляли не проститутки, а обычные женщины. Террасу, расположенную на пересечении двух улиц, защищали от людских глаз большие померанцевые деревья с густой листвой. Амин с друзьями чокались и выпивали, но говорили мало. То и дело повисали паузы, прерываемые негромкими смешками и изредка – анекдотами. Так было всегда, но Матильда этого не знала. Она поверить не могла, что так проходят все вечера в мужской компании Амина, вечера, к которым она так его ревновала, которые так занимали ее воображение. Она думала, что все это из-за нее, что это она испортила им вечер. Ей захотелось что-нибудь им рассказать. Пиво придало ей отваги, и она робким голосом поведала им забавную историю из своей жизни в родном Эльзасе. Голос ее дрожал, она с трудом подбирала слова, и ее рассказ никого не заинтересовал и не рассмешил. Амин посмотрел на

нее с презрением, и это причинило ей боль. Никогда еще она так остро не чувствовала себя непрошеной гостьей.

Фонарь на противоположной стороне улицы несколько раз мигнул и перегорел. Едва освещенная несколькими свечами терраса кафе приобрела новые, волшебные очертания, темнота успокоила Матильду, и у нее появилось ощущение, будто все о ней забыли. Она боялась, что в какой-то момент Амин решит раньше времени прервать этот вечер, положить конец всеобщему замешательству, и произнесет: «Нам пора». Тогда она, конечно, имела бы право устроить сцену, закричать, дать ему пощечину, всю обратную дорогу ехать, прижавшись лбом к стеклу. А пока она наслаждалась шумом города, ловила разговоры соседей по столу, потом закрыла глаза, чтобы лучше слышать музыку, доносящуюся из глубины кафе. Ей очень хотелось, чтобы это продлилось еще хоть немного, у нее не было ни малейшего желания возвращаться домой.

Мужчины расслабились. Алкоголь сделал свое дело, и они заговорили по-арабски. Возможно, потому, что думали, будто она их не понимает. Молодой официант с багровыми прыщами на лице поставил на стол большое блюдо фруктов. Матильда съела кусочек персика, потом надкусила ломтик арбуза, потек сок и испачкал ей платье. Она зажала между большим и указательным пальцами черное арбузное семечко и выстрелила. Семечко улетело и приземлилось на физиономию толстяка в феске, обливавшегося потом в плотном сюртуке. Мужчина замахал рукой, словно желая отогнать муху. Матильда вооружилась вторым семечком и на сей раз стала целиться в высокого, очень светлого блондина, который, широко расставив ноги, что-то оживленно рассказывал. Но не попала, семечко угодило в затылок официанту, и тот чуть не выронил поднос. Матильда хихикнула и на протяжении следующего часа обстреливала семечками посетителей, и те резко вздрагивали. Можно было подумать, что всех поразил странный недуг вроде той загадочной тропической лихорадки, что заставляет людей танцевать и заниматься сексом. Люди начали жаловаться. Хозяин, чтобы избавить их от нашествия назойливых насекомых, велел зажечь ароматические палочки. Но атака продолжалась, и вскоре у всех гостей – от благовоний и от выпивки – разболелась голова. Терраса опустела, Матильда попрощалась с друзьями Амина, и когда Амин, едва они переступили порог дома,

залепил ей пощечину, она подумала, что, по крайней мере, вволю повеселилась.

Во время войны, когда его часть двигалась на восток, Амин постоянно думал о своем наследственном владении, как другие грезят о женщине или вспоминают мать, оставшуюся дома. Он боялся, что погибнет, так и не сдержав обещания сделать эту землю плодородной. Когда нужно было скоротать долгие часы унылого ожидания, которых война припасла предостаточно, мужчины доставали карты, или стопки замусоленных писем, или романы. Амин же с головой погружался в чтение трудов по ботанике или профессиональных журналов, посвященных новым методам ирригации. Он где-то прочитал, что Марокко может стать как Калифорния – американский штат, где много солнца и апельсиновых деревьев, где землевладельцы зарабатывают миллионы. Он уверял своего ординарца Мурада, что их королевство стоит на пороге революции, что оно вскоре вырвется из векового мрака, когда крестьянин боялся разбойничьих набегов и потому предпочитал разводить овец, а не выращивать пшеницу: ведь у овцы четыре ноги, и она умеет бегать быстрее лихих людей. У Амина созрело намерение отказаться от старых способов земледелия и создать на своей земле образцовую современную ферму. Он с воодушевлением прочел статью некоего Менаже, в прошлом тоже военного, который после окончания Первой мировой войны начал сажать эвкалипты на бесплодной равнине Гарб. Менаже, воодушевленный отчетом об австралийской экспедиции, которую в 1917 году организовал маршал Лиоте, сравнил состав почв и уровень осадков в этом регионе Марокко и на далеком континенте. Конечно, все потешались над энтузиастом. Французы и марокканцы высмеивали этого человека, собиравшегося засадить эти земли до самого горизонта деревьями, которые не приносят плодов и только портят пейзаж унылыми серыми стволами. Но Менаже удалось убедить в своей правоте Управление лесного хозяйства и водных ресурсов, и вскоре всем пришлось признать, что он выиграл пари: эвкалипты преградили путь пустынным ветрам, они оздоровили глубинные слои почвы, кишмя кишевшие паразитами, их мощная корневая система всасывала воду из низкого почвенного горизонта, недоступного для простых

земледельцев. Амин тоже хотел стать одним из первооткрывателей, для которых сельское хозяйство будет страстным исканием, захватывающим приключением. Он желал пройти по следу терпеливых мудрецов, проводивших эксперименты на этих бесплодных землях. От Марракеша до Касабланки эти крестьяне, коих считали сумасшедшими, упорно сажали апельсиновые деревья, намереваясь превратить суровые засушливые земли в край изобилия и процветания.

В 1945 году Амин вернулся на родину победителем, женатым на иностранке. Он боролся за то, чтобы вновь вступить в права владения своей собственностью, чтобы обучать своих работников, сеять, собирать урожай, смотреть вширь и вдаль, как однажды сказал маршал Лиоте. В конце 1948 года после долгих переговоров Амин получил назад свои земли. Для начала пришлось отремонтировать жилище, вставить новые окна, привести в порядок сад перед домом, замостить задний дворик, примыкавший к кухне, чтобы там можно было стирать и развешивать белье. С северной стороны участок шел под уклон, и Амин построил там красивое каменное крыльцо и установил стеклянную дверь, которая вела в столовую. Оттуда можно было любоваться величественным силуэтом горы Зерхун и бескрайними девственными просторами, по которым с начала времен бродили дикие животные.

За первые четыре года на ферме они пережили все невзгоды, какие только можно вообразить, их жизнь напоминала библейские сюжеты. Поселенец, арендовавший землю в годы войны, освоил лишь небольшой участок за домом, а все остальное еще предстояло обработать. Прежде всего нужно было возродить землю и выкорчевать пальму гифену, коварное и строптивное растение, и это требовало изнурительного труда. В отличие от соседей, Амин не был счастливым обладателем трактора, и его работникам, чтобы извести гифену, приходилось месяц за месяцем орудовать киркой. Потом еще нескольких недель они расчищали почву, выбирая камни, и как только в земле не осталось даже мелкого щебня, ее вспахали плугом и разрыхлили. Посеяли чечевицу, горох, фасоль, несколько гектаров ячменя и мягкой пшеницы. И тут хозяйство подверглось нашествию саранчи. Бурая туча насекомых, словно появившихся из ночного кошмара, с деловитым стрекотом уничтожила урожай и все плоды на

деревьях. Амин разозлился на работников за то, что те, пытаясь отогнать вредителей, не придумали ничего лучшего, как стучать по консервным банкам: «Тупицы безмозглые! И это все, на что у вас ума хватило?!» Он накричал на работников, потом научил их более действенным мерам: рыть канавки и раскладывать в них отравленную приманку из древесных опилок.

На другой год наступила засуха, поля выглядели печально, колосья были пусты, как животы крестьян следующие несколько месяцев. Жители дуаров истово молились о дожде, хотя эти старые молитвы за несколько столетий так ни разу им и не помогли. Но они все равно молились под палящим октябрьским солнцем, и никто не роптал на глухоту Всевышнего. Амин велел выкопать колодец, что потребовало огромного труда и поглотило значительную часть его наследства. Однако ствол колодца затягивало песком, и работники не могли качать воду для орошения.

Матильда гордилась мужем. Хоть она и сердилась на него за его вечное отсутствие, обижалась за то, что он оставлял ее дома одну, она знала, что он работающий и порядочный человек. Иногда она думала, что если ее мужу чего и не хватает, так только везения и хоть капельки чутья. Вот у ее отца все это имелось в избытке. Жорж был менее серьезным, менее трудолюбивым, чем Амин. Он напивался до того, что забывал свое имя и все правила вежливости и приличия. До рассвета играл в карты, засыпал в объятиях грудастых женщин, чьи жирные белые шеи пахли сливочным маслом. Мог ни с того ни с сего уволить бухгалтера, забывал нанять нового, на его старом деревянном письменном столе скапливались горы счетов и писем. Приглашал судебных приставов выпить, потом они сидели вместе, удовлетворенно почесывая животы и распевая старые песни. У Жоржа был исключительный нюх, интуиция, которая никогда его не подводила. Была – и все тут, он даже не пытался это как-то объяснить. Он понимал людей и относился к ним – а значит, и к самому себе – с доброжелательным состраданием, с нежностью, вызывавшей к нему симпатию даже у незнакомцев. Жорж никогда не торговался из жадности, а только ради забавы, и если ему и доводилось кого-нибудь облапошить, то не нарочно.

Несмотря на неудачи, несмотря на ссоры и бедность, Матильда никогда не считала своего мужа бестолковым или ленивым. Каждый

день она видела, как Амин поднимается на рассвете, решительно выходит из дому и возвращается только вечером в сапогах, перемазанных землей. Амин проходил многие километры и никогда не уставал. Люди из дуара восхищались его упорством, хотя порой косо поглядывали на молодого соплеменника, презиравшего традиционные методы земледелия. Они смотрели, как он садится на корточки, трогает пальцами землю, кладет ладонь на кору дерева, как будто надеется, что природа откроет ему свои секреты. Он хотел, чтобы дело продвигалось быстрее. Он хотел преуспеть.

В начале 50-х годов поднялась волна национализма, и поселенцы-европейцы стали объектом бешеной ненависти. Случались похищения людей, нападения, поджоги ферм. Поселенцы, со своей стороны, тоже стали объединяться, создавая группы обороны, и Амину было известно, что его сосед, Роже Мариани, входит в одну из таких групп. «Природа равнодушна к политике», – однажды сказал Амин Матильде, пытаясь оправдать свое намерение навестить к соседу, пользовавшемуся скандальной репутацией. Он хотел понять, что лежит в основе невероятного процветания этого человека, узнать, какие типы тракторов тот использует, как устроил систему ирригации. Он также мечтал договориться с ним о поставке зерновых для его свиноводческого хозяйства. На остальное Амину было наплевать.

Однажды днем Амин пересек дорогу, разделявшую их владения. Прошел мимо больших ангаров, где стояли современные трактора, мимо хлевов с жирными, пышущими здоровьем свиньями, мимо винодельни, где виноград перерабатывали так же, как в Европе. Все здесь дышало надеждой, изобилием. Мариани стоял на крыльце своего дома, держа на сворке двух свирепых желтых псов. Порой он дергался, теряя равновесие, и непонятно было, то ли его действительно тащат за собой здоровенные собаки, то ли он просто притворяется, чтобы продемонстрировать, какой опасности подвергается непрошенный гость. Амин, робея и заикаясь, представился хозяину. Показал рукой на свой участок. «Мне нужен ваш совет», – проговорил он, лицо Мариани прояснилось, и он внимательно оглядел стеснительного араба.

– Выпьем за наше соседство! О делах поговорить еще успеем.

Они прошли по роскошному саду и уселись в тени, на террасе, откуда открывался вид на Зерхун. Тощий темнокожий мужчина

поставил на стол стаканы и бутылки. Мариани налил Амину анисовой водки, а когда заметил, что Амин колеблется, прикидывая, что стоит жара, а ему еще работать и работать, рассмеялся: «Ты не пьешь спиртное, да?» Амин в ответ улыбнулся и пригубил белесый мутный напиток. В доме зазвонил телефон, но Мариани как будто даже не заметил.

Сосед не дал ни слова сказать Амину. Казалось, он очень одинок, и ему редко выпадает случай с кем-нибудь поговорить по душам. Амин почувствовал себя не в своей тарелке, когда Мариани фамильярно, как старому знакомому, принялся жаловаться на работников: он обучил уже второе поколение, а они все такие же ленивые и грязные: «Господи, до чего же грязные!» И время от времени, поднимая воспаленные глаза, смотрел в красивое лицо своего гостя и со смешком добавлял: «Ты же понимаешь, я не тебя имею в виду». Затем, по-прежнему не давая Амину слова сказать, Мариани продолжал:

– Они могут говорить что угодно, но эта страна будет прекрасна, даже если тут уже не будет нас, людей, которые растят цветущие деревья, пашут землю, трудятся до седьмого пота. Что здесь было до того, как мы сюда пришли? Ничего. Не было ничего. Оглянись вокруг. Здесь веками жили люди, но ни один из них палец о палец не ударил, чтобы возделать эту чертову прорву гектаров. Только и знали, что воевать. Мы голодали. Положили множество жизней, сеяли, рыли могилы, мастерили колыбели. Мой отец умер от тифа в этой дыре. Я искалечил себе спину, сутками напролет сидя в седле, изъездив вдоль и поперек эту равнину, договариваясь с племенами. Я криком кричал, пытаюсь улечься в кровать, так у меня кости болели. Но должен тебе сказать: я многим обязан этой стране. Она помогла мне понять суть вещей, она помогла мне вновь почувствовать в себе жизненную энергию, силу.

От спиртного лицо Мариани побагровело, и поток красноречия замедлился.

– Во Франции мне была уготована бабья жизнь, куцая, убогая – ни размаха, ни достижений, ни горизонтов. Благодаря этой стране я живу как настоящий мужчина.

Мариани подозвал слугу, который трусцой прибежал на террасу. Хозяин по-арабски отругал старика за медлительность и грохнул кулаком по столу так, что опрокинул стакан Амина. Потом сделал вид,

будто сплюнул, и посмотрел вслед слуге, удалившемуся и скрывшемуся в доме:

– Смотри и учись! Уж я-то знаю этих арабов! Работники – сплошь тупицы; по-твоему, зря, что ли, руки так и чешутся их поколотить? Я говорю на их языке, я знаю их недостатки. Мне известны все нынешние рассуждения о независимости, но горстке буйнопомешанных не отобрать у меня того, на что я положил столько лет тяжелого труда в поте лица. – Потом, взяв маленький сэндвич с тарелки, которую наконец принес слуга, без улыбки повторил: – Ты же понимаешь, я не тебя имею в виду.

Амин собрался было встать и уйти, распрощавшись с намерением сделать могущественного соседа своим союзником. Но Мариани, физиономия которого удивительным образом походила на морды его псов, повернул к нему голову и, словно почуяв, что Амин обижен, произнес:

– Ты ведь хотел заполучить трактор? Это можно устроить.

Часть II

Летом того года, когда Аиша должна была пойти в подготовительный класс, стояла страшная жара. Матильда бродила по дому в линялой комбинации со сползающими с широких плеч бретельками, ее мокрые от пота волосы прилипали к вискам и ко лбу. На одной руке у нее сидел малыш Селим, в другой она держала газету или кусок картона, используя их как веер. Она постоянно ходила босиком, несмотря на жалобные сетования Тамо, что это приносит несчастье. Матильда выполняла все свои повседневные обязанности, однако движения ее казались более медленными, более затрудненными, чем обычно. Аиша и ее брат Селим, которому только что исполнилось два года, вели себя на удивление смирно. Они не требовали еды, не заявляли, что хотят играть, и проводили весь день голышом, растянувшись на кафельном полу, неспособные ни говорить, ни придумывать игры. В начале августа задул шерги, ветер пустыни, и небо побелело. Детям запретили выходить из дому, потому что Сахара пробуждала у матерей навязчивые страхи. Сколько раз Муилала рассказывала Матильде историю о детях, которых погубила лихорадка, принесенная злым ветром. Свекровь говорила, что нельзя дышать этим губительным воздухом, а особенно хватать его ртом, потому что от него могут выгореть внутренности, и тогда человек высохнет, как растение, вянущее в один миг. Этот проклятый ветер даже ночью не давал людям передышки. Свет угасал, тьма накрывала равнину, растворяя силуэты деревьев, но жара продолжала давить изо всех сил, как будто природа запаслась солнцем впрок. Дети стали раздражительными. Селим начал кричать. Он злился и плакал, мать обнимала его и пыталась утешить. Она часами прижимала его к себе, оба обливались потом и пребывали в полном изнеможении. То лето казалось бесконечным, и Матильда чувствовала себя ужасно одинокой. Несмотря на изнурительную жару, ее муж целыми днями пропадал на полях. Он присматривал за рабочими во время сбора урожая, который вызывал одни разочарования. Колосья иссохли, люди трудились день за днем, но их не оставляла тревога, что уже в сентябре начнется голод.

Однажды вечером Тамо нашла черного скорпиона под грудой кастрюль. На ее пронзительные крики в кухню прибежала Матильда с детьми. Кухонная дверь вела в маленький дворик, где развешивали сушиться белье и вялили мясо, где кучами громоздились грязные тазы и миски и бродили обожаемые Матильдой кошки. Матильда требовала, чтобы дверь, выходящую наружу, плотно закрывали. Она боялась змей, крыс, летучих мышей и даже шакалов, собиравшихся в стаю около печи для обжига извести. Но Тамо была рассеянной и, должно быть, забыла затворить дверь. Дочке Ито еще не исполнилось и семнадцати. Она была своенравной хохотушкой, любила жить на вольном воздухе, ухаживать за детьми, учить их названиям животных на немецком языке. Ей не очень нравилось, как с ней обращается хозяйка. Эльзаска была суровой, властной, высокомерной. Она задумала обучить Тамо, как она это называла, хорошим манерам, однако терпения ей явно не хватало. Однажды Матильда попыталась преподать девушке уроки западной кухни, но ей пришлось сдаться, столкнувшись с очевидностью: Тамо не проявляла ни малейшего интереса к кулинарной науке, не слушала хозяйку и вяло помахивала лопаткой, которой должна была помешивать заварной крем.

Когда Матильда ворвалась на кухню, молодая берберка принялась причитать и закрыла лицо руками. Матильда не сразу поняла, что именно так ее напугало. Потом заметила черные клешни, высывающиеся из-под одной из тех сковородок, которые она купила еще в Мюлузе сразу после того, как они с Амином поженились. Она подхватила Аишу, по примеру матери ходившую босиком. По-арабски приказала Тамо взять себя в руки. «Перестань плакать, – несколько раз повторила она, – и немедленно это убери». Она прошла по длинному коридору до своей спальни и сказала: «Ну, мои милые, сегодня вы будете спать со мной».

Она знала, что муж будет ее ругать. Ему не нравилось, как она воспитывает детей, как потакает им, бросается на помощь при любом затруднении и принимает близко к сердцу их переживания. Он упрекал ее в том, что с ней они вырастут слабаками и нытиками, особенно сын. «Мужчину нельзя так воспитывать, так ты не научишь его держать удар». В этом доме посреди пустоты Матильде было страшно, она жалела о своих первых годах в Марокко, когда они жили в Мекнесе, в медине, среди людей, среди шума и суеты. Когда она призналась в

этом мужу, он поднял ее на смех: «Поверь мне, здесь вы в гораздо большей безопасности». Тогда, в конце августа 1953 года, он категорически запретил ей ездить в город, потому что боялся стихийных возмущений или восстания. Весть о свержении султана Сиди Мухаммеда бен Юсуфа и его ссылке на Корсику привела народ в ярость. В Мекнесе, как и во всех городах королевства, атмосфера стала взрывоопасной, люди были взбудоражены, и любой пустяк мог перерасти в мятеж. Женщины в медине облачились в черное, глаза у них покраснели от ненависти и слез. *Ya Latif, ya Latif!* – «О Всевышний, о Всевышний!» – звучало во всех мечетях: мусульмане молились о возвращении монарха. Возникли тайные организации, ратовавшие за вооруженную борьбу против христианских угнетателей. На улицах от рассвета до заката раздавались крики: *Yahya el Malik!* – «Да здравствует султан!» Но Аиша совершенно не разбиралась в политике. Она даже не знала, что на дворе 1953 год и одни мужчины бряцают оружием, чтобы добиться независимости, а другие – чтобы им этого не позволить. Аише не было до этого никакого дела. Все лето она не думала ни о чем, кроме школы, и ей было страшно.

Матильда посадила детей на кровать и приказала не двигаться с места. Она вернулась через несколько минут с двумя белыми простынями, которые смочила ледяной водой. Дети растянулись на прохладных влажных простынях, и Селим почти сразу заснул. Матильда свесила опухшие ноги с кровати и покачивала ими. Она гладила густые волосы дочери, и та прошептала:

– Я не хочу идти в школу. Муилала не умеет читать, Ито и Тамо тоже. Ну и что такого?

Матильда внезапно очнулась от дремотного состояния. Она резко села и склонилась к лицу дочери:

– Ни у твоей бабушки, ни у Ито и Тамо не было выбора. – В темноте черты лица матери были неразличимы, но девочке показалось, что голос Матильды звучит непривычно серьезно, и это ее встревожило. – Чтобы я больше никогда не слышала таких глупостей. Ты поняла?

Снаружи дрались кошки, испуская пронзительные вопли.

– Ты знаешь, я тебе завидую, – продолжала Матильда. – Хотела бы я снова вернуться в школу. Узнать столько всего нового, крепко с кем-

нибудь подружиться. У тебя начинается настоящая жизнь. Теперь ты совсем большая.

Простыни высохли, но Аиша так и не смогла уснуть. Лежала с открытыми глазами и грезилась о новой жизни. Она представляла себе, что стоит в прохладном тенистом дворе и сжимает в своей маленькой ладони руку другой девочки, с которой они понимают друг друга без слов. Матильда сказала, что настоящая жизнь, оказывается, не здесь, не в этом белом доме, одиноко стоящем на холме. Настоящая жизнь не в том, чтобы целый день ходить по пятам за работницами. Получается, что все те, кто работает на полях у ее отца, живут ненастоящей жизнью? Значит, то, как они красиво поют и ласково зовут Аишу перекусить с ними в тени олив, – это не считается? Перекусить половиной свежей лепешки, испеченной утром прямо на угольной жаровне – кануне, – вокруг которой женщины сидели часами, вдыхая черный, медленно убивающий их дым.

Прежде Аиша никогда не думала о другой жизни, вынесенной за скобки ее собственного существования. Разве что когда они ездили в верхний город, европейский, и ее неожиданно окружали ревущие машины, бродячие торговцы, подростки-лицеисты, гурьбой спешащие в кинотеатры. Когда она слышала музыку, доносящуюся из глубины кафе. Стук каблучков по бетону. Когда мать тащила ее за собой по тротуару, поминутно извиняясь перед прохожими. Да, она и правда убедилась в том, что в других местах течет другая жизнь, более насыщенная, более стремительная, жизнь, казалось, целиком направленная к определенной цели. Аиша подозревала, что сами они как бы существуют в тени и их удел – тяжелый труд вдали от людских глаз, самопожертвование. Служение.

Наступил первый день учебного года. Аиша сидела на заднем сиденье машины, оцепенев от страха. Они могли говорить что угодно, но никаких сомнений у нее не осталось: они ее бросают. Подло и безжалостно бросают. Они собираются оставить ее на незнакомой улице – ее, дикарку, не знавшую ничего, кроме бескрайних полей и тишины родного холма. Матильда говорила и говорила, глупо смеялась, но Аиша чувствовала, что мать тоже встревожена. Что она просто притворяется. Показались ворота пансиона, и отец остановил машину. На тротуаре мамы держали за руку празднично одетых

девочек. Те щеголяли в новых, отлично скроенных платьях скромных расцветок. Эти городские девочки привыкли быть на виду. Матери в шляпках болтали, девочки обнимались. Они расстались, а теперь встретились вновь, подумала Аиша, это продолжение их мира. Аишу била крупная дрожь.

– Не хочу, – закричала она, – я не выйду из машины!

Ее пронзительные крики привлекли внимание родителей и школьниц. Обычно спокойная и стеснительная, Аиша потеряла всякую сдержанность. Свернулась в клубок на заднем сиденье автомобиля, цеплялась за обивку и кричала так, что у кого угодно могло разорваться сердце или лопнуть барабанные перепонки. Матильда открыла дверцу:

– Иди сюда, моя девочка, иди и ничего не бойся.

Мать умоляюще посмотрела на нее, и Аиша вспомнила, что уже не раз видела такой взгляд. Работники так же ласково обращались с животными, перед тем как их убить. «Иди сюда, малыш, иди сюда» – а потом загон, удары, бойня. Амин открыл другую дверцу, и каждый со своей стороны попытался схватить девочку. Отцу удалось вытащить ее, но она с удивительной силой и яростью вцепилась в дверцу.

Быстро собралась плотная толпа зрителей. Все жалели Матильду, которая растит детей дикарями, оттого что вынуждена жить чуть ли не на краю света, среди местного населения. Девочка кричит, впадает в истерику, в точности как обитательницы арабских деревень. «Вы знаете, их женщины, когда хотят выразить отчаяние, расцарапывают в кровь лицо!» Никто из присутствующих не бывал в гостях у четы Бельхадж, но все знали, что представляет собой эта семья, живущая на отдаленной ферме у дороги на Эль-Хаджеб, в двадцати пяти километрах от города. Мекнес – маленький город, и в нем царит такая скука, что эта странная пара неизменно давала пищу для разговоров в часы послеполуденного зноя.

* * *

Во дворце красоты, где дамам завивали волосы и красили лаком ногти на ногах, парикмахер Эжен потешался над Матильдой, высокой блондинкой с зелеными глазами, которая была выше мужа на добрых десять сантиметров. Эжен смешил клиенток, подчеркивая различия супругов: у Амина, говорил он, волосы черные, как уголь, и растут так

низко, что взгляд кажется сердитым. А она нервная, как двадцатилетняя девушка, и в то же время в ней есть что-то от мужчины, что-то необузданное, неправильное, из-за чего Эжен решил больше ее не принимать. Парикмахер в самых цветистых выражениях описывал длинные крепкие ноги молодой женщины, ее волевой подбородок, руки, которым она совершенно не уделяет внимания, ее огромные ступни, такие большие и опухшие, что она может носить только мужскую обувь. Белая и темнокожий. Великанша и офицер-коротышка. Клиентки под колпаками-сушилками прыскали со смеху. Но стоило почтенной публике вспомнить о том, что Амин воевал, что он был ранен и награжден, смешки умолкали. Женщины понимали, что лучше им прикусить язычки, и от этого еще больше исходили желчью. Матильда, считали они, – слишком странный военный трофей. Как этот вояка сумел убедить могучую эльзаску поехать следом за ним в такую глушь? От чего она хотела убежать, когда отправилась сюда?

* * *

Все ринулись к ребенку. Принялись давать советы. Какой-то мужчина грубо отпихнул Матильду и попытался урезонить Аишу. Воздев руки к небесам и упомянув имя Господа, он стал вещать о фундаментальных принципах, лежащих в основе правильного воспитания. Матильду то и дело толкали, а она старалась защитить свое дитя: «Не трогайте ее! Не приближайтесь к моей дочери!» Она вконец растерялась. Для нее было пыткой видеть, как плачет дочь. Она хотела обнять ее, покачать на руках, как младенца, признаться, что солгала. Да, трогательные воспоминания о вечной дружбе, о самоотверженных учителях – она выдумала все это от начала до конца. Правда в том, что ее воспитатели были не такими уж милыми людьми. Что самые яркие воспоминания о школе – это подъем затемно и умывание ледяной водой, дождь как из ведра, ужасная еда, послеполуденные часы, когда живот подводит от голода и страха, от отчаянной жажды хоть малейшего проявления нежности. Поедем домой, хотелось ей закричать. Забудем всю эту историю. Вернемся домой, и все будет прекрасно. Я сама сумею ее обучить, я справлюсь. Амин бросил на нее мрачный взгляд. Матильда балует дочь, осыпает ее дурацкими ласками, и та становится безвольной. К тому же это

было ее желание записать Аишу сюда, в школу для французских детей, над которой возвышается церковная колокольня, где читают молитвы чужому богу. Наконец Матильда проглотила слезы и неловко, неуверенно протянула руки к дочери:

– Иди, иди ко мне, моя девочка, моя маленькая.

Поглощенная дочерью, Матильда не замечала, что все смеются над ней. Что люди опустили глаза и разглядывают ее огромные ботинки из потертой кожи. Мамаши перешептывались, прикрывая рот рукой в перчатке. Они смущались и сдавленно хихикали. Стоя у ограды школы Пресвятой Девы Марии, они внезапно вспомнили, что нужно проявлять сострадание, ведь Господь смотрит на них.

Амин крепко держал дочь, обхватив ее поперек туловища. Он был взбешен:

– Что это за цирк? Отпусти дверцу, слышишь? Веди себя прилично. Нам за тебя стыдно.

Платье на Аише задралось до пояса, и стали видны трусики. Школьный сторож с беспокойством наблюдал за ними. Но вмешаться не посмел. Старика марокканца с круглым приветливым лицом звали Браим. Он прикрывал лысую голову белой шапочкой-гафией ажурной вязки. Его слишком просторный темно-синий пиджак был безупречно отутюжен. Родителям не удавалось успокоить дочь, казалось, одержимую демоном. Церемония начала учебного года неминуемо будет сорвана, и директриса разгневется, узнав, что у ворот ее почтенного заведения разыгрался такой спектакль. Она строго с него за это спросит и будет сердиться.

Старый сторож подошел к машине и так нежно, как только мог, принялся разгибать маленькие пальчики, вцепившиеся в дверцу. Сказал по-арабски, обращаясь к Амину:

– Я ее держу, а ты жми на газ и уезжай.

Амин кивнул. Вскинув голову, подбородком указал Матильде на ее место, та села. Он не поблагодарил старика. Как только Аиша ослабила хватку, ее отец рванул с места. Машина скрылась вдали, и Аиша так и не узнала, посмотрела ли на нее мать на прощание. Да, они ее и вправду бросили.

Она очутилась на тротуаре. Ее голубое платье измялось, одна пуговица оторвалась и потерялась. Глаза у нее покраснели от слез, а мужчина, державший ее за руку, не был ее отцом. «Я не могу

проводить тебя во двор. Мне положено стоять здесь, у ограды. Это моя работа». Он положил ладонь на спину девочки и подтолкнул ее к входу. Аиша послушно кивнула. Ей было стыдно. Она ведь хотела быть незаметной, как стрекоза, а вместо этого привлекла к себе всеобщее внимание. Она пошла по дорожке, в конце которой ее ждали монахини в длинных черных одеяниях, выстроившиеся у входа в классную комнату.

Она вошла в класс. Ученицы уже расселись по своим местам и, улыбаясь, разглядывали ее. Аиша пережила такой страх, что теперь ей ужасно захотелось спать. В голове у нее нестерпимо шумело. Если бы она сейчас закрыла глаза, то провалилась бы в глубокий сон, она это знала. Одна из сестер взяла ее за плечо. Она держала в руке листок бумаги.

– Как тебя зовут?

Аиша подняла глаза, не понимая, чего от нее хотят. Монахиня была очень молода, и ее красивое бледное лицо понравилось Аише. Сестра повторила вопрос, склонилась к девочке, и та наконец прошептала:

– Меня зовут Мшиша.

Сестра нахмурилась. Поправила сползшие на кончик носа очки и сверилась со списком учениц. «Мадемуазель Бельхадж. Мадемуазель Аиша Бельхадж, дата рождения: 16 ноября 1947 года».

Девочка повернулась. Она огляделась вокруг, словно не понимая, к кому обращается монахиня. Она не знала, кто все эти люди, и с трудом удержалась, чтобы не разрыдаться. У нее задрожал подбородок. Она обхватила себя руками и вонзила ногти в кожу плеч. Что случилось? Что она такого натворила, за что ее здесь заперли? Когда мама вернется? Сестре стоило большого труда поверить в это, но она вынуждена была признать очевидное. Эта девочка не знала, как ее зовут.

– Мадемуазель Бельхадж, сядьте вон там, у окна.

Сколько Аиша себя помнила, она слышала только это имя – Мшиша. Это имя мама выкрикивала с крыльца дома, когда звала дочку ужинать. Это имя передавалось от одного крестьянина к другому, перелетало между стволами деревьев на другую сторону холма, когда девочку искали и в конце концов нашли у подножия дерева: она спала, свернувшись клубочком. «Мшиша» – слышала она, и не могло у нее быть другого имени, потому что именно его приносил ветер, оно

смешило берберских женщин, которые нежно обнимали ее, как собственное дитя. Это имя мать тихонько напевала, вставляя его в считалочки, которые сочиняла сама. Звуки этого имени – последнее, что она слышала перед сном, с самого рождения они наполняли ее сны. Мшиша, маленький котенок. Старушка Ито была в доме, когда родилась Аиша, и она первая обратила внимание Матильды на то, что крики младенца похожи на кошачье мяуканье, и дала девочке такое прозвище. Ито научила Матильду привязывать малышку к спине большим куском полотна: «Она будет спать, пока ты работаешь». Матильде это показалось забавным. Так они и проводили все дни напролет. Ротик дочери прижимался к ее затылку целыми днями. И это переполняло ее нежностью.

Аиша села на то место, что указала ей учительница, – у окна, сразу за красоткой Бланш Колиньи. Школьницы скосили на нее глаза, и Аиша почувствовала, что их неожиданное внимание представляет для нее угрозу. Бланш показала ей язык, хихикнула и ткнула свою соседку по парте локтем в живот. Она изобразила, как Аиша чешется: мать шила ей трусы из дешевой колючей шерсти. Аиша отвернулась к окну и спрятала лицо в сгибе локтя. Сестра Мари-Соланж подошла к ней:

– Что случилось, мадемуазель? Вы плачете?

– Нет, я не плачу. Я привыкла спать днем.

* * *

Аиша постоянно несла тяжкий груз стыда. Стыда за свои наряды, сшитые матерью. Серенькие мешковатые одежды, которые Матильда иногда украшала кокетливыми деталями. Цветочками на манжетах, голубой каемкой на вороте. Но ни одна вещь не выглядела новой. Все они были как будто с чужого плеча. Все казались поношенными. Она стыдилась своих волос. Эта бесформенная курчавая масса, не поддававшаяся расческе, вылезавшая из-под любых заколок, которыми Матильда безуспешно пыталась ее усмирить, причиняла Аише самые острые страдания. Матильда не знала, что делать с волосами дочери. Такую гриву невозможно было укротить. Тонкие волосы секлись от заколок, горели под щипцами, не желали расчесываться. Она спросила совета у Муилалы, своей свекрови, но та лишь пожала плечами. В их семействе ни у одной женщины, к счастью, не было такой копны курчавых волос. Аиша унаследовала волосы от отца. Но Амин стриг

их очень коротко, по-военному. А оттого, что он ходил в хаммам и поливал голову обжигающе горячей водой, волосяные луковицы атрофировались, и волосы вообще перестали расти.

Из-за прически Аишу осыпали самыми унижительными насмешками. Во дворе все взгляды были прикованы к ней. К ее хрупкой фигурке, личику эльфа и гигантской шевелюре – взрыву светлых непокорных прядей, сиявших на ярком солнце, словно золотой венец. Сколько раз она мечтала о таких волосах, как у Бланш! Стоя перед зеркалом в спальне матери, она прикрывала ладонями свои буйные кудри и представляла себе, как выглядела бы с длинными шелковистыми волосами, как у Бланш. Или с крупными каштановыми завитками, как у Сильви. Или с блестящими косами, как у Николь. Ее дядюшка Омар поддразнивал ее. Говорил, что ей, скорее всего, трудновато будет найти мужа, потому что она похожа на огородное пугало. Да, на голову Аиши словно водрузили копну сена. Она чувствовала себя смешной в своих убогих нарядах, весь свой облик считала нелепым.

Одна за другой проходили недели, совершенно одинаковые. Каждое утро Аиша просыпалась на рассвете, впотьмах вставала на колени у изножья кровати и просила Господа сделать так, чтобы сегодня они не опоздали в школу. Но всякий раз что-нибудь случалось. То проблема с плитой, из которой шел черный дым. То отец ссорился с матерью. Крики разносились по всему коридору. Наконец появлялась мать, поправляя прическу и платочек на шее. И утирая слезу тыльной стороной ладони. Она пыталась сохранять достоинство, но в итоге теряла самообладание. Разворачивалась в дверях. Кричала, что хочет отсюда уехать, что она совершила самую ужасную ошибку в жизни, что она здесь чужая. Что если бы ее отец знал, он расквасил бы физиономию ее грубияну мужу. Но ее отец ни о чем не знал. Он был далеко. И Матильде приходилось сложить оружие. Она ворчала на дочь, смиренно ожидавшую ее у двери. А та хотела сказать: «Ну давай же, поторопись! Могу я хоть раз приехать в школу вовремя?»

Аиша проклинала их машину, выкупленную отцом у американской армии за скромную сумму. Амин попытался соскоблить нарисованный на капоте флаг, но побоялся испортить металл, и на кузове так и осталось несколько облупленных звезд и кусок полосатого поля. Пикап был не только уродлив, но и крайне капризен. Когда стояла

жара, из-под капота начинал валить серый дым, и приходилось останавливаться, чтобы остудить мотор. А зимой машина не желала трогаться с места. «Ей надо прогреться», – твердила Матильда. Аиша считала пикап виновником всех своих бед и проклинала Америку, притом что все перед ней благоговели. «Там одни только жулики, недотепы, идиоты безмозглые», – твердила она про себя. Из-за этой старой развалюхи она стала мишенью для насмешек у своих одноклассниц: «Скажи родителям, пусть купят тебе осла! Будешь реже опаздывать!» – и получала замечания от директрисы.

Амин с помощью одного из работников установил в кузове машины маленький стульчик. Аиша усаживалась на него среди сложенных инструментов, ящиков с фруктами и овощами, которые мать отвозила на рынок в Мекнесе. Однажды утром, уже почти задремав, Аиша почувствовала, как что-то зашевелилось у ее тоненькой лодыжки. Она вскрикнула, Матильда резко дернула руль, и машина чуть не свалилась в кювет.

– Там что-то есть, я чувствую, – оправдывалась Аиша.

Матильда не пожелала останавливаться, боясь, что машина потом не заведется.

– Опять твои фантазии! – проворчала она, трогая вспотевшие подмышки.

Когда машина остановилась у школьной ограды и Аиша спрыгнула на тротуар, несколько десятков девочек, столпившихся у ворот, дружно вскрикнули. Они обхватили ноги своих матерей, а некоторые бросились наутек в направлении двора. Одна из них лишилась чувств – или сделала вид. Матильда с Аишей непонимающе переглянулись, потом заметили Браима: тот указывал куда-то пальцем и смеялся.

– Только посмотрите, кого вы с собой привезли! – весело воскликнул он.

Длинный уж выполз из кузова машины и лениво последовал за Аишей, как верный пес за хозяином во время прогулки.

Когда в ноябре наступила зима, по утрам им приходилось выезжать из дому в полной темноте. Держа дочь за руку, Матильда тащила ее по дорожке между заиндевелых миндальных деревьев, Аиша дрожала от холода. В серой рассветной мгле слышалось только их собственное дыхание. Ни шума животных, ни голосов людей – ничто не нарушало тишину. Они садились в отсыревшую машину, Матильда включала

зажигание, мотор чихал. «Это ерунда, ему нужно прогреться», – заявляла Матильда. Насквозь промерзшая машина натужно кашляла, как туберкулезник. Порой Аишу охватывала ярость. Она плакала, пинала колеса пикапа, проклинала ферму, родителей, школу. И получала пощечину. Матильда выходила из машины и толкала ее вниз по склону до широких ворот в дальнем конце сада. В середине лба у нее вздувалась вена. Лицо становилось лиловым, Аишу это пугало и приводило в трепет. Машина заводилась, но впереди их ждал довольно крутой подъем, и зачастую мотор глох.

Однажды утром, хотя Матильда уже измучилась, а ей еще предстояло, сгорая со стыда, звонить в закрытые ворота школы, она вдруг весело рассмеялась. Случилось это холодным, но солнечным декабрьским утром. Погода стояла такая ясная, что можно было разглядеть Атласские горы, напоминавшие акварель, подвешенную в небесах. Матильда проговорила громким дикторским голосом:

– Уважаемые пассажиры, пристегните ремни! Мы готовимся к взлету!

Аиша прыснула со смеху и сильнее вжалась в спинку сиденья. Матильда изобразила громкий рев двигателей, и Аиша ухватила за дверцу, готовясь отправиться в полет. Матильда повернула ключ в замке зажигания, нажала на педаль газа, и мотор заурчал, потом издал астматический хрип. Матильда развела руками:

– Уважаемые пассажиры, мы просим извинения, но двигатели оказались недостаточно мощными, а крылья требуют небольшого ремонта. Сегодня наш рейс отменяется, вам придется добираться в пункт назначения на автомобиле. Но вы можете рассчитывать на вашего опытного пилота: обещаем, через несколько дней наш полет состоится!

Аиша прекрасно знала, что машина не может летать, и тем не менее много лет подряд при каждом приближении к крутому подъему дороги у нее бешено колотилось сердце, и она думала: «А что, если сегодня?» Хотя нечто подобное представлялось крайне маловероятным, Аиша все же подсознательно надеялась, что пикап, распоров облака, унесет их в новые места, где они будут хохотать как ненормальные, смогут по-иному взглянуть на свой холм, отрезанный от всего мира.

* * *

Аиша ненавидела их дом. Она унаследовала чувствительность матери, и Амин сделал вывод, что все женщины одинаковы – пугливы и впечатлительны. Аиша боялась всего. Совы, жившей в кроне дерева авокадо и предвещавшей, по словам работников, чью-то скорую смерть. Шакалов, чей заунывный вой не давал ей спать, бродячих собак с торчащими ребрами и воспаленными сосками. Отец предупредил ее: «Когда идешь гулять, бери с собой камни». Она сомневалась, что сумеет защитить себя, отбиться от этих свирепых животных. Тем не менее исправно наполняла карманы камнями, которые при каждом ее шаге громко стучались друг о друга.

Больше всего Аиша боялась темноты. Густой, бесконечной, непроглядной тьмы, окружавшей ферму ее родителей. По вечерам, когда мать забирала ее из школы и выезжала на сельскую дорогу, огни города удалялись, и их двоих поглощал непроницаемый опасный мир. Машина въезжала в непроглядный мрак, словно они углублялись в пещеру или тонули в зыбучих песках. В безлунные ночи неразличимы были даже могучие силуэты кипарисов и очертания стога сена. Мгла стирала все. Аиша задерживала дыхание. Она читала «Отче наш» и «Аве Мария». Думала об Иисусе, прошедшем через ужасные страдания, и повторяла: «Я бы так не смогла».

В доме горел унылый и слабый мигающий свет, и Аиша постоянно боялась, что отключится электричество. Ей нередко случалось идти по коридору вслепую, ощупывая ладонями стены, обливаясь слезами и крича: «Мама! Ты где?» Матильда тоже мечтала о ярком свете и пилила мужа. Как Аише делать уроки? Она портит себе глаза над тетрадками! Как Селиму бегать и играть? Он постоянно трясется от страха! Амин решил на покупку генератора, чтобы заряжать аккумуляторы, а также качать воду для скота и полива посевов в дальнем конце фермы. Пока его не было дома, аккумуляторы довольно скоро разряжались, и свет ламп зловеще тускнел. Тогда Матильда зажигала свечи и делала вид, будто такое освещение кажется ей красивым и романтическим. Она рассказывала Аише истории о герцогах и маркизах, о великолепных дворцах и балах. Она смеялась, но на самом деле вспоминала о войне, о затемнении, о том, как проклинала свой народ, проклинала свою жизнь, полную лишений, семнадцать лет, прошедшие впустую. Дом на холме отапливали углем, на нем же готовили еду, и от этого одежда Аиши пропиталась запахом сажи,

вызывавшим у нее приступы тошноты, а у ее одноклассниц – приступы веселья. «Аиша пахнет копченым мясом! – кричали школьницы во дворе. – Аиша живет как горцы в своих домишках».

В западном крыле дома Амин устроил себе кабинет. Он назвал его своей лабораторией и прикрепил к стенам картинки, названия которых Аиша знала наизусть. «О выращивании цитрусовых», «Обрезка виноградной лозы», «Ботанический практикум по земледелию в тропическом климате». Смысла этих черно-белых иллюстраций она не понимала и считала, что ее отец – своего рода волшебник, способный влиять на законы природы, разговаривать с растениями и животными. Однажды, когда она ночью закричала, испугавшись темноты, Амин поднял ее, посадил себе на плечи, они вышли в сад. Ей даже не видны были носки его ботинок, такая стояла тьма. Холодный ветер задирает подол ее ночной рубашки. Амин достал из кармана какой-то предмет и протянул его Аише:

– Это карманный фонарик. Посвети им вверх и попытайся попасть лучом в глаза птицам. Если сумеешь, они так напугаются, что замрут в воздухе, и ты сможешь поймать их рукой.

В другой раз он пригласил дочку пойти с ним в примыкающий к дому декоративный садик, который разбил для Матильды. Там росли молодая сирень, куст рододендрона и жакаранда, которая еще ни разу не цвела. Под окном гостиной раскинулось дерево с корявыми ветками, сгибающимися под тяжестью апельсинов. В руке с черными полосками земли под ногтями Амин держал ветку лимона, он вытянул палец и показал Аише две сформировавшиеся на ней почки. Острым ножом сделал глубокую насечку на стволе апельсинового дерева.

– А вот теперь смотри внимательно, – произнес он и осторожно вставил косо срезанный конец ветки лимона в щель на стволе апельсина. – Сейчас скажу работнику, чтобы замазал разрез смолой и обвязал веревкой. Тебе останется только выбрать имя этому странному дереву.

* * *

Сестра Мари-Соланж любила Аишу. Она была очарована этим ребенком, на которого втайне возлагала честолюбивые надежды. Малышка была склонна к мистике, и если директриса видела в этом первые признаки истерии, то сестра Мари-Соланж, напротив,

определяла божественное призвание. Каждое утро перед уроками ученицы отправлялись в часовню, к которой вела посыпанная гравием дорожка. Аиша часто опаздывала, но стоило ей войти в ворота школы, и она уже не отрывала взгляда от дома Божьего. Она шла туда с такой целеустремленностью и решительностью, что это казалось странным, особенно в ее возрасте. Порой, не дойдя нескольких метров до порога часовни, она становилась на колени и с безмятежным лицом двигалась вперед, скрестив руки на груди и обдирая кожу об острые камни. Когда она попадалась на глаза директрисе, та рывком поднимала ее:

– Мадемуазель, мне не по вкусу ваше показное благочестие. Господь умеет распознавать искренность.

Аиша любила Господа и сказала об этом сестре Мари-Соланж. Она любила Иисуса Христа, который встречал ее, нагой, когда она выходила в ледяное утро. Ей сказали, что страдание приближает человека к небесам. Она поверила.

Однажды утром в конце мессы Аиша упала в обморок. Она не смогла произнести последние слова молитвы. Она дрожала от холода, стоя в стылой часовне в поношенном свитере на костлявых плечах. Ее не согрели ни пение, ни запах ладана, ни звучный голос сестры Мари-Соланж. Ее лицо побелело, глаза закатились, и она упала на каменный пол. Сестре Мари-Соланж пришлось нести ее на руках. Эта сцена привела школьниц в раздражение. Они говорили, что Аиша притвора, что она фальшивая святая, а в будущем станет бесноватой прорицательницей.

Ее уложили в маленькой комнатке, служившей медицинским пунктом. Сестра Мари-Соланж поцеловала ее в щеки и в лоб. По правде говоря, здоровье малышки ее не беспокоило. Этот обморок означал, что между тщедушным тельцем девочки и телом Христа установился диалог, ни смысла, ни красоты которого Аиша пока не осознавала. Девочка шумно выхлебала теплую воду, а сахар, который сестра велела ей пососать, оттолкнула. Она заявила, что не заслуживает такого лакомства. Сестра Мари-Соланж настояла на своем, Аиша высунула острый язычок, потом с хрустом разгрызла сахар.

Она попросила разрешения вернуться в класс. Сказала, что ей уже лучше, что она не хочет пропускать занятия. Вошла и села за свою парту, позади Бланш Колиньи, и утро прошло тихо и мирно. Аиша не

отрываясь смотрела в затылок Бланш, на ее розовую пухлую шею, покрытую легким светлым пушком. Бланш высоко зачесывала волосы и собирала их в пучок на макушке, как у балерины. Каждый день Аиша часами созерцала эту шею. Она знала ее в мельчайших подробностях. Она знала, что, когда Бланш наклоняется к тетрадке, чуть выше плеч у нее образуется маленькая складочка. В сентябре, когда стояла удушающая жара, кожа Бланш покрылась красными зудящими пятнышками. Аиша наблюдала, как ее соседка в кровь расчесывала кожу испачканными в чернилах пальцами. Капельки пота стекали от корней волос вниз, на спину, воротнички платьев намокали и приобретали желтоватый оттенок. В классной комнате нечем было дышать, шея Бланш изгибалась, как у гуся, по мере того как внимание девочки рассеивалось, ее одолевала усталость, и случалось, среди дня она засыпала. Аиша никогда не притрагивалась к своей однокласснице. Иногда ей хотелось протянуть руку, ощупать кончиками пальцев выпуклые позвонки, погладить выбившиеся из прически белобрысые прядки, мягкие, как цыплячий пух. Если бы она не держала себя в руках, то уткнулась бы носом в эту шею и вдохнула ее запах, но еще больше ей хотелось бы попробовать ее на вкус, лизнув кончиком языка.

В тот день Аиша заметила, как по затылку Бланш пробежала легкая дрожь. Белый пушок встал дыбом, как у кошки, готовой к драке. Аиша гадала, что было причиной такого волнения. Или это просто свежий ветерок ворвался в окно, открытое сестрой Мари-Соланж? Аиша уже не слышала ни голоса учительницы, ни скрипа мела по доске. Этот затылок вызывал у нее помрачение рассудка. И она не удержалась. Схватила циркуль и проворно вонзила иглу в шею Бланш. Тут же ее выдернула и, зажав большим и указательным пальцами, стерла капельку крови.

Бланш громко вскрикнула. Сестра Мари-Соланж резко обернулась и чуть не свалилась с кафедры:

– Мадемуазель Колиньи! Что на вас нашло? Почему вы кричите?

Бланш набросилась на Аишу. Изо всех сил вцепилась ей в волосы. Ее перекосило от ярости.

– Эта ведьма ущипнула меня за шею!

Аиша и пальцем не пошевелила. Когда Бланш налетела на нее, она опустила глаза, сжалась в комок и не произнесла ни слова. Сестра

Мари-Соланж схватила Бланш за руку. И с поразившей учениц грубостью потащила к своему столу.

– Как вы смеете обвинять мадемуазель Бельхадж? Кто мог бы вообразить, что Аиша на такое способна? Я подозреваю, что за всем этим кроются какие-то недостойные чувства.

– Но я вам клянусь! – вскричала Бланш, ощупывая затылок и шею и осматривая ладонь в надежде обнаружить доказательства нападения. Но крови не было, и сестра Мари-Соланж велела ей несколько раз написать красивым почерком: «Никогда не буду обвинять своих школьных друзей в вымышленных проступках».

На перемене Бланш бросала на Аишу злобные взгляды. Казалось, она говорит: «Ничего-ничего, ты у меня дождешься!» Аиша сожалела, что укол циркулем не принес ожидаемого результата. Она надеялась, что тело соседки сдуется, как шарик, который проткнули булавкой, что оно превратится в вялую безобидную оболочку. Но Бланш осталась жива и невредима, она прыгала посреди двора, смешила подружек. Прислонившись спиной к стене и повернувшись лицом к солнцу, которое согревало и успокаивало ее, Аиша наблюдала за девочками, игравшими в огороженном дворике, где росли платаны. Марокканки, сложив ладони трубочкой и прикрыв ими рот, шепотом делились друг с другом своими секретами. Аиша считала, что они очень красивы, длинные темные волосы, заплетенные в косы, поддерживал тоненький белый ободок надо лбом. Большинство из них жили в интернате и ночевали на территории школы. По пятницам они уезжали домой, к родным, в Касабланку, Фес или Рабат – в города, где Аиша никогда не бывала и которые представлялись ей такими же далекими, как Эльзас, родной край ее матери Матильды. Ведь Аиша не была в полной мере ни арабкой, ни европейской девочкой, как дочери землевладельцев, авантюристов, чиновников колониальной администрации, играющие в классики, крепко сжав коленки. Она не знала, кто она такая, а потому стояла одна, прислонившись к нагретой солнцем стене школьного здания. «Как долго! Как же долго! Когда я снова увижу маму?»

Вечером ученицы с криками помчались к школьной ограде. Начинались рождественские каникулы. Гравий хрустел под лакированными ботинками девочек, их замшевые пальто покрывались белыми пушинками. Шумный возбужденный рой школьниц чуть не сбил Аишу с ног. Она прошла за ограду и остановилась на тротуаре.

Матильда не приехала. Аиша смотрела, как ее однокашницы, уходя, прижимаются к матерям и трутся о них, как кошки. Перед школой припарковался огромный американский автомобиль, из него вышел мужчина в красной феске. Обошел машину и стал искать взглядом маленькую девчушку. Заметив ее, почтительно приложил руку к сердцу и прижал подбородок к груди. «*Lalla*^[8] Фатима!» – приветствовал он направлявшуюся к нему школьницу, и Аиша удивилась, почему с этой малышкой, которая засыпала на уроках, уронив голову на тетрадь и пачкая слюнями страницы, обращались как с важной дамой. Фатима исчезла в чреве огромной машины, девочки помахали ей, крикнув: «Хороших каникул!» Потом щебет стих, детвора разошлась, и городская жизнь потекла своим чередом. На пустыре за школой подростки играли в мяч, до Аиши долетали испанские и французские ругательства. Прохожие, украдкой взглянув на нее, поднимали глаза, словно ища объяснение, почему эта девчушка, не похожая на нищенку, стоит здесь в одиночестве, как будто все о ней забыли. Аиша отводила глаза, ей не хотелось, чтобы ее жалели, а тем более утешали.

Стало совсем темно, и Аиша крепко прижалась к школьной ограде, желая исчезнуть, испариться, превратиться в дуновение ветра, призрак, облачко пара. Время текло так медленно! Ей казалось, что она стоит здесь уже целую вечность: плечи и лодыжки у нее заledenели, она мысленно звала мать, которая все никак не ехала. Она потерла ладонями плечи, попрыгала с ножки на ножку, чтобы не замерзнуть окончательно. Ее одноклассницы, подумала она, полдничают сейчас на кухне, уплетая горячие блинчики с медом. Аиша представляла себе, как кто-то из них делает уроки, сидя за столом из красного дерева в комнате, заваленной игрушками. Загудели автомобильные клаксоны, люди стали выходить из контор, и Аиша то и дело вздрагивала от слепящего света фар. Город заплясал в лихорадочном ритме, который задавали мужчины в шляпах и плащах. Они уверенным шагом входили в теплые жилища, радостно предвкушая вечер и ночь, когда они будут пить и спать. Аиша принялась вертеться волчком, словно обезумевшая механическая кукла, и молиться Иисусу Христу и Деве Марии, стиснув руки так, что они побелели. Браим не сказал ей ни слова, потому что директриса запретила ему разговаривать с ученицами. Но он протянул девочке руку, и она сжала его ладонь. Стоя у ограды, они

вдвоем не отрываясь смотрели на перекресток, откуда наконец должна была появиться Матильда.

Она выскочила из старой развалюхи и обняла свое дитя. На арабском с заметным эльзасским акцентом поблагодарила Браима. Ощупала карман грязной куртки, наверное, ища монету, чтобы дать ее сторожу, но не нашла и покраснела. В машине Аиша не отвечала на вопросы Матильды. Не рассказала о том, как ненавидят ее Бланш и другие одноклассницы. Три месяца раньше Аиша плакала, выйдя из школы, оттого что ее одноклассница отказалась дать ей руку. Родители тогда сказали, что это не имеет значения, что на это не надо обращать внимания, их равнодушие задело Аишу. Но той ночью она никак не могла уснуть от огорчения и услышала, как ссорятся родители. Амин ругал эту христианскую школу, где его дочь чувствует себя чужой. Матильда, всхлипывая, проклинала их замкнутый образ жизни. С тех пор Аиша решила ничего им не рассказывать. С отцом не говорила об Иисусе. Она хранила в секрете свою любовь к человеку с обнаженными ногами, дававшему ей силу обуздывать свой гнев. Матери не признавалась в том, что целый день ничего не ест, после того как в школьном буфете обнаружила зуб в тарелке рагу из стручковой фасоли с бараниной. Это был не белый остренький молочный зуб, как тот, что у нее выпал минувшим летом, и в обмен на него маленькая мышка принесла ей конфету с пралине. Нет, это был черный зуб с дуплом, зуб старика, сам собой вывалившийся, как будто державшая его десна начала разлагаться. Всякий раз, когда Аиша думала об этом, ее начинало тошнить.

* * *

В сентябре, когда Аиша пошла в школу, Амин решил приобрести зерноуборочный комбайн. Он так потратился на ферму, на детей, на обстановку для дома, что ему едва хватило средств на услуги плутоватого торговца металлоломом, и тот посулил ему потрясающую машину прямиком с американского завода. Амин прервал поток его красноречия, резко отмахнувшись. Он не желал слушать словесные излишества пройдохи, к тому же мог себе позволить только этот и никакой другой агрегат. Целыми днями Амин работал на комбайне, не доверяя его никому. «Они его сломают», – объяснял он Матильде, обеспокоенной тем, что муж до крайности исхудал. Его лицо

осунилось от усталости и жары, кожа стала почти черной, как у африканских стрелков. Он работал без продыху, следил за каждым движением работников. До темноты наблюдал за загрузкой мешков, и случалось, засыпал прямо за рулем автомобиля, слишком утомившись, чтобы добраться до дома.

Несколько месяцев Амин не спал в супружеской постели. Ел на кухне стоя и пытался разговаривать с Матильдой, но сыпал словами, которых она не понимала. Вид у него был совершенно безумный, он смотрел на нее выпученными, красными от кровяной сетки глазами. Вероятно, он хотел что-то ей объяснить, но вместо этого только резко взмахивал рукой, словно бросая мяч или замахиваясь на кого-то ножом. Он не решался ни с кем поделиться своими тревогами, и оттого они мучили его еще больше. Если бы он признал свое поражение, это его убило бы. Дело было не в технике, не в климате и даже не в невежестве его работников. Его отец совершил ошибку, и эта мысль терзала Амина. Эта земля ни на что не годилась. Плодородным был только тонюсенький слой почвы, а под ним залегал туф, серая и пустая горная порода, и об этот туф раз за разом разбивались его амбиции.

Иногда он чувствовал себя до такой степени раздавленным усталостью и заботами, что ему хотелось лечь на землю, свернуться калачиком и проспать несколько недель кряду. Он готов был расплакаться, как перевозбужденный, утомленный играми ребенок, ему казалось, что слезы ослабят тиски, сдавившие ему грудь. Солнце и бессонница уже почти свели его с ума. Его душа пребывала во власти мрака, в котором смешались воспоминания о войне и картины надвигающейся нищеты. Амин помнил времена великого голода. Ему было лет десять – двенадцать, когда с юга в их край потянулись целые семьи вместе с домашним скотом, все тощие, истощенные до такой степени, что не могли даже говорить. Головы у этих людей были изъедены паршой, они шли в большие города – может, там услышат их немую мольбу – и хоронили детей на обочинах дорог. Амину казалось, что весь мир страдает, что толпы голодающих до сих пор идут за ним по пятам и сам он скоро к ним присоединится. Этот кошмар постоянно преследовал его.

* * *

Тем не менее Амин не сдавался. Под влиянием одной статьи он решил заняться разведением коров. Однажды, когда Матильда ехала из школы, она заметила Амина на обочине, в двух километрах от фермы. Он шел рядом с тощим мужчиной в грязной джеллабе и грубых сандалиях, в кровь натиравших ноги. Амин улыбался, а мужчина хлопал его по плечу. Со стороны они выглядели как старые знакомые. Матильда остановила машину. Вышла, разгладила ладонями юбку и направилась к ним. Амин, казалось, смутился, но представил их друг другу. Мужчину звали Бушаиб, и Амин только что заключил с ним сделку, которой очень гордился. На те небольшие средства, что у них еще остались, он намеревался приобрести четыре-пять быков, которых Бушаиб отгонит на пастбища в Атласские горы, чтобы хорошенько там откормить. Потом они продадут быков, а выручку поделят.

Матильда пристально разглядывала Бушаиба. Ей не понравился его сдавленный смех, напоминающий приступы кашля, когда у человека першит в горле. Его манера тереть лицо длинными грязными пальцами произвела на нее ужасное впечатление. Ни разу он не посмотрел ей прямо в глаза, но она знала, что дело тут не в том, что она женщина, и не в том, что она иностранка. Матильда не сомневалась, что этот человек собирается их обмануть. В тот же вечер она сказала об этом Амину. Подождала, пока дети уснут и муж откинется на спинку кресла. Она попыталась уговорить его не связываться с этим типом. Ей было немного стыдно за свои шаткие доводы, стыдно говорить об интуиции, дурных предчувствиях, отталкивающим облике крестьянина. Амин вспыхнул:

– Ты так говоришь, потому что кожа у него темная, потому что он деревенщина, живет в горах и не умеет вести себя, как горожанин! Ты ничего не знаешь об этих людях. Тебе их не понять.

На следующий день Амин и Бушаиб отправились на скотный рынок. Он располагался у одной из дорог, между развалинами стены, когда-то защищавшей город от набегов кочевых племен, и деревьями, под которыми горцы расстелили свои ковры. Стояла убийственная жара, Амина мучило от густого запаха скота, испражнений животных и людского пота. Несколько раз он прикрывал нос рукавом, боясь, что его стошнит или ему станет плохо. Худые покорные создания стояли, склонив головы к земле. Казалось, ослы и козы прекрасно понимают, что никому нет дела до того, что они чувствуют. Они равнодушно жевали редкие стебли одуванчиков, пожелтевшую траву, пучки дикой мальвы. Они спокойно и смиренно ожидали, когда перейдут от одного мучителя к другому. Крестьяне суетились. Они выкликали вес, цену, возраст животных, сообщали, к чему оно пригодно. В этом бесплодном засушливом крае каждый бился за право сеять, собирать урожай, разводить скот. Амин перешагнул через валявшиеся на земле большие мешки с джутом, стараясь не наступить на лепешки навоза, подсыхавшие на солнце, и направился напрямик к западной части рынка, где размещалось стадо быков.

Он поздоровался с хозяином, лысым стариком в белой чалме, и почти сразу – по мнению Бушаиба, слишком нелюбезно – оборвал его витиеватые пожелания удачи и благополучия. Амин по-ученому заговорил о животных. Стал задавать слишком сложные для старика вопросы. Он хотел ясно и определенно дать понять, что они люди не одного круга. Крестьянин обиделся и принялся жевать стебелек желтого колокольчика, так же громко шлепая губами, как быки, которых он продавал. Бушаиб взял дело в свои руки. Он совал пальцы в ноздри животных, обеими руками ощупывал круп. Похлопывая хозяина по плечу, расспрашивал о количестве спермы и навоза, нахваливал ухоженный вид скота. Амин отступил на несколько шагов, ему стоило большого труда скрывать гнев и нетерпение. Торг длился не один час. Бушаиб с крестьянином говорили ни о чем. Назначали сумму, приходили к соглашению, потом передумывали, тогда Бушаиб угрожал уйти, и они надолго замолкали. Амин прекрасно знал, что здесь дела так и делаются, это что-то вроде игры или ритуала, однако он несколько раз едва не закричал, чтобы положить конец этой дурацкой церемонии. День склонялся к закату. Солнце постепенно исчезало за зубцами Атласского хребта, по рынку стал гулять

холодный ветер. Они ударили по рукам с хозяином, тот передал им с рук на руки четырех отменно здоровых быков.

Собираясь расстаться со своим партнером и отправиться к себе в горную деревушку, Бушаиб сделался обходительным. Отметил умение Амина достойно держаться и вести переговоры. Произнес длинную речь о честности горных племен, о том, как твердо они держат данное слово. Нелестно отозвался о французах, этих придирах, вечно всех во всем подозревающих. Амин подумал о Матильде и согласно кивнул. За этот долгий день он совершенно вымотался и мечтал только о том, чтобы поскорее вернуться домой и побыть с детьми.

Следующие несколько недель Бушаиб регулярно отправлял на ферму гонца. Юного пастуха с чесоточными пятнами и гноящимися глазами, к которым липли мухи. Подросток, судя по всему, ни разу в жизни не евший досыта, в поэтических выражениях рассказывал о быках Амина. Он говорил, что там, наверху, трава свежа и сочна и что быки жиреют на глазах. По мере того как он это рассказывал, лицо Амина светлело, и мальчик был счастлив, что приносит радость в дом. Он приходил раза два-три и с наслаждением пил чай, куда, по его просьбе, Матильда клала три ложки сахара.

Потом мальчик перестал приходить. Минуло две недели, и Амин забеспокоился. Когда Матильда задала ему вопрос о быках, он вспыхнул:

– Я тебе уже сказал: не вмешивайся! Здесь обычно все так и делается. Надеюсь, ты не собираешься учить меня, как управлять фермой?

Однако его терзали сомнения. Он перестал спать по ночам. Вконец измучившись, сходя с ума от беспокойства, он послал одного из работников узнать, что происходит, но тот вернулся несолоно хлебавши. Он не нашел Бушаиба: «Горы велики, господин Бельхадж. Никто он нем не слышал».

Однажды вечером Бушаиб пришел сам. Он появился у ворот фермы с перекошенным лицом и воспаленными глазами. Заметив приближающегося Амина, стал колотить себя руками по макушке и расцарапал себе щеки, воя, как загнанный зверь. Крестьянин никак не мог отдышаться, и Амин не понимал, что тот пытается ему сказать. Бушаиб повторял одно слово: «Воры! Воры!» – и в его глазах стоял ужас. Он поведал, что ночью налетела банда вооруженных мужчин.

Они связали пастухов, стерегших стадо, избили их и на грузовике увезли весь скот.

– Пастухи ничего не могли сделать. Они люди храбрые, трудолюбивые, но что они могут против парней с оружием и грузовиком? – проговорил Бушаиб и рухнул в кресло. Положил руки на колени и расплакался, как ребенок. Заявил, что теперь всю жизнь будет помнить это унижение, что никогда не оправится от позора. Отхлебнул чаю, в который бросил пять кусков сахара, и добавил: – Какое страшное несчастье для нас обоих!

– Мы пойдем к жандармам! – заявил Амин, стоя напротив Бушаиба.

– К жандармам? – Бушаиб снова зарыдал. Он в отчаянии замотал головой. – Жандармы ничем не помогут. Эти воры, дьяволы, сучьи дети, уже далеко. Разве кто-то сможет отыскать их следы?

Он долго жаловался на тяжелую судьбу горцев, чья жизнь проходит вдали от всего мира и отдана на милость своенравной природы и жестоких разбойников. Он оплакивал свою судьбу, горько сетуя на засуху, болезни, женщин, которые умирают в родах, продажных чиновников. Он еще всхлипывал, когда Амин дернул его за руку и произнес:

– Мы едем в жандармерию!

Амин, конечно, был ниже ростом, чем Бушаиб, но от этого не менее убедителен. От работы в поле руки этого молодого и волевого мужчины налились силой. Бушаиб знал, что тот побывал на войне, дослужился до офицера у французов и имеет награды за героизм. Амин ухватил Бушаиба за рукав джеллабы, крепко зажав ткань в кулаке, и крестьянин не посмел сопротивляться. Они сели в машину, и их сразу поглотила непроглядная тьма. Воцарилось молчание. Несмотря на ночной холод, Бушаиб обливался потом. Амин украдкой поглядывал на него. Он следил за руками крестьянина, едва освещенными светом фар. Амин опасался, что Бушаиб в приступе безумия или отчаяния может броситься на него, попытаться убить, а потом сбежать.

Вдали показалась казарма жандармерии. Бушаиб сменил жалобный тон на насмешливый.

– Ты что, правда считаешь, что эти остолопы станут нам помогать? – несколько раз повторил он и пожал плечами, как будто

наивность Амина – самое забавное, что он видел в жизни.

Они остановились у ворот, но Бушаиб не двинулся с места. Амин обошел машину, открыл пассажирскую дверцу и произнес:

– Ты идешь со мной.

Амин вернулся домой, когда уже рассвело. Матильда сидела за кухонным столом. Она пыталась заплести волосы Аиши в косички, а та кусала губы, чтобы не плакать. Амин посмотрел на них. Молча им улыбнулся и прошел в свою комнату. Он не рассказал Матильде, что жандармы встретили Бушаиба как старого знакомого. Весело смеясь, выслушали его рассказ о горных разбойниках. Изображая удивление, переспрашивали: «А грузовик? Скажи, какой был грузовик? А бедняги пастухи – их сильно покалечили? Они смогут приехать и дать свидетельские показания? Расскажи-ка еще разок, как появились эти воры. Ты эту историю не забудь, уж больно она забавная!» У Амина создалось впечатление, что смеялись они прежде всего над ним. Над ним, строившим из себя крупного землевладельца с манерами французского поселенца, и позволившим первому встречному болтуну обвести себя вокруг пальца. Бушаиба на несколько месяцев отправили в тюрьму. Но для Амина это не стало утешением: это не поможет ему погасить долги. Крестьянин на самом деле оказался прав. Зачем ему понадобилось ехать к жандармам? Лишние мучения, и больше ничего. Нет, Амин должен был вмазать хорошенько этому проходимцу, этому куску дерьма. Бить его, пока тот не подойдет. Кто бы о нем пожалел? Была ли где-нибудь женщина, или ребенок, или друг, которые стали бы волноваться, куда подевалось это ничтожество? Все те, кто встречался с Бушаибом, скорее всего, вздохнули бы с облегчением, узнав о его смерти. Амин оставил бы его труп на растерзание шакалам и стервятникам, по крайней мере, так он почувствовал бы себя отомщенным. А полиция? Какая глупость!

Часть III

Утром Аиша проснулась с легким сердцем. Наступил первый день рождественских каникул, она молилась, лежа в кровати под шерстяным одеялом. Молилась за родителей, которые были так несчастны, и молилась за себя, потому что хотела быть хорошей и спасти их. С тех пор как они переехали на ферму, они только и знали, что ссорились. Накануне Матильда в клочки изорвала два своих платья. Она сказала, что не может больше смотреть на это старое тряпье, и если Амин не даст ей денег на новую одежду, она будет ходить нагишом. Аиша крепко сомкнула руки и стала просить Христа, чтобы он не позволил матери выходить на улицу совсем без ничего, умоляла, чтобы он не допустил такого унижения.

Матильда на кухне сидела с Селимом на коленях и гладила кудрявые волосы своего обожаемого мальчика. Она устало поглядывала на залитый солнцем двор, на веревку, провисшую под тяжестью белья. Аиша попросила мать собрать ей корзинку с едой.

– Мы могли бы пойти погулять вместе. Ты нас немного подождешь? – с надеждой спросила Матильда.

Аиша мрачно взглянула на брата: она считала его ленивым плаксой. Ей не нужны были сопровождающие, она хорошо знала дорогу.

– Меня ждут. Я пойду, – сказала Аиша, побежала к выходу, махнула на прощание и исчезла за дверью.

Она бежала без остановки, пока не добралась до дуара, расположенного почти в километре от их дома, на противоположном склоне холма, за посадками айвы. Когда она бежала, ей казалось – никому за ней не угнаться. Она мчалась вперед, ею управлял только ритм бега, она ничего больше не видела и не слышала, ее охватывало радостное ощущение полного одиночества. Аиша бежала, и когда грудь и спина начинали болеть, а рот наполнялся вкусом пыли и крови, она читала «Отче наш», чтобы придать себе смелости. «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя...»

Она прибежала в дуар запыхавшись, с обожженными крапивой, покрасневшими ногами. «И на земле, как на небе». Дуар состоял из

пяти убогих лачуг, перед которыми суетились куры и скакали дети. Там жили сельскохозяйственные рабочие. Между двумя деревьями была натянута веревка, на ней сушилось белье. Холмики белых камней позади жилищ напоминали о том, что тут похоронены предки. Эта пыльная тропинка да холм, где паслись стада, – вот и все, что видели эти люди даже после смерти. Здесь жили Ито и семь ее дочерей. Это женское царство было знаменито на всю округу. Когда появилась на свет пятая дочь, посыпались насмешки и ехидные намеки. Соседи поддразнивали папашу, Ба Милуда, ставили под сомнение качество его семени, заявляли, что его наверняка сглазила бывшая возлюбленная. Ба Милуд был вне себя. Но когда родилась седьмая, все изменилось, и в округе, наоборот, стали говорить, что Ба Милуда благословил Всевышний, что в его семье творятся чудеса. Глава семейства получил прозвище «отец семи дочерей», и оно наполняло его гордостью. Другой на его месте нашел бы повод для жалоб. Сколько хлопот! Сколько беспокойства! Дочки бродят по полям, а вокруг мужчины, которые могут к ним пристать, их соблазнить, сделать им ребенка! А какие расходы, всех предстоит выдать замуж, с умом продать тому, кто больше предложит! Но Ба Милуд, добряк и оптимист, с удовольствием грелся в лучах славы и был счастлив в этом доме, где царил женственность, где голоса детей напоминали щебет пташек в первые дни весны.

Все девочки в разной степени унаследовали высокие скулы матери и ее светлые волосы. Две старшие были рыжеволосы, еще четыре – блондинки, и все носили на подбородке татуировки, сделанные хной. Девочки заплетали длинные волосы в тугие косы до самого низа спины. Они прикрывали широкий лоб, повязывая цветные ленты, ярко-желтые или темно-малиновые, и носили тяжелые серьги, от которых растягивались мочки ушей. Люди, все без исключения, замечали их общую черту, их особенность – чудесную улыбку. У них были мелкие зубки, белые и блестящие, как жемчуг. Даже у Ито, немолодой женщины, питавшей пристрастие к очень сладкому чаю, была ослепительная улыбка.

Однажды Аиша спросила у Ба Милуда, сколько ему лет.

– Лет сто, не меньше, – ответил тот с самым серьезным видом, и на Аишу это произвело огромное впечатление.

– И поэтому у тебя остался только один зуб? – спросила она.

Ба Милуд рассмеялся, и его глаза без ресниц заблестели.

– Это, знаешь ли, из-за мышки, – сказал он и с таинственным видом зашептал на ухо Аише, в то время как Ито с девочками весело захихикали. – Однажды вечером, после того как я весь день тяжело работал в поле, я заснул прямо за едой. У меня во рту был хлеб со сладким чаем. Я так крепко заснул, что не почувствовал, как на меня забралась маленькая мышка, съела весь хлеб прямо изо рта и утащила мои зубы. Когда я проснулся, только один зуб остался.

Аиша изумленно вскрикнула, а Ито с девочками прыснули со смеху:

– Не пугай ее, *ya Va!*^[9] Не волнуйся, *benti!*^[10], у вас на ферме таких мышек нет.

* * *

С тех пор как Аиша пошла в школу, у нее стало меньше времени, чтобы ходить в дуар. Ито встречала ее в своем доме радостными возгласами и смехом. Она любила дочку хозяина, ей нравились ее буйные, соломенного цвета кудри, робкое выражение лица, и она ничего не имела против корзинки с угощением. Аиша была ей почти как дочь, потому что она видела, как та выходила из лона матери, а Тамо, старшая из семи дочерей, работала у Бельхаджей с того дня, как они приехали на ферму. Аиша пошла к девочкам, но не обнаружила их в главной большой комнате, где все ели и спали, а Ба Милуд вскакивал на жену, не смущаясь присутствием дочерей. В доме, сыром и холодном, Аише было трудно дышать из-за дыма от жаровни, перед которой на корточках сидела Ито, размахивая куском картона. Другой рукой она разбила яйцо, пожарила его прямо на углях, добавив щепотку кумина. Она протянула его Аише: «Это тебе». И пока девочка ела, сидя на корточках и держа яйцо руками, она гладила ее по спине и посмеивалась, видя, как яйцо капает на воротник блузки, над которой Матильда просидела две ночи.

С пунцовыми от быстрого бега щеками в дом влетела Рабия. Она была всего на три года старше Аиши, но в ней мало что осталось от ребенка. Аиша считала ее второй парой рук Ито. Рабия так же проворно, как мать, чистила овощи, вытирала младшим носы, снимая присохшие сопли, искала под деревьями просвирник, резала его и варила. Такими же тоненькими, как у Аиши, руками девочка месила

тесто и во время сбора урожая шестом сбивала оливки в большие сетки. Она знала, что нельзя взбираться на мокрые ветки дерева, потому что они слишком скользкие. Умела свистеть так, что у бродячих собак начинали трястись задние лапы, и они разбегались, поджав хвост. Аиша восхищалась дочерьми Ито и наблюдала, как они играют, не всегда понимая смысл игры. Они догоняли друг дружку, дергали за волосы, а порой одна бросалась на другую, они вместе двигались туда-сюда, и та, что лежала на спине, довольно хихикала. Они любили переодевать Аишу и забавляться с ней как с игрушкой. Привязывали ей на спину тряпичную куклу, обматывали голову грязным платком и, хлопая в ладоши, заставляли ее танцевать. Однажды они принялись уговаривать ее сделать татуировку, как у них, а еще расписать хной руки и ноги. Но прежде чем это случилось, успела вмешаться Ито. Они с насмешливой почтительностью звали ее *Bent Tajer*^[11] и тут же уточняли: «Ты ведь не лучше нас, да?»

Однажды Аиша рассказала Рабии о школе, и та была потрясена. Как же она жалела Аишу! Она представляла себе пансион чем-то вроде тюрьмы, где взрослые кричали по-французски на оцепеневших от страха детей. Вроде тюрьмы, где никто не обращал внимания на смену времен года и все целый день сидели взаперти, во власти жестоких взрослых.

Девочки ушли далеко в поля, и никто не спросил их, куда они идут. Густая вязкая грязь липла к ботинкам, идти становилось все труднее. Им приходилось отковыривать вязкие комочки глины, приставшей к подметкам, и это их смешило. Девочки сели у подножия дерева, они утомились и затеяли ленивую игру: указательным пальцем проковыривали маленькую норку, вытаскивали земляных червяков и давили их, зажав пальцами. Им всегда хотелось знать, что находится внутри предметов и живых существ – в животе у зверей и насекомых, в стеблях растений, в стволах деревьев. Они хотели выпотрошить весь мир, надеясь проникнуть в его тайну.

В тот день они обсуждали, как убегут из дома, отправятся на поиски приключений, и смеялись от охватившего их ощущения безграничной свободы. Однако голод дал о себе знать, ветер посвежел, и солнце стало клониться к закату. Аиша упросила подружку проводить ее, она боялась возвращаться домой одна и оперлась на ее руку, когда они ступили на каменистую тропинку. Они уже почти

пришли, когда Рабия заметила огромную копну сена, которую работники еще не успели перетащить в стойло. Сено лежало прямо под стеной амбара. «Залезем наверх», – предложила Рабия, и Аиша согласилась, не желая выглядеть трусихой. Они забрались на крышу амбара по старой ветхой лестнице, и Рабия, трясась от хохота всем своим маленьким телом, сказала: «Смотри!» – и спрыгнула.

Несколько секунд не было слышно ни звука. Как будто тело Рабии улетучилось, как будто ее похитил джинн. Аиша затаила дыхание. Она переместилась на самый край крыши, наклонилась и тонким голоском позвала: «Рабия!» Несколько мгновений спустя до нее донесся не то хрип, не то плач. Ей стало так страшно, что она быстро, как только могла, спустилась по лестнице и помчалась к дому. Увидела Матильду: та сидела в кресле, Селим играл у ее ног. Мать встала, готовясь отругать дочь и сказать, что она чуть с ума не сошла от страха за нее, но Аиша кинулась к ней, крепко прижалась и, заикаясь, проговорила:

– Кажется, Рабия умерла!

Матильда позвала Тамо, которая сидела на кухне и дремала, и они побежали к амбару. Тамо испустила громкий вопль, увидев сестру, лежащую на залитом кровью сене. Она стала пронзительно кричать, глаза у нее закатились, и Матильда, чтобы привести ее в чувство, отвесила ей пощечину, сбив Тамо с ног. Матильда склонилась над девочкой: у той на руке зияла глубокая рана от вил, спрятанных в сене. Матильда подняла ее на руки и бегом понесла в дом. Не переставая гладить лицо так и не пришедшей в сознание Рабии, попыталась вызвать врача, но телефон почему-то не работал. У Матильды дрожал подбородок, Аиша испугалась и подумала, что, если Рабия умрет, все, абсолютно все будут ее ненавидеть. Ведь это случилось по ее вине, и завтра на нее обрушатся ненависть Ито, гнев Ба Милуда, проклятия жителей деревни. Она стала прыгать с ноги на ногу, чувствуя, как по ним бегают мурашки.

– Проклятый телефон, проклятая ферма, проклятая страна! – завопила Матильда и швырнула телефон о стену.

Она велела Тамо положить сестру на кушетку в гостиной. Они зажгли свечи, расставили вокруг малышки, и в их дрожащем ореоле она стала похожа на прелестную покойницу, готовую к погребению. Тамо и Аиша словно воды в рот набрали, они из последних сил старались не рухнуть на пол, потому что боялись Матильды и

восхищались ею, а она тем временем копалась в ящике, служившем аптечным шкафчиком. Она склонилась над Рабией, и время остановилось. Слышно было только, как Матильда шумно сглатывает слюну, как трещит марля, которую она рвет, как лязгают ножницы, обрезая нить, когда она зашивала рану. Рабия теперь чуть слышно стонала, Матильда положила ей на лоб кусок полотна, смоченного одеколоном, и произнесла: «Ну вот». Когда вернулся Амин, а Аиша уже давно спала, натерпевшись страху, Матильда заплакала, раскричалась. Она проклинала этот дом, говорила, что они не могут и дальше жить как дикари, что ни секунды больше не станет подвергать опасности жизнь своих детей.

* * *

На следующий день Матильда проснулась на рассвете. Она вошла в комнату дочери, которая спала рядом с Рабией. Осторожно заглянула под повязку на ране, потом поцеловала в лоб обеих девочек. На столе дочери она заметила рождественский календарь с надписью золотыми буквами «Декабрь 1953». Матильда сама его сделала, вырезала двадцать четыре маленьких окошка, которые – она вынуждена была это признать – так и остались неоткрытыми. Аиша уверяла, будто не любит сладкое. Она не просила никаких лакомств, отказывалась от засахаренных фруктов и пьяной вишни: баночки с этим лакомством Матильда прятала на полке за книгами. Серьезность дочки огорчала мать. Она такая же суровая, как ее отец, думала Матильда. Муж уже уехал в поле, а она, завернувшись в одеяло, уселась за стол, лицом к саду. Тамо принесла чай, наклонилась к Матильде, и та недовольно повела носом. Она терпеть не могла запах своей служанки, ей были противны ее смех, ее неумемное любопытство, ее нечистоплотность. Она считала ее неряхой и деревенщиной.

Тамо восхищенно вскрикнула.

– Что это такое? – спросила она, указывая на рождественский календарь, от которого отклеилось несколько звездочек.

Матильда шлепнула служанку по пальцам:

– Не вздумай трогать. Это на Рождество.

Тамо пожала плечами и вернулась на кухню. Матильда наклонилась к Селиму, сидевшему на ковре. Она поплюнула палец и

сунула его в сахарницу, принесенную Тамо. Селим, любитель вкусенького, облизал ее палец и сказал «спасибо».

Несколько недель подряд Матильда твердила, что хочет такое Рождество, как было у нее раньше, в Эльзасе. Когда они жили в городе, в квартале Беррима, она не заговаривала ни о елке, ни о подарках, ни о рождественском венке со свечками. Она держала при себе свои капризы, потому что понимала, что обитателям темного, тихого дома в самом центре медины нельзя навязывать своего Бога и свои обычаи. Но Аише исполнилось шесть лет, и Матильде очень хотелось устроить в этом доме – своем доме – незабываемое Рождество для дочери. Она прекрасно знала, что в школе девочки хвастались подарками, которые им приготовили к празднику, платьями, которые купили им матери, и не могла смириться с тем, что у Аиши не будет этих маленьких радостей.

Матильда села в машину и покатила по дороге, знакомой до мельчайших деталей. Время от времени она высовывала из окна левую руку и приветствовала работников, а те в ответ прикладывали руку к сердцу. Когда она была в машине одна, то ездил очень быстро, на нее донесли Амину, и он запретил ей так рисковать. Но она хотела поскорее миновать эту местность, поднять облака пыли, хотела, чтобы жизнь мчалась вперед, и чем быстрее, тем лучше. Она вырулила к площади Эль-Хедим и припарковалась сразу за ней, заехав в узенький проулок. Прежде чем выйти из машины, накинула джеллабу поверх своей одежды, повязала платок, прикрыв волосы, и спустила его на лицо. Несколько дней назад ее машину забросали камнями, и во время нападения дети на заднем сиденье кричали от страха. Она решила ничего не говорить Амину – боялась, что он запретит ей бывать в городе. Он уверял, что для нее, француженки, слишком рискованно ходить по улицам медины. Матильда не читала газет, не слушала радио, но ее золовка Сельма, лукаво на нее поглядывая, заявила, что в самом скором времени марокканский народ победит. Сельма, смеясь, рассказала, как молодого марокканца заставили съесть пачку сигарет, чтобы наказать за нарушение бойкота французских товаров.

– Одного нашего соседа, – добавила она, – полоснули бритвой, разрезав ему губу. Обвинили в том, что он курит, а это оскорбляет Аллаха.

В европейской части города, у ворот школы, матери учениц, не сдерживаясь, во весь голос сурово обвиняли арабов в предательстве, хотя французы относились к ним с неизменным уважением. Эти женщины хотели, чтобы Матильда слышала их рассказы о похищении французов и о том, как горцы держат их в заложниках и мучают, поскольку считали ее сообщницей этих преступлений.

Полностью закрыв тело и лицо, Матильда направилась к дому свекрови. Она потела под многослойной тканью и иногда опускала платок, прикрывавший рот, чтобы глотнуть воздуха. Это переодевание вызывало у нее странное ощущение. Она чувствовала себя маленькой девочкой, которая кого-то изображает, и этот обман веселил ее. Она оставалась незамеченной, словно призрак среди других таких же призраков, и под этими покрывалами никто не видел, что она иностранка. Она обогнала группу молодых людей, торговавших арахисом из Буфакрана, остановилась перед небольшой тележкой и потрогала кончиками пальцев мясистую оранжевую мушмулу. Поторговалась по-арабски, и торговец, тощий смешливый крестьянин, продал ей фрукты за смешную цену. Тогда ей захотелось спустить покрывало, показать свое лицо, свои зеленые глаза и сказать старику: «Ты принял меня не за ту, кто я есть!» Дурацкая шутка, решила она и не стала насмехаться над доверчивостью местных жителей.

Она опустила глаза, подтянула платок до самых глаз и почувствовала, что исчезает. Она не знала, как к этому относиться. Безликость, наверное, защищала ее и даже пьянила, но она напоминала бездонную пропасть, куда Матильду засасывало против ее воли, и ей казалось, что с каждым шагом она теряет еще одну частичку своего имени, своей личности, что, пряча лицо, она прячет существенную часть самой себя. Она превращалась в тень, в знакомую, но не имеющую ни имени, ни пола, ни возраста фигуру. В те редкие моменты, когда она набиралась смелости и заговаривала с Амином о положении женщин, о Муилале, никогда не выходившей из дома, муж резко обрывал их беседу:

– Ты-то на что жалуешься? Ты европейка, тебе никто ничего не запрещает. Вот и занимайся своими делами, а мою мать оставь в покое.

Однако Матильда настаивала из духа противоречия, она не могла отказать себе в удовольствии ввязаться в драку. По вечерам она говорила усталому после полевых работ, измученному заботами

Амину о будущем Сельмы или Аиши: надо как-то определиться с их дальнейшей судьбой.

– Сельме нужно учиться, – настаивала Матильда и, если Амин не взрывался сразу, продолжала: – Времена изменились. И о своей дочери тоже подумай. Только не говори, что ты намерен воспитать Аишу в покорности!

После этого Матильда обычно цитировала по-арабски с эльзасским акцентом слова принцессы Лаллы Аиши, сказанные в Танжере в апреле 1947 года. Своего первого ребенка супруги назвали в честь дочери султана, и Матильда не уставала напоминать об этом мужу. Разве даже националисты не соединяют стремление к независимости с необходимостью женской эмансипации? Все больше женщин получают образование, носят джеллабу вместо хайка или даже европейскую одежду. Амин чуть заметно кивал и даже одобрительно бурчал, но не спешил с обещаниями. Шагая по полям, где трудились женщины, его работницы, он вспоминал эти разговоры. «Кому нужна строптивая женщина? – размышлял он. – Матильда ничего не понимает». Потом думал о матери, которая провела всю жизнь взаперти. В детстве Муилала, в отличие от братьев, не имела права ходить в школу. Позднее Си Кадур, ее муж, построил дом в старом городе. Идя на уступку традициям, он оставил единственное окно на улицу, вечно закрытое жалюзи, да и то на втором этаже, причем Муилале было запрещено к нему приближаться. Прогрессивность Кадура, целовавшего ручки француженкам и изредка посещавшего проститутку-еврейку в Эль-Мерсе, заканчивалась там, где речь заходила о репутации его жены. Когда Амин был маленьким, он иногда замечал, как мать украдкой наблюдает в щелочки жалюзи за тем, что делается на улице, и, увидев его, прижимает палец к губам в знак того, что это нужно держать в секрете.

Для Муилалы мир был разделен непреодолимыми преградами. Между мужчинами и женщинами, между мусульманами, иудеями и христианами, и она полагала, что чем меньше они будут встречаться, тем легче придут к взаимопониманию. Если каждый останется на своем месте, воцарится прочный мир. Евреи из меллы ремонтировали ее жаровни, у них же – при посредничестве тощей швеи – она заказывала галантерейные товары, необходимые в домашнем хозяйстве. Она никогда не видела европейских друзей Кадура, который

хвастался тем, что он человек современный, любил носить сюртуки и брюки со стрелками. Она не задавала ему вопросов, когда однажды утром прибирала личные покои мужа и обнаружила стаканы и окурки сигарет, красные следы на которых имели форму женских губ.

Амин любил свою жену, любил и хотел до такой степени, что порой просыпался среди ночи от желания укусить ее, проглотить целиком, обладать ею полностью, без остатка. Но иногда он сомневался в себе. Что за блажь на него нашла? С чего он возомнил, что сможет жить с европейкой, такой раскрепощенной женщиной, как Матильда? Из-за нее, из-за этих мучительных разногласий у него возникло ощущение, что его жизнь напоминает взбесившиеся качели. Иногда им овладевало острое, неистовое желание вернуться к своей культуре, всем сердцем любить своего бога, свой язык и свою страну, и нечуткость Матильды сводила его с ума. Он хотел, чтобы рядом была женщина, похожая на его мать, которая понимала бы его с полуслова, обладала терпением и самоотверженностью, свойственными его народу, которая мало говорила бы и много работала. Молчаливая и преданная женщина, которая ждала бы его вечером, смотрела, как он ест, и находила бы в этом свое счастье и высшее предназначение. Из-за Матильды он сделался предателем и отступником. У него порой возникало желание расстелить молитвенный коврик, прикоснуться лбом к земле, услышать в своем сердце и из уст своих детей звуки языка предков. Он хотел заниматься любовью, говоря по-арабски, шептать на ухо смуглой женщине ласковые слова, какие говорят ребенку. В иные моменты, когда он возвращался домой и жена бросалась к нему на шею, когда он слышал, как его дочка поет в ванной, когда Матильда придумывала игры и шутки, он радовался и чувствовал, что поднялся выше других. У него появлялось ощущение, будто он вырвался из общей массы, и ему приходилось признать, что война изменила его и что у современности есть свои преимущества. Ему было стыдно за себя и свое непостоянство, и именно Матильда – он это понимал – расплачивалась за это.

* * *

Матильда подошла к старой, обитой гвоздями двери, подняла дверной молоток и дважды громко им стукнула. Ей открыла Ясмин в подоткнутой юбке, на ее черных лодыжках густо курчавились

тоненькие волоски. Было уже десять часов утра, но в доме царил покой. Только где-то шумно потягивались кошки да служанка шлепала по полу мокрой тряпкой. Ясмин выпучила глаза, глядя, как Матильда стаскивает джеллабу, бросает платок на кресло и взбегает на второй этаж. Служанка кашлянула и выплюнула в колодец сгусток зеленоватой слизи.

Поднявшись наверх, Матильда обнаружила, что Сельма спит на кушетке. Матильда очень любила эту капризную, своенравную шестнадцатилетнюю девушку, не слишком воспитанную, но не лишенную изящества, которую Муилала окружала любовью и кормила – только и всего. «Это не так уж мало», – в одном из разговоров с Матильдой заметил Амин. Да, не так уж мало, но совершенно недостаточно. Жизнь Сельмы определялась, с одной стороны, слепой любовью матери, а с другой – беспощадной бдительностью братьев. С тех пор как у Сельмы обозначились грудь и бедра, братья сочли, что она достигла «призывного возраста» и, уже не сдерживаясь, при каждом удобном случае могли врезать ей как следует. Омар, на десять лет старше ее, говорил, что чувствует в сестре склонность к бунтарству и дух неповиновения. Он завидовал, что мать защищает Сельму и относится к ней с нежностью, проявившейся слишком поздно, а потому не доставшейся ему, Омару. Красота Сельмы бесила братьев, они вели себя как звери, почуявшие приближение грозы. И в профилактических целях колотили ее, запирали, дабы не было слишком поздно и она не совершила какую-нибудь глупость.

С годами Сельма становилась все красивее, красота ее нервировала окружающих, раздражала, при виде ее всем становилось не по себе, словно она предвещала самые страшные несчастья. Матильда, глядя на Сельму, задавалась вопросом, что чувствует девушка, наделенная такой красотой. Не мешает ли ей это? Красота – это что? Это вес, или вкус, или консистенция? Сельма хотя бы осознает, как неловко себя чувствуют люди в ее присутствии, как начинают суетиться, как не могут глаз оторвать от таких тонких, таких безупречных черт ее прелестного личика?

Матильда была женой и матерью, но, как ни странно, Сельма выглядела куда более зрелой и женственной, чем она. Облик Матильды, которой исполнилось тринадцать лет 2 мая 1939 года, существенно изменила война. Грудь стала расти слишком поздно, она

как будто временно атрофировалась от страха, голода, лишений. Светлые, блеклого оттенка волосы были такими тонкими, что из-под них, словно у младенца, просвечивала кожа. Сельма, наоборот, излучала дерзкую чувственность. Ее глаза были так же черны и так же блестяли, как маслины, которые Муилала мариновала в крепком рассоле. Густые брови, великолепные волосы над невысоким лбом, едва заметный темный пушок на верхней губе делали ее похожей на героиню Жоржа Бизе – ну, то есть Мериме, – в общем, на воплощение средиземноморского типа женщины, каким его представляла себе Матильда: горячие женщины с роскошными волосами, непременно пылкие брюнетки, способные свести с ума любого мужчину. Несмотря на юный возраст, Сельма умела так выдвигать подбородок, так поджимать губы, так покачивать бедром, что становилась похожа на героиню любовного романа. Женщины ее ненавидели. Учительница в лицее сделала ее мишенью для нападок, неустанно ругала и назначала ей наказания. «Это строптивый, дерзкий подросток. Представьте себе, мне страшно поворачиваться к ней спиной. Сама мысль о том, что она сидит здесь, позади меня, повергает меня в ужас, хотя я прекрасно знаю, что для этого нет разумных оснований», – призналась она Матильде, которая вбила себе в голову, что надо взять под контроль образование золовки.

* * *

В 1942 году, когда Амин оказался в плену в Германии, Муилала впервые в жизни покинула знакомые улочки квартала Беррима. Вместе с Омаром и Сельмой она поехала на поезде в Рабат, куда ее вызвало командование и откуда она надеялась отправить посылку своему обожаемому первенцу. Муилала, закутанная в белый хайк, села в поезд и страшно испугалась, когда локомотив окутался клубами дыма и, издав громкий свист, потащил вагоны вперед. Она долго смотрела на мужчин и женщин, оставшихся на перроне и без всякого толку махавших руками. Омар устроил мать и сестру в купе первого класса, где уже сидели две француженки. Они стали перешептываться. Казалось, они изумлены тем, что такая женщина, как Муилала – с браслетами на лодыжках, с крашенными хной волосами и длинными мозолистыми руками, – может ехать вместе с ними. Местным запрещалось путешествовать первым классом, и француженки были

потрясены глупостью и наглостью этих неграмотных аборигенов. Когда в купе вошел контролер, они задрожали от возбуждения. «Сейчас эта комедия закончится, – думали они. – Сейчас этой арабке укажут ее место. Она думает, что может сидеть, где ей вздумается, но существуют же правила!» Муилала извлекла из-под хайка билеты на поезд и бумагу от командования о том, что ее сын находится в плену. Контролер изучил бумаги и со смущенным видом потер лоб. «Приятного путешествия, мадам», – произнес он, приподняв фуражку. И выскользнул в коридор.

Француженки не могли опомниться. Поездка была испорчена. Вид этой женщины, с головы до ног завернутой в белую ткань, вызывал у них отвращение. Им был неприятен исходивший от нее запах пряностей, ее бессмысленный взгляд, которым она озирала пейзаж. Но больше всего им действовала на нервы сопровождавшая женщину маленькая замарашка, девочка лет шести-семи в городской одежде – что не мешало ей быть скверно воспитанной. Сельма, путешествовавшая впервые, крутилась во все стороны. Вскарabкалась на колени матери, заявила, что хочет есть, стала усердно набивать рот сладким печеньем, измазала руки медом. Она громко разговаривала с братом, шагавшим взад-вперед по коридору, напевала арабские песни. Более молодая и сердитая из француженок внимательно рассматривала девочку. Очень красивая, подумала она, и непонятно почему это заставило ее вздрогнуть. Ей почудилось, что Сельма украла это прелестное лицо, что она взяла его у какой-то другой девочки, которая наверняка его больше заслуживала и заботилась бы о нем гораздо лучше. Это дитя было прекрасно и равнодушно к своей красоте и оттого еще более опасно. Несмотря на задернутые пассажирками тонкие кисейные занавески, солнце проникало в вагонное окно, и в его теплом оранжевом свете волосы Сельмы ярко блестели. Ее кожа светло-медного оттенка от этого казалась еще более нежной, бархатистой. Огромные миндалевидные глаза напоминали глаза черной пантеры, которой француженка когда-то любовалась в парижском зоопарке. Таких глаз просто не бывает, подумала пассажирка.

– Ее, скорее всего, накрасили, – шепнула она на ухо своей спутнице.

– Что?

Молодая француженка наклонилась к Муилале и, четко выговаривая каждый слог, произнесла:

– Детям не делают макияж. Подводить ей глаза карандашом – это плохо. Это вульгарно. Ты поняла?

Муилала посмотрела на нее, не поняв ни слова. Она повернулась к Сельме, та расхохоталась и протянула француженкам коробку с печеньем:

– Старуха не говорит по-французски. Понимаешь?

Француженка была раздосадована. Она упустила возможность показать свое превосходство. Если эта арабка не понимает, тогда все напрасно, все попытки учить ее бесполезны. И тут она, как будто в порыве бешенства, схватила девочку за руку и потянула к себе. Достала из сумочки носовой платок, плюнула на него и стала грубо тереть глаза Сельмы. Та закричала. Муилала потащила дочь к себе, но ее противница пришла в еще большую ярость. Она смотрела на безнадежно чистый платок и снова терла, чтобы доказать самой себе и своей спутнице, что эта девочка наверняка будет потаскухой, шлюхой. Да, уж она-то знает этих брюнеток: они ничего не боятся, и ее муж сходит по ним с ума. Она их знает и ненавидит. Омар, кутивший в коридоре, прибежал, услышав крики, и ворвался в купе.

– Что тут происходит? – воскликнул он.

Француженка испугалась молодого человека в очках и молча выскочила из купе.

На следующий день, когда они вернулись в Мекнес, довольные, что им удалось отправить письма и апельсины Амину, Омар залепил сестре пощечину. Она ничего не поняла и расплакалась, и тогда брат сказал ей:

– Даже не думай краситься, никогда, ты меня поняла? Если вздумаешь намазать губы помадой, я тебе нарисую вот такую широкую улыбку, ясно? – И он указательным пальцем начертил на личике девочки зловещую улыбку от уха до уха.

* * *

Сельма подскочила на кушетке, обеими руками обхватила шею невестки и осыпала ее лицо поцелуями. С тех пор как они познакомились, Сельма стала для Матильды проводником, переводчиком и лучшей подругой. Сельма рассказывала ей об

обычаях, традициях, обучала вежливому обращению: «Если не знаешь, что ответить, скажи «аминь» – и вполне сойдет». Сельма помогала ей осваивать искусство притворяться и сохранять невозмутимость. Когда они оставались одни, Сельма засыпала Матильду вопросами. Она хотела все знать о Франции, о путешествиях, о Париже и американских солдатах, которых Матильда видела в дни освобождения. Она выведывала все, что могла, как заключенный расспрашивает товарища по несчастью, сумевшего однажды совершить побег.

– Что ты здесь делаешь? – спросила она.

– Приехала за покупками к Рождеству, – шепнула Матильда. – Хочешь со мной?

Матильда пошла с Сельмой в ее комнату и стала смотреть, как та раздевается. Сидя на подушке, брошенной на пол, она с удовольствием рассматривала стройные бедра Сельмы, ее чуть выпуклый живот, груди с темными сосками, ни разу не попадавшие в тиски бюстгальтера на китовом усе. Сельма надела элегантное черное платье с круглым воротом, подчеркивавшим изящную линию затылка. Она вынула из коробки пару пожелтевших перчаток, покрытых мелкими точками плесени, и стала неловко и осторожно их натягивать.

Муилала встревожилась.

– Не хочу, чтобы вы гуляли по медине, – сказала она Матильде. – Ты представления не имеешь, как завистливы люди. Сами готовы окриветь, лишь бы вы ослепли. Две красивые девушки вроде вас – нет, это никуда не годится. Люди из медины наведут на вас порчу, и вас потом будет трясти от лихорадки или случится еще что похуже. Если хотите погулять, отправляйтесь в новый город, там вам ничто не угрожает.

– Да какая разница? – со смешком спросила Матильда.

– Европейки смотрят по-другому. Они вас не сглазят.

Молодые женщины, смеясь, вышли из дома, а Муилала еще долго стояла за дверью, растерянная, дрожащая. Она не понимала, что происходит, и пыталась сообразить, что она чувствует, глядя, как ее девочки выходят на улицу, – тревогу или радость.

У Сельмы уже не было сил мириться с этими дурацкими сказками, с темными суевериями и приметами, на которые неустанно ссылалась Муилала. Сельма ее просто не слушала и только из боязни проявить

неуважение не затыкала уши и не закрывала глаза, когда мать просила ее остерегаться джиннов, порчи, дурного глаза. Муилала не могла предложить ей ничего нового. Ее жизнь шла по кругу, она совершала одни и те же действия с покорностью и безучастностью, вызывавшими у Сельмы отвращение. Старуха напоминала ей глупую собаку, которая до изнеможения гоняется за своим хвостом и в конце концов, заскулив, падает на землю. Сельма не выносила постоянного присутствия матери, спрашивавшей: «Ты куда?» – едва заслышав, как открывается дверь. Мать постоянно интересовалась, не голодна ли Сельма, не скучно ли ей, взбиралась, несмотря на возраст, на террасу, чтобы узнать, что Сельма там делает. Неусыпная забота Муилалы, ее нежность угнетали Сельму и, по ее мнению, были сродни жестокости. Иногда девушке хотелось наорать на Муилалу и на ее служанку Ясмин: она считала рабынями их обеих, и не важно, что одна купила на рынке другую. Сельма мечтала иметь замок с ключом, чтобы запереть дверь и спрятать за ней свои мечты и секреты – она отдала бы за это что угодно. Она молилась, чтобы судьба была к ней благосклонна, чтобы в один прекрасный день ей удалось сбежать в Касабланку и начать новую жизнь. Подобно мужчинам, кричавшим на улице: «Свобода! Независимость!» – она тоже кричала: «Свобода! Независимость!» – но никто ее не слышал.

Она уговорила Матильду отвезти ее на площадь де Голля. Ей хотелось «пройтись по авеню», как говорили парни и девушки из нового города. Она жаждала быть как они, тоже жить напоказ, ходить пешком по авеню Республики или проезжать по ней на машине как можно медленнее, опустив стекла и включив музыку на полную громкость. Чтобы ее все видели, как здешних девушек, чтобы она стала местной королевой, получила титул самой красивой девушки Мекнеса и горделиво расхаживала перед молодыми людьми и фотографами. Она отдала бы все на свете за то, чтобы поцеловать мужчину в ложбинку на шее, чтобы узнать, какова на вкус его обнаженная кожа, чтобы поймать его взгляд. Хотя ей никогда не доводилось видеть большую любовь, она не сомневалась, что это самое прекрасное, что только может быть. Старым временам и бракам по сговору пришел конец. Во всяком случае, так ей сказала Матильда, и она хотела ей верить.

* * *

Матильда согласилась не столько оттого, что хотела угодить золовке, сколько из-за покупок, которые она собиралась сделать в европейском квартале. Хотя Сельма была уже почти взрослой, она надолго задержалась у магазина игрушек. Когда она положила руки в перчатках на витрину, послышался окрик: «Не клади туда руки!» На Сельму в европейском наряде, с небрежным пучком на затылке, поглядывали подозрительно. Она то и дело подтягивала свои белые перчатки, с маниакальным упорством расправляла юбку, улыбалась прохожим в наивной надежде ослабить диссонанс и избавиться от чувства неловкости. Три парня, стоявшие у кафе, при виде Сельмы присвистнули, и Матильде стало стыдно, когда Сельма в ответ улыбнулась. Матильде пришлось взять Сельму за руку и ускорить шаг: она боялась, что их кто-нибудь увидит и Амин узнает об этом возмутительном инциденте. Они поспешили к большому рынку, и Матильда предупредила: «Мне нужно сделать покупки к праздничному ужину. Никуда от меня не отходи». У входа на рынок на земле сидели несколько женщин, ожидавших, когда кто-нибудь наймет их работать по дому или ухаживать за детьми. Все они закрывали лица вуалью, кроме одной, беззубой, изрядно напугавшей Сельму. «Кто ее наймет, такую?» – подумала девушка. Она медленно шла, шаркая плоскими черными туфельками по мокрой мостовой. Ей бы хотелось побыть немного в городе, поесть мороженого, полюбоваться юбками в витринах магазинов и женщинами за рулем собственных автомобилей. Ей бы хотелось присоединиться к группе молодых людей, которые устраивают вечеринки по четвергам и танцуют под американскую музыку. Торговец кофе установил в витрине автомат в виде негра с приплюснутым носом и толстыми губами, который мерно качал головой. Сельма остановилась как вкопанная перед кофейным аппаратом и несколько минут качала головой ему в такт, словно заводная кукла. В мясной лавке она долго смеялась, заметив вывеску с нарисованным петухом и надписью: «Когда петух заголосит, хозяин мяса даст в кредит»^[12]. Она заставила Матильду посмотреть на рисунок, и та рассердилась:

– Тебе бы все смеяться! Разве не видишь, что я занята?

Матильда нервничала. Усердно рылась в карманах. Нахмурившись, пересчитывала сдачу, полученную от торговцев. В их доме деньги стали постоянной причиной ссор. Амин обвинял ее в том, что она

безответственна и расточительна. Матильда вынуждена была настаивать на своем, оправдываться, даже умолять, когда речь заходила о расходах на школу, на машину, на одежду для дочки или на парикмахера для самой Матильды. Он ставил под сомнение каждое ее слово. Ругал ее за то, что она покупает книги, косметику, ткани, чтобы шить никому не нужные платья.

– Деньги зарабатываю я! – иногда кричал он. Потом тыкал пальцем в еду, расставленную на столе, и добавлял: – И на это, и на это, и на это. Все это оплачено моим трудом.

Подростком Матильда никогда не думала, что можно быть свободной без чьей-либо помощи, ей казалось, что ее жизнь непременно должна быть тесно связана с кем-то другим – ведь она женщина и у нее нет образования. Слишком поздно она осознала свою ошибку, и теперь, когда она набралась ума и даже отчасти смелости, уехать уже было невозможно. Дети держали ее здесь прочнее корней, и она была против воли привязана к этой земле. Без денег ей некуда было ехать, и эта зависимость, это подчиненное положение убивали ее. Проходил год за годом, но лучше не становилось, ей по-прежнему было тошно, словно она сама себя обламывала, подавляла, и от этого была себе противна. Всякий раз, как Амин совал ей в руку купюру и она покупала себе шоколадку, а не что-нибудь необходимое в хозяйстве, Матильда думала, заслужила ли она подобное баловство. Она боялась, что однажды, состарившись на этой чужой земле, обнаружит, что у нее ничего нет, что она ничего не добилась.

* * *

Вернувшись домой вечером 23 декабря 1953 года, Амин замер от восхищения. Он на цыпочках прошел в маленькую гостиную, где Матильда оставила несколько горящих свечей в рождественском венке из листьев, который сплела сама. На буфете лежал пирог, накрытый вышитой салфеткой, стены были украшены красными гирляндами со стеклянными шарами и бархатными бантами.

Матильда стала настоящей хозяйкой в своих владениях. Прожив на ферме четыре года, она доказала свою способность создавать многое практически из ничего, украшать столы скатертями и букетами полевых цветов, одевать детей в приличную, добротную одежду, готовить нормальную еду, притом что плита вечно чадила. Она

избавилась от своих прежних страхов, давила ядовитых насекомых носком сандалии, сама резала и разделявала птицу и скот – подношения крестьян. Амин гордился ею и любил наблюдать, как она, потная, раскрасневшаяся, завернув рукава выше локтей, хлопчет по дому. Нервозность жены расстраивала его, и, обнимая ее, он говорил: «Любимая, милая моя, мой маленький воин».

Если б он только мог, то подарил бы ей зиму и снег, и она промокла бы и продрогла, как в родном Эльзасе. Если б он только мог, вырубил бы в бетонной стене большой величественный камин, и она согрелась бы, как когда-то в доме своего детства у горящего очага. Он не смог подарить ей ни огонь, ни хлопья снега, но в ту ночь, вместо того чтобы лечь в кровать, он разбудил двух работников и повел их куда-то через поля. Крестьяне не задавали хозяину вопросов. Они послушно шли за ним и, по мере того как они все больше удалялись от жилья и их поглощала тьма, наполненная голосами животных и птиц, начинали думать, что, возможно, их ведут в западню, или с их помощью задумано свести с кем-то счеты, или хозяин решил наказать их за какой-то проступок, но не могли взять в толк, за какой именно. Амин приказал им прихватить с собой топор и теперь постоянно оборачивался и шепотом их подгонял:

– Быстрее, быстрее, нам нужно управиться, пока не рассвело.

Один из работников по имени Ашур потянул хозяина за рукав:

– Господин, мы уже не на нашей земле. Мы зашли во владения вдовы.

Амин пожал плечами и оттолкнул Ашура.

– Шагай вперед и молчи, – приказал он и вытянул руку с карманным фонариком, чтобы осветить дорогу. – Сюда.

Амин поднял голову и на несколько секунд так и замер, задрвав подбородок к небу, устремив взгляд на верхушки деревьев. Казалось, он счастлив.

– Вот это дерево, смотрите, мы его рубим и уносим домой. Быстро и без шума.

Почти целый час мужчины стучали топором о ствол молодого кипариса с синеватой кроной, темной, как ночь. Наконец они втроем подняли дерево: один взялся за верхушку, другой – за нижний конец, третий, для равновесия, держал его где-то посередине. Так они и пересекли земли вдовы Мерсье, и если бы кто-то стал свидетелем

этого шествия, то решил бы, что сошел с ума, потому что густая крона скрывала человеческие фигуры и казалось, будто дерево, приняв горизонтальное положение, само плывет в воздухе неведомо куда. Работники безропотно тащили дерево, но так и не поняли, что происходит. У Амина была репутация честного человека, и вдруг он превратился в вора, в браконьера и вероломно обокрал женщину. К тому же, если уж воровать, так не лучше ли поживиться скотиной, или зерном, или техникой? Зачем ему это несчастное дерево?

Амин открыл дверь, и впервые в жизни работники вошли в хозяйский дом. Амин прижал палец к губам, разулся и жестом приказал, чтобы работники сделали то же самое. Они поставили дерево в центре комнаты. Оно было таким высоким, что его верхушка согнулась, упершись в потолок. Ашур хотел взять лестницу и отрезать макушку, но Амин рассердился. Присутствие этого человека в гостиной казалось ему неуместным, и он без церемоний выпроводил его за порог.

Когда Амин проснулся утром, разбитый после короткого сна, с ноющим плечом, он погладил спину жены. Кожа Матильды была влажной и горячей, из приоткрытого рта стекала тоненькая струйка слюны, и он почувствовал неистовое желание. Он прижался носом к ее шее и не стал слушать, что она бормотала в полусне. Он овладел ею, как животное, глухое и слепое, расцарапал ей грудь и вцепился в волосы пальцами с черными ногтями. Увидев дерево в гостиной, Матильда едва не вскрикнула. Она повернулась к Амину, который шел следом за ней, и поняла, что нынче утром он вырвал у нее свою награду, что он взял ее с такой страстью, потому что хотел отпраздновать победу. Она обошла вокруг кипариса, сорвала несколько листочков-иголок, растерла в ладони и вдохнула знакомый аромат. Аиша, разбуженная страстными хрипами отца, наблюдала за происходящим, ничего не понимая. Мать была счастлива, и это удивило Аишу.

В тот же день, пока Матильда и Тамо ошипывали огромную индейку, которую принес один из работников, Амин отправился на авеню Республики. Когда он вошел в модный магазин, принадлежавший старой француженке, две продавщицы прыснули со смеху. Амин опустил глаза и пожалел, что не переобулся. Его башмаки еще с ночи были заляпаны грязью, к тому же у него не было времени

ждать, пока ему погладят рубашку. Покупателей в магазине было полным-полно. Человек десять стояли у кассы с пакетами в руках. Элегантные дамы примеряли шляпки и туфли. Амин медленно подошел к застекленной витрине, где были выставлены разные модели женских туфель без задников.

– Тебе что-нибудь нужно? – спросила одна из продавщиц, молодая женщина с ехидной и в то же время плотоядной улыбкой.

Амин чуть было не сказал, что просто ошибся. Немного помолчал, размышляя, как поступить, и продавщица, удивленно вытаращив глаза и покачав головой, произнесла:

– Ты что, Мухамед, по-французски не понимаешь? Не видишь, у нас и без тебя дел хватает!

– У вас есть мой размер? – спросил он.

Продавщица повернулась в ту сторону, куда указывал Амин, и озадаченно посмотрела на него:

– Ты хочешь это? Костюм Пэр-Ноэля, Рождественского Деда?

Амин потупился, как ребенок, застигнутый на месте преступления. Девушка пожалала плечами:

– Подожди, я сейчас.

Она прошла через торговый зал на склад. Этот мужчина, подумала она, не похож на слугу, которого полоумный хозяин заставляет переодеваться в нелепый наряд и развлекать детей. Нет, он скорее напоминает одного из националистов – из тех, кого полицейские хватили в кафе в старом городе, из тех, с кем она мечтала переспать. Но у нее в голове не укладывалось, что кто-то из них может нацепить белую бороду и уродливый колпак. Амин в нетерпении топтался у кассы. Когда он зажал пакет под мышкой, у него возникло ощущение, будто он совершил преступление, и он весь вспотел при мысли, что кто-то из знакомых застанет его здесь. Он на полной скорости катил по сельской дороге, предвкушая удовольствие, которое доставит детям.

Он надел костюм, не выходя из машины, и вошел в дом. Поднялся по ступенькам крыльца, открыл дверь в столовую и, шумно прокашлявшись, серьезно и ласково позвал детей. Аиша не могла опомниться. Она несколько раз поворачивалась то к матери, то к Селиму, заливавшемуся смехом. Как Пэр-Ноэль добрался в эти края? Старик в красном колпаке хлопал себя по животу и смеялся, но Аиша заметила, что у него нет мешка за спиной, и это ее расстроило. В саду на склоне холма не видно было ни саней, ни оленей. Она опустила глаза и заметила, что Пэр-Ноэль обут в башмаки, очень похожие на те, что носят их работники – что-то вроде высоких галош из серой резины, вечно заляпанных грязью. Амин потер руки. Он не знал, что делать дальше, и почувствовал, что выглядит нелепо. Он повернулся к Матильде, и зачарованная улыбка жены придала ему смелости и дальше играть свою роль.

– Ну что, детки, вы хорошо себя вели? – спросил он замогильным голосом. Селим побледнел, прижался к матери, протянул к ней руки и разревелся.

– Я его боюсь, – завопил он, – я его боюсь!

Аиша получила тряпичную куклу, которую Матильда смастерила сама. Волосы она сделала из коричневой шерсти: намочила нитки, пропитала маслом и заплела в косички. Туловище и голова были сшиты из старой наволочки, на лице Матильда вышила асимметричные глаза и улыбающийся рот. Аиша полюбила эту куклу, которую мать заботливо надушила своими духами. Еще Аише достались головоломка, книги и пакетик конфет. Селим получил машинку с большой кнопкой на крыше: если ее нажать, она загоралась и испускала пронзительный звук. Жене Амин подарил розовые бабуши. Он со смущенной улыбкой протянул ей пакет, а Матильда, разорвав бумагу, прикусила губу, боясь расплакаться. Она не знала отчего: то ли из-за того, что эти тапки выглядели просто ужасно, то ли оттого, что они явно были ей малы, то ли из-за вопиющей банальности подарка, от которой на нее навалилась злая тоска. Она поблагодарила, потом закрылась в ванной, схватила тапочки и стала колотить себя подошвами по лбу. Она хотела наказать себя за то, что была так глупа, что слишком много ждала от этого праздника, смысла которого Амин не понимал. Она ненавидела себя за то, что не бросила эту затею, за то, что не способна к самоотречению, как ее свекровь, за то,

что так пустоголова и легкомысленна. Ей захотелось отменить ужин, завернуться в одеяло и переждать, пока настанет завтра. Теперь все это представление показалось ей нелепым. Она приказала Тамю облачиться в черное с белым, наподобие костюма субретки из дешевой бульварной комедии. Она устала до изнеможения, готовя рождественское угощение, а теперь у нее вызывала приступ тошноты даже мысль о том, что придется есть эту индейку, которую она с таким трудом фаршировала, засовывая руки в бездонное брюхо, тратя последние силы на незаметный, неблагодарный труд. Она шла к столу, словно к эшафоту, широко раскрыв глаза, чтобы не позволить слезам вылиться наружу и чтобы Амину казалось, будто она счастлива.

Часть IV

В январе 1954 года стояли такие холода, что замерзли кусты миндаля и на пороге кухни передох целый выводок котят. Сестры в пансионе сделали исключение из привычных правил и теперь на целый день оставляли в классной комнате растопленные печки. Девочки помладше во время уроков сидели в пальто, некоторые носили под одеждой две пары рейтуз. Аиша начала привыкать к однообразию школьной жизни и скрупулезно записывать все свои радости и печали в дневник, подаренный сестрой Мари-Соланж.

Аише не нравились:

одноклассницы, холод в коридорах, еда на обед, слишком длинные уроки, бородавки на лице сестры Мари-Сесиль.

Ей нравились:

тишина и покой в часовне, музыка, когда им иногда по утрам играли на пианино, уроки физкультуры, потому что она бегала быстрее всех и залезала по канату наверх, в то время как ее одноклассникам с трудом удавалось на нем повиснуть.

Она не любила конец дня, потому что ее клонило в сон, и утро, потому что всегда опаздывала на занятия. Она любила, чтобы были правила и чтобы их уважали.

Когда сестра Мари-Соланж хвалила ее работу, Аиша краснела. Во время молитвы она держалась за ледяную шершавую руку монахини. Ее сердце переполняла радость, когда она видела лицо молодой женщины с непривлекательными, но правильными чертами и кожей, испорченной холодной водой и скверным мылом. Казалось, что сестра целыми часами трет щеки и веки, потому что кожа ее стала полупрозрачной, а веснушки, наверное когда-то придававшие ей очарование, теперь почти стерлись. Вероятно, она прилагала огромные усилия, чтобы уничтожить в себе любую искорку, любой признак женственности и внешней красоты, а значит, малейшей опасности для себя. Аиша никогда не думала, что ее учительница – женщина, что под длинной рясой скрыто живое трепетное тело, такое же, как у ее матери, которая может кричать, испытывать наслаждение, плакать. С сестрой Мари-Соланж Аиша покидала земной мир. Она оставляла

позади людскую мелочность и уродство и парила в небесных сферах вместе с Иисусом и апостолами.

Школьницы резко захлопнули учебники, как будто все вместе зааплодировали в конце спектакля. Девочки принялись болтать, сестра Мари-Соланж призвала к тишине, но это не помогло.

– Встаньте в ряд, барышни. Соблюдайте дисциплину, иначе никто никуда не пойдет, – приказала она.

Аиша положила голову на локоть и погрузилась в созерцание двора. Она попыталась рассмотреть, что там вдалеке, дальше дерева, растерявшего все листья, дальше стены, огораживающей двор, дальше, чем будка Браима, где ему разрешалось посидеть по время холодов. Аиша не хотела никуда идти, не хотела давать руку девочке, которая наверняка украдкой вонзит ногти ей в ладонь и будет смеяться. Она ненавидела город, и при мысли, что придется идти по нему в окружении стаи чужих ей девчонок, она тревожилась.

Сестра Мари-Соланж коснулась ладонью спины Аиши и сообщила, что они пойдут вместе впереди и поведут за собой весь остальной класс и ей не о чем беспокоиться. Аиша встала, протерла глаза и надела сшитое матерью пальто, которое немного жало ей в подмышках, и оттого ее походка была неестественно скованной.

Девочки собрались перед школьной оградой. Чувствовалось, что маленький легион, несмотря на все старания вести себя спокойно, пребывает в состоянии нервного возбуждения и в любой момент готов взбунтоваться. Нынче утром во время урока никто не слушал сестру Мари-Соланж. Никто не понял, что в речах монахини содержится предупреждение.

– Бог, – сказала она своим ломким голосом, – любит всех своих детей. Не существует ни низших рас, ни высших. Знайте, что все представители рода человеческого, какими бы разными они ни были, равны перед Господом.

Аиша тоже не поняла, что хотела сказать сестра, но слова монахини произвели на нее сильное впечатление. Она запомнила урок: Бог любит только мужчин и детей. Она убедила себя в том, что в этот круг вселенской любви женщины не допущены, и теперь ее беспокоило, что когда-нибудь она станет одной из них. Эта предопределенность показалась ей убийственно жестокой, она стала

размышлять о Еве и Адаме, изгнанных из рая. Когда из нее, Аиши, в конце концов вылупится женщина, ей предстоит лишиться божественной любви и постараться это пережить.

– Барышни, пойдете! – приказала сестра Мари-Соланж и, взмахнув рукой, пригласила детей следовать за ней к автобусу, ожидавшему их на улице.

Во время поездки она провела урок истории.

– Эта страна, – объясняла она, – страна, которую мы так любим, имеет тысячелетнюю историю. Барышни, оглянитесь вокруг, этот водоем, эти крепостные стены, эти ворота – творения славной цивилизации. Я уже рассказывала вам о султанине Мулае Исмаиле, современнике нашего «короля-солнца». Запомните его имя.

Девочки захихикали, потому что монахиня произнесла имя местного правителя с заметным гортанным акцентом, показав, что она знает арабский язык. Но никто не стал ничего комментировать, поскольку все помнили, как разгневалась монахиня, когда Жинетта однажды спросила: «Мы что, теперь будем учиться говорить по-крысиному^[13]?» Девочки могли бы поклясться, что сестра с трудом удержалась, чтобы не дать ученице пощечину. Потом, наверное, подумала, что Жинетте всего шесть лет и что это испытание ее терпения и педагогических способностей. Однажды вечером сестра Мари-Соланж сделала признание директорисе, и та, слушая ее, облизывала губы шершавым языком и отдирала краешками зубов кусочки кожи. Сестра Мари-Соланж рассказала, что у нее было видение, да, на нее низошло озарение, когда она гуляла в Азру, под кедрами на берегу реки. Глядя, как мимо проходят женщины в накинутых на голову цветных шалях, несущие на спине детей, мужчины, которые опираются на посох и сопровождают свои семьи и стада, она увидела Иакова, Сару и Соломона. Эта страна, воскликнула она, демонстрирует картины бедности и смирения, достойные гравюр к Ветхому Завету.

* * *

Класс остановился перед темным зданием; можно было только гадать, для чего оно предназначено и что находится внутри. Мужчина в темно-синем костюме ждал их у двери, которой на самом деле не было: входом служило отверстие, пробитое в стене. Гид стиснул руки,

держа их перед шириной, и, судя по всему, крайне смутился и даже испугался, увидев, что к нему приближается целый рой школьниц. Он заговорил высоким дрожащим голосом, повышая его, чтобы перекричать жужжание болтливых девиц, и монахиням пришлось сердито прикрикнуть, чтобы гида наконец стало слышно.

– Мы будем спускаться по лестнице, – предупредил он. – Внизу темно и пол скользкий. Я прошу вас быть очень внимательными.

Как только девочки вошли в помещение, напоминавшее пещеру, они смолкли, онемев от страха, от пронизывающего холода, которым тянуло от земляных стен, и мрачной атмосферы этого места. Одна из девочек – в темноте не видно было, кто именно, – испустила заунывный крик, подражая не то стону призрака, не то волчьему вою.

– Барышни, проявляйте уважение. Здесь наши братья христиане терпели тяжкие муки, – произнесла сестра Мари-Соланж.

Девочки молча прошли по лабиринту больших и маленьких коридоров. Сестра Мари-Соланж передала слово молодому гиду, и тот заговорил дрожащим голосом. Нежный возраст слушательниц застал его врасплох, и он не знал, о чем можно рассказывать столь юным и впечатлительным созданиям. Он много раз умолкал, подбирая слова, повторялся, просил его извинить, вытирал лоб изношенным носовым платком.

– Мы с вами находимся в помещении, именуемом тюрьмой христиан, – сообщил он.

Гид протянул руку к стене, расположенной перед ними, и они вскрикнули, когда он указал им на надписи, оставленные узниками несколько веков назад. Теперь он повернулся спиной к школьницам и в конце концов забыл об их присутствии, отчего существенно выиграл и в красноречии, и в смелости. Он рассказывал о жестоких страданиях множества людей – «в конце семнадцатого века их насчитывалось примерно две тысячи», – которых Мулай Исмаил заточил здесь, особо отмечал гениальность «султана-строителя», приказавшего прорыть километры подземных туннелей, где ползали эти рабы, изнемогая и умирая, ослепшие, загнанные в западню.

– Посмотрите наверх, – произнес он сурово, как приказ, и девочки молча задрали головы к потолку. В камне была пробита дыра, через нее, сообщил гид, сюда бросали пленников и еду, которой едва хватало, чтобы выжить.

Аиша крепко прижалась к сестре Мари-Соланж. Она вдохнула запах ее рясы, вцепилась пальцами в веревку, завязанную на талии вместо пояса. Когда гид подробно объяснил им, как была устроена система помещений под названием «матмура» – лабиринт подземных ходов и колодцев, где находились в заточении пленники султана и где порой они умирали от удушья, Аиша почувствовала, как на глаза у нее навернулись слезы.

– В самих стенах, – добавил молодой человек, которому понравилось пугать нежных пташек, – так вот, в этих стенах до сих пор находят человеческие скелеты. Рабы-христиане возводили также высокие крепостные стены, служившие для защиты города, и когда они падали от усталости, их замуровывали.

Гид заговорил замогильным голосом прорицателя, от которого дети задрожали. Если немного копнуть под камнями, то во всех крепостных стенах этой славной страны, во всех оборонительных сооружениях имперских городов^[14] можно обнаружить тела рабов, неверных, неугодных иностранцев. Несколько дней после этой экскурсии Аиша ни о чем больше думать не могла. Ей повсюду мерещились скрюченные скелеты, и она страстно молилась за упокой их истерзанных душ.

* * *

Спустя несколько недель Амин обнаружил жену у изножья кровати: она лежала, уткнувшись носом в пол, прижав колени к груди. Она стучала зубами так сильно, что он испугался, как бы она не откусила язык и не проглотила его, как нередко случалось с эпилептиками в медине. Матильда стонала, и Амин поднял ее на руки. Он почувствовал ладонями ее напряженные мышцы и стал гладить ее по плечу, чтобы успокоить. Он позвал Тамо и, не глядя на нее, поручил ухаживать за женой: «Мне нужно работать. Позаботься о ней».

Когда он вернулся вечером, Матильда бредила. Она металась, словно узница, в мокрых простынях, на эльзасском диалекте звала мать. Температура поднялась так, что ее тело резко выгибалось, как от ударов тока. Аиша стояла в ногах кровати и плакала. На рассвете Амин объявил: «Я еду за врачом». Сел в машину и умчался, оставив Матильду на попечение служанки, на которую болезнь хозяйки, похоже, не произвела никакого впечатления.

Оставшись одна, Тамо сразу взялась за дело. Она смешала какие-то растения, тщательно отмерив количество каждого из них, и залила их крутым кипятком. Под изумленным взглядом Аиши хорошо перемешала пахучую массу и пояснила: «Надо прогнать злых духов». Она раздела Матильду, которая никак не реагировала, и обмазала густой смесью все ее большое, ослепительно-белое тело. Она могла бы испытать злорадное удовольствие оттого, что хозяйка оказалась полностью в ее власти. Она могла бы отомстить этой суровой высокомерной христианке, обращавшейся с ней как с дикаркой, говорившей, что она грязная, как тараканы, которые копошатся вокруг глиняных кувшинов с оливковым маслом. Но Тамо, выплакавшись за ночь в одиночестве, у себя в комнатушке, теперь усердно растирала бедра своей хозяйки, клала ладони ей на виски и искренне молилась за нее изо всех сил. Прошел час, и Матильда успокоилась. Ее подбородок расслабился, она перестала скрипеть зубами. Сидя у стены с зелеными от снадобья пальцами, Тамо неустанно повторяла жалобную молитву, и Аиша угадывала интонацию по ее губам.

Когда приехал врач, он обнаружил, что Матильда лежит наполовину голая, а ее тело обмазано какой-то зеленоватой смесью, запах которой чувствовался даже в коридоре. Тамо сидела у изголовья больной и как только заметила входящих мужчин, накинула простыню на живот Матильды и вышла из комнаты, опустив голову.

– Это арабка сделала? – осведомился врач, указывая пальцем в сторону кровати. Зеленая паста запачкала простыни, подушки, покрывало, она стекла на ковер, купленный Матильдой сразу после приезда в Мекнес – она очень им дорожила. Следы от пальцев Тамо остались на стенах, на ночном столике, и комната напоминала полотно опустившегося художника, перепутавшего депрессию с талантом. Врач шевельнул бровями и закрыл глаза на минуту-другую, показавшиеся Амину бесконечными. Он-то рассчитывал, что доктор сразу же кинется к больной, тут же поставит диагноз, пропишет лечение. Вместо этого он ходил кругами около кровати, поправлял уголок одеяла, перекладывал на место книгу, совершал ненужные, бессмысленные действия.

Наконец он снял куртку, аккуратно сложил ее и повесил на спинку стула. При этом он бросал на Амина короткие колючие взгляды, как будто желал дать ему урок. Только после этого доктор наклонился над

кроватью и просунул руку под одеяло, чтобы прослушать больную, и как будто внезапно вспомнив, что у него за спиной стоит человек и наблюдает за ним, повернулся к Амину:

– Оставь нас.

Амин послушно вышел.

– Мадам Бельхадж, вы слышите меня? Как вы себя чувствуете?

Матильда повернула к нему свое изможденное, осунувшееся лицо. Ей стоило труда не закрывать свои прекрасные зеленые глаза, казалось, она сбита с толку, как ребенок, который просыпается в незнакомом месте. Врач решил, что сейчас она расплчется и попросит о помощи. У него сжалось сердце при виде этой высокой белокурой женщины. Женщины, которая была бы очаровательна, если бы хоть немного позаботилась об этом, если бы ей представился случай показать свое воспитание. Ее ступни потрескались от сухости и загубели, ногти отросли и уплотнились. Он взял Матильду за руку и, стараясь не испачкаться в травяной массе, проверил пульс, а затем, сунув руку под одеяло, пощупал живот.

– Откройте рот и скажите «ааа», – велел он. Матильда повиновалась. – Это приступ малярии. Частое явление в этих краях.

Он придвинул стул к маленькому письменному столу Матильды и полюбовался гравюрами дядюшки Анси^[15], изображающими его родной Кольмар в 1910-е годы, потом заметил книгу, посвященную истории Мекнеса. На столе валялся листок дешевой бумаги для писем, рядом – черновики с перечеркнутыми строчками. Доктор достал из кожаной сумки бланк рецепта и выписал лекарство. Открыл дверь и поискал взглядом мужа. В коридоре стояла только тощая лохматая девочка. Она опиралась о стену и держала в руке куклу, всю в пятнах. Пришел Амин, и врач протянул ему рецепт:

– Поезжай в аптеку и привези вот это.

– Что с ней, доктор? Ей уже лучше?

Врач, кажется, рассердился:

– Поторапливайся.

Доктор закрыл за собой дверь в спальню и уселся у изголовья больной. Ему показалось, что он должен ее защищать, и не от болезни, а от той ситуации, в которой она оказалась. Сидя рядом с этой обнаженной, обессиленной женщиной, он представил себе ее близость с этим страстным арабом. Представить было несложно, особенно

потому, что он видел в коридоре отвратительный плод их союза, и ему сделалось тошно: все в нем восставало против этого. Конечно, он знал, что мир изменился, что война опрокинула все правила, все законы, как будто людей поместили в банку и взболтали, и при этом соединились тела, которые, по его убеждению, не должны были соприкасаться, ибо это выходило за рамки приличий. Эта женщина спала в объятиях волосатого араба, деревенщины, обладавшего и повелевавшего ею. Это было несправедливо, противоречило порядку вещей, подобные любовные истории создают хаос и приносят несчастье. Полукровки – предвестники конца света.

Матильда попросила пить, и врач поднес к ее губам стакан с прохладной водой.

– Спасибо, доктор, – сказала она и сжала его руку.

Осмелев от этого доверительного жеста, врач спросил:

– Простите меня за нескромность, дорогая мадам. Но я не могу не любопытствовать. Какого черта вас сюда занесло?

Матильда была слишком слаба, чтобы говорить. Ей захотелось расцарапать руку, в которой она все еще сжимала ладонь врача. Откуда-то из глубины, из недр рассудка с трудом всплывала мысль, пытаясь добраться до сознания. В ней зрело возмущение, но не было сил действовать. Она с удовольствием отразила бы удар, меткой репликой ответила бы на его замечание, которое привело ее в ярость. «Занесло». Как будто ее жизнь – всего лишь случайность, как будто ее дети, ее дом, все ее повседневное существование – не более чем ошибка, заблуждение. «Надо будет сообразить, что на это отвечать, – подумала она. – Надо создать панцирь из слов».

Все дни и ночи, что Матильда не выходила из спальни, Аиша умирала от беспокойства. Что с ней будет, если мать умрет? Она металась по дому, словно муха, накрытая стаканом. Она таращила глаза, задавая немой вопрос взрослым, которым все равно не верила. Тамо нянчилась с ней, осыпала нежными словами. Она знала, что дети, совсем как собаки, понимают, что именно от них скрывают, и чувствуют смерть. Амин тоже был выбит из колеи. Дом стал унылым без придуманных Матильдой игр, без дурацких розыгрышей, которые она устраивала. Она ставила над дверью маленькие ведерки с водой, зашивала изнутри рукава куртки Амина. Он отдал бы что угодно, лишь

бы она встала с кровати и затеяла игру в прятки среди кустов в саду. Или, фыркая от смеха, рассказала историю из эльзасского фольклора.

* * *

Во время болезни Матильды вдова Мерсье часто приходила ее проведать и приносила почитать романы. Матильда не пыталась понять, с чего вдруг вдова одарила ее своей дружбой. Прежде их отношения были весьма сдержанными, они махали друг другу в знак приветствия, когда встречались в полях, или посылали друг другу фрукты, когда урожай был обильным и плоды все равно испортились бы. Матильда не знала, что в день Рождества вдова встала на рассвете и в полном одиночестве в своей спальне надкусила апельсин. Она снимала кожуру зубами, ей нравилось, когда во рту оставался горький привкус цедры. Она открыла дверь в сад и, несмотря на то, что все растения до единого сковал иней, несмотря на ледяной ветер, босиком вышла наружу. Крестьянку можно узнать по ступням: эти ступни не раз шагали по раскаленной земле, они не боялись жгучей крапивы, подошва у них загрубела и сделалась твердой, как копыта. Вдова знала свое владение до последней песчинки. Она знала, сколько камней лежит на земле, сколько розовых кустов на ней цветет, сколько кроликов роют в ней свои норы. В то утро она посмотрела на кипарисовую аллею и негромко вскрикнула. Роскошная живая изгородь из стройных кипарисов, служившая оградой ее земель, выглядела теперь как рот, в котором недоставало одного зуба. Она позвала Дрисса, который пил чай в доме:

– Дрисс, иди сюда, да поживей!

Слуга, заменявший ей компаньона, сына и мужа, прибежал со стаканом в руке. Она ткнула указательным пальцем в направлении пропавшего дерева, и Дрисс некоторое время пытался сообразить, что она имеет в виду. Она прекрасно знала, что Дрисс будет призывать духов, будет предостерегать ее, убеждать, что кто-то навел на нее порчу, потому что Дрисс мог объяснять явления, выходящие за рамки обыденности, только вмешательством колдовства. Старуха, выразительное лицо которой было исчерчено морщинами, уперла кулаки в тощие бедра. Она приблизила свой лоб ко лбу Дрисса, и ее серые глаза заглянули в глубину его глаз.

– Что ты знаешь о Рождестве? – спросила она.

Он пожал плечами. «Да толком ничего», – как бы хотел сказать он. Перед ним прошло не одно поколение христиан, бедных крестьян и утопающих в роскоши землевладельцев. Он видел, как они копают землю, строят дома, спят в палатках, но ничего не знал об их частной жизни и верованиях. Вдова похлопала его по плечу и рассмеялась. Ее смех был искренним и звонким, серебристым и свежим как цветок и далеко разносился в тишине полей. Дрисс кончиком пальца почесал голову; всем своим видом он выражал недоумение. Действительно, какая-то бессмысленная история. Видать, какой-нибудь джинн задумал отомстить вдове, и пропавшее дерево – это знак того, что на нее наложены чары. Он вспомнил, какие слухи ходили о его хозяйке. Говорили, что она похоронила в своих владениях много мертворожденных младенцев и даже зародыши, которых не смогло выносить ее тощее чрево. Что однажды в дуар прибежала собака, неся в зубах крошечную детскую ручку. Кое-кто утверждал, что по ночам к ней навевались мужчины и находили утешение у нее между ног, и хотя Дрисс все дни проводил в поместье, хотя он был свидетелем аскетической жизни хозяйки, он все же прислушивался к сплетням, и они его тревожили. У нее не было секретов от него. Когда ее мужа мобилизовали, когда он попал в плен, а потом умер в лагере от тифа, именно Дриссу она поведала о своем великом смятении и горе. А он восхищался ее отвагой и долго не мог прийти в себя, увидев, как плачет женщина, которая ловко управляет трактором, ухаживает за скотом, уверенно и властно отдает распоряжения работникам. Он был признателен ей за то, что она дала от ворот поворот своему соседу Роже Мариани, который приехал из Алжира в 1930-е годы, незадолго до нее и ее мужа Жозефа, и жестоко обращался со своими работниками, руководствуясь единственным правилом: арабский труд – рабский труд.

Вдова скрестила руки на груди и замерла в молчании и неподвижности на несколько минут. Затем быстро повернулась и на прекрасном арабском языке сказала Дриссу:

– Забудем об этом, ладно? А теперь за работу!

Потом еще несколько дней, стоило ей вспомнить об исчезнувшем дереве, как все ее щедрое тело начинало сотрясаться от смеха. С тех пор она прониклась тайной симпатией к Матильде и ее мужу. А после праздников, которые она провела в одиночестве в своих

владениях, она решила нанести соседям визит и обнаружила, что Матильда еле жива после болезни. Старуха спросила, что она может для нее сделать, а заметив на софе, где Матильда лежала целыми днями, романы с обтрепанными углами, предложила принести ей книги. Эльзаска, глядя на нее блестящими от жара глазами, взяла ее за руку и поблагодарила.

* * *

Однажды, когда Матильда уже шла на поправку, перед воротами их фермы остановился сверкающий автомобиль, за рулем которого сидел шофер в форменной фуражке. Амин увидел, как из машины вышел высокий цветущий мужчина; поравнявшись с Амином, незнакомец спросил с сильным акцентом:

– Могу я видеть владельца?

– Это я, – ответил Амин, и мужчина, кажется, обрадовался. На нем были элегантные лаковые ботинки, и Амин невольно уставился на них. – Вы испачкаете обувь.

– Поверьте, это не имеет никакого значения. Меня куда больше интересуют ваши здешние прекрасные земли. Вы не согласитесь мне их показать?

Драган Палоши задавал Амину много вопросов. Он интересовался, как Амин получил этот участок, какие культуры он собирается выращивать, велики ли его доходы и каковы надежды на будущее. Амин отвечал односложно, он не доверял этому человеку с иностранным акцентом, слишком хорошо одетому, чтобы разгуливать по полям. От беспокойства Амин начал потеть, он искоса поглядывал на круглое лицо гостя, то и дело вытиравшего платком лоб и шею. Амин сообразил, что даже не удосужился спросить у посетителя, как его зовут. Мужчина представился, Амин невольно поморщился, и его гость расхохотался.

– Это венгерское имя, – пояснил он. – Драган Палоши. У меня кабинет в городе, на улице Ренн. Я врач.

Амин кивнул. Недалеко же он продвинулся вперед! Что здесь забыл венгерский доктор? В какие махинации он хочет его втянуть? Драган Палоши внезапно остановился и поднял глаза. Он внимательно рассматривал высаженные в ряд апельсиновые деревья, возвышавшиеся перед ним. Деревья были еще молодые, но на ветках

висело много плодов. Драган заметил, что из кроны одного дерева торчит ветка лимона и небольшие желтые плоды соседствуют с огромными оранжевыми.

– Как забавно! – заметил венгр и подошел к дереву.

– Ах, это! Да, детям нравится. Мы с ними так играем. Дочка дала ему имя – апельмон. А еще я привил ветку груши на айву, но для этого гибрида мы пока не придумали названия.

Амин поспешно прикусил язык: он не хотел выглядеть в глазах солидного доктора всего лишь любителем или полоумным садоводом.

– Хочу предложить вам сделку.

Драган взял Амина за плечо и потянул в тень, под дерево. Он рассказал, что много лет лелеет мечту наладить экспорт фруктов в Восточную Европу.

– Я имею в виду апельсины и финики, – пояснил он Амину, совершенно не понимавшему, о каких странах тот ведет речь. – Займусь перевозкой фруктов в порт, в Касабланку. Я буду платить вашим рабочим, к тому же вы получите арендную плату за ваши земли. По рукам?

Амин пожал ему руку, и в тот же день, когда он привез Аишу из школы, они увидели, что Матильда сидит на ступеньках маленькой лесенки, ведущей в сад. Аиша бросилась в объятия матери и подумала, что ее молитвы оказались не напрасны и что Матильда будет жить. «Благодатная Марие, Господь с Тобою...»

* * *

Когда Матильда смогла встать, ее порадовало, что она постройнела. Из зеркала на нее смотрело мертвенно-бледное лицо с заострившимися чертами, с темными ореолами вокруг глаз. У нее появилась привычка, расстелив одеяло на траве, лежать утром на солнышке, рядом с играющими детьми. Ее восхищали первые признаки весны. Каждый день она наблюдала, как раскрываются почки на ветках, растирала между пальцами душистые цветки апельсиновых деревьев, рассматривала еще слабенькую сирень. Сколько хватало глаз, невозделанные поля были сплошь покрыты кроваво-красными маками и еще какими-то луговыми цветами оранжевого цвета. Ничто не мешало полету птиц. Ни электрических столбов с проводами, ни шума машин, ни высоких стен, о которые они могли разбить свои

крошечные головки. С тех пор как вернулись теплые, ясные дни, она слышала щебет сотен невидимых птах, и отзвук их песен приводил в легкое движение ветки деревьев. Уединенность их фермы, так пугавшая ее, вгонявшая в глубокую меланхолию, теперь, в первые дни весны, приводила ее в восторг.

Однажды днем пришел Амин и с беспечным видом растянулся рядом с сыном, что очень удивило Аишу.

– Я познакомился с очень любопытными людьми, они должны тебе понравиться, – сообщил он Матильде.

Он рассказал ей о вторжении в их владения Драгана, о его фантастических проектах и объяснил, какую выгоду можно будет извлечь из этого партнерства. Матильда нахмурилась. Она не забыла, как Бушаиб в свое время сыграл на наивности ее мужа, и боялась, как бы его вновь не оболестили лживыми посулами.

– Почему он просит об этом тебя? У Роже Мариани гектары апельсиновых деревьев, он здесь известен гораздо больше.

Недоверие жены обидело Амина, и он резко поднялся с земли.

– Возьми и спроси его об этом сама. Они с женой приглашают нас пообедать с ними в воскресенье.

Все воскресное утро Матильда жаловалась, что ей не в чем пойти в гости. Наконец она надела синее платье, безнадежно вышедшее из моды, и упрекнула Амина в том, что он не способен ее понять. Она мечтала о коллекции Диора *New Look*, сводившей с ума всех европейских женщин в новом городе.

– Это платье я носила, когда кончилась война. Такая длина совершенно не в моде. На кого я в нем похожа?

– Подумаешь! Носи хайк, тогда у тебя, по крайней мере, не будет подобных проблем.

Амин расхохотался, и Матильда на секунду его возненавидела. Она проснулась в дурном настроении, и предстоящий обед, который, казалось бы, должен был ее окрылять, представлялся ей тяжелой повинностью.

– Какой планируется обед? Приглашены только мы или будут и другие? Как ты думаешь, насколько тщательно следует подготовиться?

Амин ответил, пожав плечами:

– Почему я знаю?

Чета Палоши жила в новом городе напротив отеля «Трансатлантик», и из их дома открывался потрясающий вид на город и минареты. Супруги встречали их на крыльце, прячась от горячего солнца под небольшим навесом из ткани в оранжевую и белую полоску. Хозяин распахнул объятия, как отец семейства, дождавшийся приезда детей, и так и не опускал рук, пока Амин и Матильда выгружались из машины и шли к двери. На Драгане Палоши был элегантный темно-синий костюм и галстук с широким узлом. Его лаковые туфли блестели так же ярко, как густые усы – предмет его неустанной заботы. У него были толстые щеки, мясистые губы, все в нем стремилось к определенной округлости и выражало вкус к жизни, удовольствие от нее. Он взмахнул руками, потом обхватил ладонями щеки Матильды, как будто она была маленькой девочкой. Увидев эти огромные, покрытые черными волосами лапы, руки убийцы или мясника, Матильда представила себе, как он этими гигантскими ручищами извлекает ребенка из материнского чрева. Она почувствовала на щеке холодное прикосновение золотого перстня с печаткой, который доктор носил на безымянном пальце и который туго врезался в плоть.

Рядом с доктором стояла светловолосая женщина, но рассмотреть ее лицо или полюбоваться фигурой не было никакой возможности, ибо взгляд неодолимо притягивала ее грудь, огромная, выпирающая, невероятного размера. Хозяйка одарила Матильду ленивой улыбкой и вялым рукопожатием. Она была причесана по последней моде, одета словно с картинки глянцевого журнала, а между тем все в ней источало вульгарность, и не было ни намека на утонченность. Ни в том, как она накрасила губы оранжевой помадой, ни в том, как она дотронулась до рукава Матильды, ни тем более в том, как она прищелкивала языком в конце каждой фразы. Судя по всему, она хотела установить с Матильдой отношения по идиотскому принципу «женской солидарности», а может, по национальному. Коринна была француженкой «из Дюнкерка», несколько раз повторила она, раскатывая «р». Матильда поставила себя в нелепое положение, когда, поднявшись на крыльцо дома, протянула Коринне два блюда – со сдобным эльзасским кексом куглофом и пирогом с инжиром. Хозяйка подхватила блюда кончиками пальцев – так же неловко, как человек, впервые в жизни взявший на руки младенца. Амину стало стыдно за

жену, и Матильда это поняла. Коринна не относилась к породе женщин, тратящих силы на выпечку, теряющих время, молодость и красоту на душной кухне, среди бестолковой прислуги и орущих детей. Драган, видимо, почувствовал возникшую напряженность и стал горячо, в любезных выражениях благодарить Матильду. Он приподнял салфетку, прикрывавшую блюдо, наклонился, почти касаясь носом пирога, и глубоко, неспешно втянул носом его аромат.

– Какое чудо! – воскликнул он, и Матильда покраснела.

Коринна повела ее в гостиную, пригласила сесть в кресло, предложила выпить, потом сама уселась напротив и начала рассказ о своей жизни, а Матильда все это время думала: «Она проститутка». Она почти не слушала слова хозяйки, потому что была уверена, что это ложь и больше ничего, а ей не хотелось, чтобы ее дурачили. Люди приезжали сюда, в этот затерянный на краю света город, только для того, чтобы наврать о себе и начать жизнь с чистого листа. Матильде пришлось выслушать повествование о встрече Коринны с богатым венгерским гинекологом, но она ни на секунду не поверила в историю любви, поразившей их с первого взгляда. Во время аперитива, когда Матильда, не заботясь о количестве, пила превосходный портвейн, она думала только об одном. Она смотрела, как входит и выходит марокканец-дворецкий, как лучезарно улыбается ее муж, как сверкает перстень с печаткой, сдавливавший пухлый палец доктора, и думала: «Она проститутка». Эти слова оглушительно грохотали у нее в мозгу, как автоматные очереди. Она представляла себе Коринну в дюнкеркском борделе – несчастную девушку, оцепеневшую от холода и стыда, полуголую толстушку в нейлоновой комбинации и коротких носочках. Драган наверняка вытащил ее из грязи, может, даже испытывал к ней страстную любовь и рыцарские чувства, но это ничего не меняло. Эта женщина смущала Матильду, внушала отвращение и зачаровывала, она интересовала ее и вызывала желание бежать от нее подальше.

Во время аперитива, когда беседа замирала и повисало неловкое молчание, Драган несколько раз вспоминал Матильдины пироги, которыми ему не терпелось полакомиться, и бросал на нее заговорщический взгляд. Он всегда лучше ладил с женщинами. В детстве ничто не причиняло ему таких страданий, как пребывание в

школе-пансионе для мальчиков, куда записали его родители и где ему пришлось жить в тяжелой атмосфере подчеркнутой мужественности. Он любил женщин не как соблазнитель, а как друг, как брат. В его взрослой жизни, отмеченной изгнанием и скитаниями, женщины всегда были ему союзницами. Они понимали его мрачное, депрессивное настроение, они знали, каково это, когда тебя воспринимают только как самку, так же как и самого Драгана воспринимали по одному-единственному абсурдному признаку его вероисповедания. У женщин он научился не терять боевой дух, оставаясь смиренным, он понял, что радоваться жизни – значит мстить тем, кто отрицает твое существование.

Амина и Матильду удивила элегантность дома Палоши. Глядя на эту пару, трудно было предположить в них такую утонченность вкуса, такую изысканность в подборе мебели, тканей обивки, цветовых сочетаний. Они расположились в очаровательной гостиной, широкая застекленная стена которой выходила на улицу и в сад, содержащийся в восхитительном порядке. По дальней стене вились ветви бугенвиллеи, пышно цвела глициния. Коринна велела поставить стол и стулья под жакарандой.

– Но кажется, сейчас все-таки слишком жарко, чтобы обедать на улице, правда? – засомневалась она.

Всякий раз, когда она говорила или смеялась, ее грудь вздымалась, и создавалось впечатление, будто вся эта роскошь вот-вот выскочит из платья и расправится, а соски, почувствовав свободу, распусят, как весенние почки на деревьях. Амин не сводил с нее глаз и с удовольствием улыбался, красивый как никогда. Оттого что он все дни проводил на открытом воздухе, от ветра и солнца его лицо стало тоньше, глаза словно глядели в безграничную даль, а кожа источала едва заметный приятный запах. Матильда знала, что он умеет быть неотразимо привлекательным для женщин. Она гадала, что привело его в этот дом – желание доставить ей удовольствие, приняв приглашение на обед, или округлые формы и чувственность этой женщины.

– Ваша жена очень элегантна, – заметил Амин, поднявшись на крыльцо, и томно припал губами к руке хозяйки.

– О, эти пироги выглядят так соблазнительно! Ваша жена – настоящая мастерица, – отозвался Драган.

Когда за столом он снова заговорил о ее выпечке, Матильде захотелось провалиться сквозь землю. Она прижала руки к вискам, стараясь приподнять волосы: ее прическа осела и потеряла форму. Матильда обливалась потом, на платье под мышками и между грудями расплылись мокрые пятна. Матильда провела все утро, хлопоча на кухне, потом нужно было по-быстрому накормить детей и дать распоряжения Тамо. Не успели они проехать и десяти километров, как машина заглохла. И ей пришлось ее толкать, потому что Амин заявил, что она не сумеет быстро завести машину. Отправив в рот миниатюрную порцию мусса из утиной печени, она поняла, что муж схитрил: он заставил ее толкать старую развалюху, потому что боялся испортить свой выходной пиджак. Это он виноват в том, что она приехала в гости к Палоши измученная и потная, от коленей до щиколоток искусанная насекомыми. Она похвалила Коринну за изысканные закуски и опустила руку под стол, чтобы почесать зудящие икры.

Она хотела задать вопрос: «Что вы делали во время войны?» Ей казалось, что это единственный способ узнать человека. Но Амин, которому белое вино развязало язык, заговорил с Драганом о марокканской политике, и женщинам оставалось только молча обмениваться улыбками. Коринна уронила пепел от сигареты на пол, и малюсенький уголек подпалил бахромку ковра. С усталым видом и мутным от спиртного взором она пригласила Матильду пойти с ней в сад, та неохотно согласилась. «Пусть говорит, а я послушаю», – твердила она про себя упрямо и злобно. Коринна достала из тумбочки пачку сигарет и предложила Матильде закурить.

– В следующий раз берите с собой детей. Я велела приготовить всякие лакомства, к тому же в дальней комнате есть несколько старых игрушек. Они остались от прежних владельцев, – печально пояснила она дрогнувшим голосом.

Коринна села на ступеньки лестницы, ведущей в сад.

– Когда вы приехали в Марокко? – спросила она.

Матильда рассказала ей свою историю и, когда подыскивала слова, поняла, что впервые ее слушают вот так, с интересом, доброжелательно. А Коринна приехала в Касабланку сразу после начала войны. Драган, бежавший из Венгрии, потом из Германии, а затем из Франции, услышал от одного русского друга, что Марокко –

идеальное место, чтобы все начать сначала. Он нашел место врача в одной известной клинике в Касабланке. Там он зарабатывал много денег, но репутация директора той клиники и определенного рода операции, которые он там делал, заставили его снова пуститься в бега. И он выбрал Мекнес, радость жизни и свои любимые фруктовые сады.

– О каких операциях вы говорите? – спросила Матильда, заинтригованная заговорщическим тоном Коринны.

Коринна огляделась, придвинулась вплотную к Матильде и прошептала:

– Если хотите знать мое мнение, это просто невероятные операции. Разве вы не знаете, что сюда ради этого приезжают со всей Европы? Этот доктор – гений или псих, да какая разница! Но говорят, что он способен превратить мужчину в женщину!

* * *

В конце четверти сестры попросили родителей Аиши приехать в школу. Амин и Матильда подошли к воротам на четверть часа раньше назначенного времени, и сестра Мари-Соланж проводила их в кабинет директрисы. Они прошли по длинной дорожке, посыпанной гравием, миновали часовню. Амин покосился на нее. Что ему уготовано этим богом? Сестра Мари-Соланж пригласила их сесть за длинный письменный стол из кедра, на котором лежали стопкой несколько папок. На стене над камином висело распятие. Когда в кабинет вошла директриса, они вскочили, и Амин приготовился к обороне. Они с Матильдой всю ночь обсуждали, какие претензии им могут предъявить: постоянные опоздания, одежда Аиши, ее мистические бредни. Они поссорились.

– Прекрати забивать ей голову историями, от которых она потом места себе не находит, – грозно требовал Амин.

– А ты купи нам машину, – запальчиво отвечала Матильда.

Но, оказавшись лицом к лицу с директрисой, они сплотились. Что бы она ни сказала, они будут защищать своего ребенка.

Монахиня жестом пригласила их сесть. Она заметила разницу в росте Амина и его жены, и это, судя по всему, ее позабавило. Она, наверное, подумала, что только сильно влюбленный или очень скромный мужчина может смириться с тем, что едва достает жене до

плеча. Она поудобнее устроилась в кресле и попыталась открыть ящик стола, но ключ куда-то задевался.

– Ну вот, мы с сестрой Мари-Соланж хотели сказать вам, что очень довольны Аишей.

У Матильды задрожали ноги. Она приготовилась услышать плохие известия.

– Ваша девочка очень робкая и нелюдимая, к ней трудно найти подход. Однако ее результаты исключительно высоки.

Она подтолкнула к ним дневник с оценками, который ей все-таки удалось выудить из ящика. Ее костлявый палец заскользил по листу, у нее были белые, идеально подстриженные ногти, тонкие, как у ребенка.

– Успехи Аиши по всем предметам существенно выше среднего уровня. Нам потому и захотелось встретиться с вами, что, по нашему мнению, ваша дочь должна перескочить один класс. Вы не будете возражать?

Обе монахини уставились на них, и их лица озарились улыбкой. Сестры ждали ответа и были, видимо, несколько разочарованы тем, что родители не проявили бурного восторга. Амин и Матильда не шевельнулись. Они рассматривали дневник и вели между собой безмолвный разговор, опуская веки, сдвигая брови, кусая губы. Амин не получил аттестат бакалавра, и его школьные воспоминания сводились к пощечинам, которые в профилактических целях отвешивал направо и налево его учитель. Матильда вспоминала в основном, как ей было холодно – так холодно, что она ничего не понимала и не могла держать ручку. Она заговорила первой:

– Если вы думаете, что так для нее будет лучше...

И чуть было не добавила: «Вы ведь знаете ее лучше, чем мы».

Когда они подошли к Аише, которая послушно ждала их на улице, они странно посмотрели на нее, как будто впервые видели. Эта малышка, размышляли они, для них словно чужестранка, и, несмотря на юный возраст, у нее есть душа, есть свои секреты, неукротимая натура, которую они не сумели понять, уловить. У этой тщедушной девочки с кривоватыми ножками и вечно взлохмаченными волосами, оказывается, такая светлая голова. Дома она говорила мало. Могла целый вечер играть с бахромой большого голубого ковра и потом долго чихать, надышавшись пылью. Она никогда не рассказывала, чем

занимается в школе, не длилась своими невзгодами, радостями, не упоминала о друзьях. Когда в доме появлялись чужие люди, она стремительно уносилась прочь, словно муха, которую пытаются прихлопнуть, и скрывалась у себя в комнате или убегала в поле. Она не ходила, она бегала, и ее длинные худые ноги как будто существовали отдельно от остального тела. Ступни летели впереди туловища, впереди рук, и возникало впечатление, что Аиша краснеет от напряжения и потеет лишь потому, что пытается догнать свои щуплые конечности, а они заколдованы и изо всех сил удирают от нее. Казалось, она ничего не знает, ни в чем не разбирается. Она никогда не просила помочь ей с уроками, и если Матильда заглядывала в ее тетради, ей оставалось только восхищаться аккуратным почерком дочери, легкостью, с какой она справляется с заданиями, и ее упорством.

Аиша ничего не спросила о встрече. Родители сообщили, что довольны ею и собираются это отпраздновать – вместе пообедать в ресторанчике в новом городе. Матильда протянула ей руку, она уцепилась за нее и пошла с ними. Единственное, что ее явно обрадовало, – это стопка книг, которую вручила ей мать: «Думаю, ты заслужила награду». Они уселись за столик на террасе, под пыльным красным навесом. Амин подвинул к себе маленький стакан Аиши и плеснул на доньшко пива. Сказал, что сегодня особенный день и поэтому она может немножко выпить вместе с ними. Аиша опустила нос в стакан. Пиво почти ничем не пахло, она поднесла стакан к губам и залпом проглотила горьковатый напиток. Мать вытерла перчаткой пузырьки пены, приставшие к щеке Аиши. Девочке понравилось, как эта ледяная жидкость стекает сначала в горло, потом в желудок, создавая ощущение прохлады. Она не попросила еще, не стала капризничать, только осторожно подвинула стакан на середину стола, и отец невольно, не задумываясь, снова налил ей пива. Он по-прежнему не мог прийти в себя. Его дочка выглядела как маленькая замарашка, но при этом знала латынь и лучше всех француженок успевала по математике. «Исключительно способная», – отозвалась о ней учительница.

Амин и Матильда уже немного захмелели. Заказали жареное мясо, начали громко смеяться и есть руками. Аиша говорила мало. Ее разум словно затуманился. Ей почудилось, будто ее тело никогда еще не было

таким легким, она почти не чувствовала рук. Между ее мыслями и ощущениями образовался разрыв, некое смещение во времени, и это приводило ее в растерянность. Она вдруг испытала сильнейший приступ любви к родителям, а спустя несколько мгновений это чувство показалось ей странным, и она принялась думать о стихотворении, которое выучила, но теперь почему-то забыла последнюю строку. Ей никак не удавалось сосредоточиться, и она даже не засмеялась, когда рядом с кафе остановилась небольшая группа мальчишек и исполнила несколько трюков, чтобы позабавить посетителей. Ей ужасно хотелось спать, она изо всех сил пыталась не закрыть глаза. Родители встали, чтобы поздороваться с четой армянских бакалейщиков, которой они поставляли фрукты и миндаль. Аиша услышала, как произносят ее имя. Отец говорил очень громко, он положил руку на тощее плечико дочери. Она широко улыбнулась, скосила глаза на черную руку отца и прижалась к ней щекой. Взрослые спросили: «Сколько тебе лет? Тебе нравится в школе?» Она ничего не ответила. Что-то от нее ускользало, но она точно знала, что это что-то приятное, и эту последнюю мысль она унесла с собой, когда засыпала, положив голову на стол.

Когда она проснулась, щеки у нее были мокры от материнских поцелуев. Они прошли по авеню Республики к кинотеатру «Империя», вход в который выглядел как ворота древнегреческого театра. Родители купили ей мороженое, она, стоя на улице, ела его так медленно и неловко, что отец, сочтя это неприличным, вырвал рожок у нее из рук и швырнул в урну.

– Ты испачкаешь платье, – заявил он в свое оправдание.

Показывали «Ровно в полдень». В зале болтали и смеялись компании подростков, принарядившиеся мужчины обсуждали новости и спорили. Молодая женщина продавала шоколад и сигареты. Аиша была так мала, что отцу пришлось посадить ее к себе на колени, чтобы она могла видеть экран. Свет потух, и билетерша, старая марокканка, проводившая их на места, закричала, повернувшись в сторону молодых зрителей: «*Sed fountouk!*!»^[16] Аиша прижалась к отцу, словно опьянев от теплого прикосновения его кожи. Она уткнулась лицом ему в шею, не обращая внимания ни на то, что творилось на экране, ни на мелькание фонарика, которым билетерша махала в сторону парня, закурившего сигарету. Во время фильма Матильда, запустив пальцы в волосы Аиши, тихонько теребила прядку за прядкой, отчего по телу

малышки, от затылка до пяток, бегали мурашки. Когда они вышли из кино, шевелюра Аиши была еще более кудрявой и всклокоченной, чем обычно, и она стеснялась, что люди на улице на нее смотрят.

На обратном пути в машине атмосфера стала напряженной. И не только потому, что небо отяжелело и потемнело, предвещая грозу, а ветер поднимал и кружил в воздухе тучи пыли. Амин забыл хорошую новость, которую услышал в школе, и озаботился необдуманными тратами, совершенными за день. Матильда, прижавшись лбом к стеклу, произносила непрерывный монолог. Аиша недоумевала, как это у мамы нашлось столько всего сказать об этом фильме. Она слушала высокий голос Матильды, кивнула, когда та к ней обернулась и спросила: «Грейс Келли очень красивая, да?» Матильда так страстно любила кино, что это причиняло ей страдания. Она смотрела фильмы почти не дыша, подавшись всем телом к экрану и светящимся проекциям человеческих образов. Отсидев два часа в темноте кинозала, она выходила на улицу и сталкивалась с уличной суетой. Этот город казался ей грубой, нелепой фальшивкой. Не кино, а реальность представлялась ей пошлой выдумкой, обманом. Она была счастлива, что побывала в другом мире и приобщилась к благородным страстям, и в то же время кипела от обиды, от бессильной ярости. Ей хотелось очутиться на экране, пережить чувства столь же высокого накала. Ей хотелось, чтобы ее признали достойной звания киногероини.

* * *

Все лето 1954 года Матильда регулярно писала Ирен, но ее письма оставались без ответа. Матильда решила, что в стране волнения, из-за них почта работает плохо, а потому молчание сестры ее не беспокоило. Франсис Лакост, новый генерал-резидент, сменивший на этом посту генерала Гийома, при вступлении в должность в мае 1954 года пообещал бороться против волны мятежей и убийств, наводивших ужас на французское население. Он пригрозил националистам жестокими репрессиями, и брат Амина Омар с трудом подбирал крепкие выражения, упоминая о нем. Однажды он сделал мишенью своих нападок Матильду и оскорбил ее. Омар узнал, что в тюрьме покончил с собой националист Мохаммед Зерктуни, и бушевал от ярости:

– Теперь только силой оружия эта страна обретет свободу, – воскликнул он. – Они увидят, что мы для них приготовили.

Матильда попыталась его утихомирить:

– Не все европейцы одинаковы, ты и сам это знаешь.

Она привела в пример французов, ясно высказавшихся в пользу независимости и даже попавших под арест за то, что предоставляли транспорт подпольным ячейкам. Но Омар только пожал плечами и плюнул на пол.

В середине августа, когда приближалась годовщина свержения султана, они поехали навестить Муилалу, которая встретила старшего сына, прочитав бесчисленное множество молитв и возблагодарив Всевышнего за надежную защиту. Они закрылись в комнате, чтобы обсудить денежные вопросы и другие дела, а Матильда расположилась в маленькой гостиной и стала заплетать косы Аише. Селим носился по всему дому и чуть было не упал с каменной лестницы. Омар, обожавший малыша, посадил его к себе на плечи.

– Пойду с ним в парк, пусть побегает, – сказал он и вышел за дверь, не обращая внимания на наставления Матильды.

К пяти часам Омар не вернулся, и Матильда, встревожившись, пошла к мужу. Амин высунулся из окна. Он позвал брата, но снаружи донеслись только крики и оскорбления. Манифестанты призывали объединиться и поднять восстание; они настойчиво внушали мусульманам, что те должны показать свое достоинство и с гордо поднятой головой противостоять захватчикам.

– Надо найти Селима. Мы уезжаем! – крикнул Амин.

Они наспех попрощались с Муилалой, у той тряслась голова, и она благословила сына, приложив ладонь к его лбу. Амин подтолкнул жену и дочь к лестнице.

– Что у тебя с головой? – упрекнул он Матильду. – Как ты могла его отпустить? Не знаешь, что здесь каждый день манифестации?

Нужно было как можно скорее убираться из старого города. Узенькие улочки превращались в западню, где они в любой момент могли попасть в засаду, и его семья оказалась бы в руках демонстрантов. Шум приближался, от стен медины эхом отражались громкие голоса. Они увидели, что к ним, стремительно появляясь отовсюду, сзади и спереди приближаются мужчины. Их окружила толпа, которая непрерывно сгущалась, и Амин с дочкой на руках бросился бежать к воротам старого города.

Они добрались до машины и торопливо сели в нее. Аиша расплакалась. Она требовала, чтобы мать ее обняла, и спрашивала,

умрет ли теперь ее брат; Амин и Матильда в один голос велели ей замолчать. Толпа мятежников догнала их, и Амин не мог включить задний ход. К окнам прижались чьи-то лица. Подбородок одного из молодых людей оставил на стекле длинный жирный след. Глаза чужаков разглядывали странное семейство и ребенка неведомой национальности. Какой-то юнец начал кричать, воздев руку к небу, и в толпе стало нарастать возбуждение. Парнишке было не больше пятнадцати, у него еще только пробивался мягкий пушок на подбородке. Его суровый, полный ненависти голос не соответствовал ласковому взгляду. Аиша пристально на него посмотрела и поняла, что это лицо никогда не сотрется из ее памяти. Этот юноша наводил на нее страх и в то же время казался ей очень красивым: на нем были фланелевые брюки и коротенькая куртка, как у американских летчиков. «Да здравствует султан!» – кричал молодой человек, и толпа подхватывала хором: «Да здравствует Сиди Мухаммед бен Юсуф!» – так громко, что Аише казалось, будто машина раскачивается от рева голосов. Мальчишки стали колотить длинными палками по крыше автомобиля, выкрикивая речовки в такт ударам, все громче и громче, почти мелодично. Они принялись все крушить, бить стекла машин и лампы на фонарях, камни мостовой покрылись осколками стекла, а демонстранты в плохонькой обуви шагали по ним, не замечая, что поранились и из ступней у них струится кровь.

– Ложитесь, быстро! – приказал Амин, и Аиша прижалась щекой к полу машины. Матильда, прикрыв лицо ладонями, повторяла как заведенная: «Все хорошо, все хорошо». Она вспомнила войну, тот день, когда бросилась в канаву, чтобы не попасть под обстрел с самолета. Она вонзила ногти в землю, на несколько мгновений перестала дышать, а потом так сильно сжала ляжки, что едва не кончила. А теперь ей хотелось поделиться этим воспоминанием с Амином или просто прижаться губами к его губам, чтобы страх растворился в желании. И тут внезапно толпа рассеялась, как будто в середине ее разорвалась граната, разбросав тела во всех направлениях. Машина качнулась, и Матильда увидела глаза женщины, кончиками ногтей стучавшей в стекло. Она шевельнула пальцем, указывая на дрожащую Аишу. Неизвестно почему Матильда почувствовала доверие к незнакомке. Она опустила стекло, женщина бросила ей два больших куска лука и убежала. «Газ!» – взревел Амин. За несколько

секунд машина наполнилась едким, острым запахом, и они закашлялись.

Амин завел двигатель и очень медленно поехал вперед, чтобы пересечь повисшее в воздухе облако дыма. Когда они оказались у ограды парка, Амин выскочил из машины, не закрыв за собой дверцу. Он издалека увидел брата и сына: они играли. Как будто волнения, кипевшие всего в нескольких метрах оттуда, происходили в какой-то другой стране. В саду Султанш было тихо и спокойно. На скамейке сидел мужчина, у его ног стояла большая клетка с проржавевшими прутьями. Амин подошел поближе и увидел, что внутри топчется худосочная серая обезьянка, наступая лапками на собственные испражнения. Он присел на корточки, чтобы получше разглядеть зверька, тот повернулся к нему, открыл рот и показал зубы. Обезьянка стала свистеть и плевать, и Амин не мог понять, смеется она или пытается его напугать.

Амин позвал сына, и тот бросился в его объятия. Амину не хотелось разговаривать с братом, у него не было времени пускаться в объяснения или осыпать его упреками, и он просто развернулся и пошел к машине, оставив остолбеневшего Омара посреди лужайки. На дороге, ведущей к ферме, полицейские установили заграждение. Аиша заметила лежащую на земле длинную цепь с шипами и представила себе, как громко хлопнут пропоротые шины. Один из полицейских сделал Амину знак свернуть к обочине и остановиться. Он медленно подошел к машине и снял темные очки, чтобы рассмотреть пассажиров. Аиша с таким любопытством уставилась на него, что он растерялся. Судя по всему, он так и не понял, что за семейка смиренно сидит в машине и молча его разглядывает. Матильда гадала, какую историю он про них сочинил. Наверное, решил, что Амин – водитель. Возможно, подумал, что Матильда – жена богатого поселенца и слуге поручено ее сопровождать. Но полицейского, судя по всему, мало интересовала судьба взрослых, он сосредоточился на детях. Он внимательно посмотрел на руки Аиши, которая обнимала маленького брата, как будто стараясь его защитить. Матильда медленно опустила стекло и улыбнулась молодому человеку.

– Скоро введут комендантский час. Возвращайтесь домой. Счастливого пути!

Полицейский шлепнул по капоту, и Амин завел мотор.

* * *

На бал в честь Четырнадцатого июля Коринна надела красное платье и лодочки из плетеной кожи. В саду, украшенном цветными фонариками, она не танцевала ни с кем, кроме своего мужа, вежливым жестом отвергая приглашения других гостей. Таким образом она надеялась обезопасить себя от ревности и заручиться добрым отношением жен, однако те, наоборот, сочли ее высокомерной и вульгарной. «Значит, наши мужья для нее недостаточно хороши?» – думали они. Коринна проявляла крайнюю осторожность. Она избегала спиртного и его неизбежного следствия – возбуждения, зная, что наутро ей придется страдать, будет казаться, что она вела себя недостойно, слишком много болтала и напрасно лезла из кожи вон, стараясь понравиться, она боялась этого ощущения. Незадолго до полуночи Драгану, который пил, облокотившись на стойку, сообщили, что его вызывают. У женщины начались роды, это был третий ребенок, следовало поторопиться. Коринна не захотела оставаться на празднике без него: «Если ты уедешь, я все равно не буду танцевать», – и он отвез ее домой, прежде чем ехать в больницу. Когда она проснулась на следующее утро, муж все еще не вернулся. Ей лень было подниматься с постели, она лежала в комнате с закрытыми ставнями в мокрой от пота ночной сорочке и слушала жужжание лопастей вентилятора. Потом все-таки встала, побрела к окну. На улице, где уже стояла изнуряющая жара, она увидела человека, подметавшего мостовую пальмовым листом. В доме напротив суетились соседи. Дети сидели на ступенях лестницы, в то время как их мать носилась из комнаты в комнату, закрывая ставни и браня служанок за то, что те все еще не закончили укладывать чемоданы. Отец, развалившись на переднем сиденье машины, курил, настезь открыв дверцу, и, казалось, уже утомился от долгого путешествия. Они возвращались в метрополию, и Коринна знала, что скоро новый город опустеет. Несколько дней назад ее преподавательница фортепьяно сообщила, что уезжает в Страну Басков: «Какое счастье на несколько месяцев сбежать от этой жары и этой ненависти».

Коринна ушла с балкона и подумала, что ей некуда уезжать. У нее нет ни места, чтобы туда вернуться, ни дома, полного детских воспоминаний. Она вздрогнула от отвращения, представив себе черные улицы Дюнкерка, соседок, шпионивших за ней. Она отчетливо

видела, как они с грязными, зачесанными назад волосами стоят на крыльце своих домишек, придерживая обеими руками концы накинутых на плечи толстых шалей. Они с опаской взирали на Коринну: к пятнадцати годам ее тело внезапно распустилось пышным цветом. Ее детские плечи опускались под тяжестью огромных грудей, а тонкие ножки несли на себе груз округлившихся бедер. Она стала узницей собственного тела, которое превратилось в ловушку, в западню. За столом отец стеснялся на нее смотреть. А мать глупо повторяла: «Ну и как ее одевать, эту девчонку?» Солдаты на нее пялились, женщины считали порочной: «При таком теле в голову лезут непотребные мысли». Ее представляли сластолюбивой, доступной и похотливой. Полагали, что такая женщина создана только для удовольствия. Мужчины бросались на нее, раздевали поспешно и грубо, как будто снимали обертку с подарка. Потом с упоением разглядывали невероятного размера груди, которые выплескивались из расстегнутого лифчика, словно облако взбитых сливок. Они запрыгивали на нее, жадно разевали рот и кусали, как будто ошалев от мысли, что это лакомство никогда не иссякнет, что им никогда полностью не завладеть такими чудесами.

Коринна закрыла ставни и провела утро в полумраке, лежа в постели, выкуривая сигарету за сигаретой до самого конца, пока окурок не обжигал губы. От ее детства, как и от детства Драгана, не осталось ничего, кроме кучи камней, разрушенных бомбардировками зданий, мертвецов, погребенных на пустынных кладбищах. Их выбросило на берег в этом городе, и, очутившись в Мекнесе, она поверила, что здесь, возможно, сумеет построить новую жизнь. Она мечтала, что солнце, чистый воздух, покой окажут благотворное воздействие на ее тело и она наконец сможет подарить Драгану ребенка. Но проходили месяцы, годы. В их доме слышалось только грустное урчание вентилятора, никогда здесь не будут звенеть детские голоса.

Когда ближе к обеду вернулся муж, она засыпала его вопросами, которые растрavляли ей душу. Она спрашивала, истязая себя:

– Сколько он весил? Сразу заплакал? Милый, скажи, а он хорошенький?

Драган ласково отвечал, в отчаянии глядя на любимую женщину и прижимая ее к себе. Во второй половине дня он планировал

отправиться на ферму Бельхаджей, и Коринна предложила поехать с ним. Ей нравилась жена Амина, ее эмоциональность, ее неловкость. Ее взволновал рассказ Матильды о своей жизни. Матильда тогда сказала: «У меня нет выбора, я обречена на одиночество. Думаете, в моем положении можно вести светскую жизнь? Вы представить себе не можете, что значит быть замужем за местным жителем, тем более в таком городе, как этот». Коринна едва не ответила ей, что не так-то легко быть женой еврея, чужестранца, лица без гражданства, к тому же женой бездетной. Но Матильда была слишком молода, и Коринна решила, что она ее не поймет.

Когда они приехали на ферму, Коринна отправилась искать Матильду: та лежала под ивой, дети спали рядом с ней. Коринна тихонько подошла, стараясь не разбудить детей, и Матильда знаком пригласила ее сесть на одеяло, расстеленное на траве. Сидя в тени, убаюканная нежным детским дыханием, Коринна разглядывала растущие на склоне деревья, на ветках которых висели вперемежку разноцветные плоды.

В то лето Коринна почти каждый день бывала у них на холме. Она любила играть с Селимом, ее завораживала его красота, она нежно покусывала его щеки и пухлые ножки. Иногда Матильда включала радио и отставляла дверь дома открытой. Музыка разносилась по саду, женщины брали за руки Аишу и Селима, и дети кружились и танцевали с ними. Иногда Матильда приглашала Коринну остаться на ужин. Вечером приезжали мужчины, и они вместе садились за стол под перголой, которую соорудил Амин: ее уже начинала заплетать глициния.

Отголоски городских событий долетали до них, искаженные слухами. Матильда знать ничего не желала о том, что делается во всем остальном мире. С новостями в дом проникали злобные и беда. Но однажды, когда Коринна приехала к ней совершенно убитая, у нее не хватило духу просить ее помолчать. Она увидела заголовок в газете, которую Коринна держала в руке: «Трагическое безумие в Марокко». Шепотом, чтобы дети не слышали, она рассказала, какие ужасы происходили 2 августа в Птижане^[17].

– Они убивали евреев, – сообщила она и, словно прилежная ученица, перечислила, как были убиты несчастные жертвы.

Отцу одиннадцати детей рассекли надвое грудную клетку. Дома были разграблены и сожжены. Она описала, как были изувечены тела, доставленные в Мекнес для погребения, и процитировала, что говорили раввины во всех синагогах: «Бог ничего не забудет. Покойные будут отомщены».

Часть V

В сентябре Аиша снова пошла в школу, и теперь в своих опозданиях она винила больных. С тех пор как произошел несчастный случай с Рабией, распространился слух, будто Матильда обладает способностями целительницы. Что она знает названия лекарств и их назначение. Что она спокойная и умеет сострадать. Этим и объяснялось, почему после того случая каждое утро у дверей дома Бельхаджей собирались крестьяне. Поначалу им открывал Амин и с подозрением спрашивал:

– Ты что тут делаешь?

– Здравствуйте, хозяин. Я пришел к мадам.

С каждым днем очередь из пациентов становилась все длиннее. Во время сбора винограда приходило много работниц. Кого-то укусил клещ, другие страдали от флебита или не могли кормить ребенка, потому что у них пропало молоко. Амину не нравилось, что эти женщины сидят в очереди на ступеньках. Ему претила мысль, что они войдут в его дом, будут внимательно присматриваться, кто что говорит и что делает, а потом вся деревня станет обсуждать, кто что видел в хозяйском доме. Он предупреждал жену, чтобы она остерегалась колдовства, дурного глаза, зависти, которая таится в сердцах каждого из этих людей.

Матильда умела обрабатывать раны, усыплять клещей эфиром, объясняла женщинам, зачем нужно мыть детские бутылочки и как содержать младенца в чистоте. Она довольно сурово обращалась с крестьянками. Не разделяла их веселья, когда они с сальными шуточками рассказывали о том, как вновь оказались беременны. Закатывала глаза, когда ей снова и снова говорили о злых духах, о ребенке, уснувшем в животе матери, или о беременных женщинах, к которым не притрагивался ни один мужчина. Ее бесил фатализм этих крестьян, которые во всем полагались на Всевышнего, она не могла понять, отчего они так покорны судьбе. Она постоянно втолковывала им правила гигиены. «Ты грязнуха! – кричала она. – У тебя в рану попала зараза. Научись мыться». Она даже отказалась принимать одну работницу, пришедшую издалека, потому что ступни у нее были

покрыты засохшим навозом, к тому же у Матильды возникло подозрение, что у женщины вши. Отныне каждое утро их дом оглашали вопли окрестных ребятишек. Часто они кричали от голода: их матери хотели вернуться на работу в поле или вновь оказывались беременны, и потому младенцев резко бросали кормить. Малыш переходил с материнского молока на размоченный в чае хлеб и таял день ото дня. Матильда качала на руках этих малюток с провалившимися глазами и исхудавшими личиками и порой плакала оттого, что не могла их утешить.

Вскоре Матильде стало неважно обходиться подручными средствами, ей казалось, что она со своей импровизированной амбулаторией, где были только спирт, меркурохром и чистые полотенца, выглядит нелепо. Однажды к ней пришла женщина с младенцем на руках. Малыш был завернут в грязное одеяло, и когда Матильда подошла к ним, то увидела, что кожа на щеках ребенка почернела и отслоилась, как тоненькая шкурка на сладком перце, который женщины пекли на углях. В крестьянских домах готовили прямо на земле, и нередко случалось, что чайник опрокидывался и кипяток выплескивался в лицо ребенку, а порой младенцев кусали крысы, повреждая губы или уши.

– Мы не можем сидеть сложа руки, – твердила Матильда, решившая сделать закупки для своей амбулатории. – Денег я у тебя просить не буду, – пообещала она Амину. – Что-нибудь придумаю.

Амин поднял брови и усмехнулся.

– Милосердие – обязанность всякого мусульманина, – произнес он.

– Как и христианина, – отозвалась она.

– Значит, договорились. Тут и добавить больше нечего.

* * *

Аиша взяла в привычку выполнять домашние задания в амбулатории, где теперь пахло камфарой и мылом. Она отрывалась от своих тетрадок и смотрела, как крестьяне несут кроликов, держа их за уши, и преподносят их матери в знак благодарности. «Ради меня они лишают себя еды, но когда я отказываюсь от их подарков, я знаю, что сильно огорчаю их», – объясняла Матильда дочери. Аиша улыбалась детишкам с облепленными мухами глазами и приступами мучительного мокрого кашля. Она с восхищением смотрела на мать,

все лучше и лучше говорившую по-берберски и ругавшую Тамо за то, что та плакала при виде крови. Матильда иногда смеялась и усаживалась на траву, касаясь босыми ступнями ног крестьянских женщин. Она целовала старуху во впалые щеки, исполняла каприз малыша, требовавшего сахара. Она просила женщин, чтобы они рассказывали ей старые истории, и те рассказывали, щелкая языком о беззубые десны, смеялись, прикрывая лицо ладонью. Они на берберском делились с ней самыми интимными воспоминаниями, забывая, что она не только их хозяйка, но к тому же иностранка.

«Люди не должны так жить в мирное время», – повторяла Матильда, приходившая в негодование при виде нищеты. Они с мужем были едины в стремлении к развитию человечества: меньше голодных, меньше несчастных. Каждый из них страстно мечтал о прогрессе, питая безумную надежду на то, что машины позволят получать более высокие урожаи, а лекарства положат конец болезням. Между тем Амин пытался отговорить жену от ее затеи. Он боялся за ее здоровье и опасался микробов, которые чужаки могут занести в их дом, подвергнув опасности детей. Однажды вечером к Матильде пришла работница с ребенком, у которого несколько дней не спадал жар. Матильда посоветовала ей раздеть его и оставить так на ночь, обложив мокрыми полотенцами. На рассвете следующего дня женщина пришла снова. Ребенок горел как в огне, и ночью у него несколько раз были судороги. Матильда велела крестьянке сесть в машину и уложила ребенка на сиденье рядом с Аишей: «Довезем мою дочь до школы, а потом поедem в больницу, ты поняла?» Им пришлось долго ждать в приемном отделении больницы для марокканцев, потом рыжий доктор наконец выслушал младенца. Когда Матильда приехала забирать Аишу из школы, она была бледна, и у нее дрожал подбородок. Аиша подумала: что-то случилось.

– Тот маленький мальчик умер? – спросила она.

Матильда обняла дочь, ощупала ее ноги и руки. Она плакала, и ее слезы стекали по лицу девочки.

– Доченька моя, ангел мой, как ты себя чувствуешь? Посмотри на меня, дорогая. Ты хорошо себя чувствуешь? – допрашивала она Аишу.

В ту ночь Матильда не могла уснуть и в кои-то веки молилась Богу. Она думала, что наказана за свое тщеславие. Выдавала себя за целительницу, ничегошеньки не понимая в медицине. Все, на что она

оказалась способна, – это подвергнуть риску собственное дитя, и возможно, что на следующее утро у Аиши тоже будет жар и врач скажет ей, как сегодня утром: «Это полиомиелит, мадам. Будьте осторожны, он очень заразный».

Амбулатория стала также предметом разногласий с соседями. Мужчины приходили с жалобами к Амину. Матильда советует их женам воздерживаться от исполнения супружеского долга, она забивает им голову всякой чепухой. Эта христианка, эта чужачка не имеет права вмешиваться в подобные дела, сеять раздор в их семьях. В один прекрасный день у дверей Бельхаджей появился Роже Мариани. Богатый сосед впервые перешел через дорогу, разделявшую их владения. Обычно Матильда видела его только издали: он проезжал верхом по своим землям, надвинув на лоб шляпу. Он вошел в комнату, где работницы сидели прямо на полу, держа детей на руках. Увидев Мариани, некоторые из них вскочили и убежали прочь, даже не попрощавшись с Матильдой, а та в это время аккуратно накладывала повязку мальчику, заматывая ожог пропитанной жиром марлей. Заложив руки за спину, Мариани прошел через комнату и встал позади Матильды. Он жевал стебель пшеницы, и звук его ворочающегося во рту языка раздражал Матильду, мешая ей сосредоточиться. Когда она к нему обернулась, он ей улыбнулся:

– Продолжайте, прошу вас.

Он сел на стул и подождал, пока Матильда отправит восвояси подростка, порекомендовав ему не выходить на солнце и отдыхать.

Наконец они остались одни, и Мариани встал. Его немного сбил с толку высокий рост Матильды и взгляд ее зеленых глаз, в котором он не заметил ни тени страха перед ним. Всю жизнь женщины его боялись, они вздрагивали, услышав его низкий голос, старались убежать, когда он хватал их за талию или за волосы, тихонько плакали, когда он силком овладевал ими в амбаре или за кустом.

– Эта арабофилия выйдет вам боком, – бросил он. Небрежно поднял и поставил флакон со спиртом, со звоном бросил ножницы на стол. – Вы что думаете? Что они будут взирать на вас как на святую? Что возведут мечеть в вашу честь? Эти женщины, – шепотом продолжал он, указывая на работниц, трудившихся неподалеку от дома, – привычны к боли. Не вздумайте учить их жалеть себя, вы меня поняли?

* * *

Однако ничто не могло поколебать решимости Матильды. Однажды в субботу, в начале сентября, она отправилась в кабинет доктора Палоши, располагавшийся на улице Ренн, на четвертом этаже невзрачного дома. В приемной сидели четыре европейки, и одна из них, беременная, положила руку на живот, словно защищая свой плод от опасной встречи. Они долго и терпеливо ждали в душной комнате, где царила гнетущая тишина. Одна из женщин уснула, подперев голову правой рукой. Матильда пыталась читать роман, который принесла с собой, но жара была такая изнурительная, что у нее не получалось даже думать, ее разум блуждал, переходя от одной мысли к другой и ни на чем не останавливаясь.

Наконец Драган Палоши вышел из кабинета. Увидев его, Матильда встала и облегченно вздохнула. В белом халате, с зачесанными назад черными волосами он был красив. И совсем не походил на того жизнерадостного мужчину, с которым Матильда познакомилась, его глаза в темных кругах смотрели немного печально. У него на лице застыло выражение усталости, свойственное всем хорошим врачам. В их чертах словно просвечивают страдания пациентов, и не удивительно, что они горбятся под тяжестью признаний своих больных и что бремя этой тайны и их бессилия перед недугом заставляет их медленнее ходить и говорить.

Врач подошел к Матильде и, немного поколебавшись, расцеловал ее в обе щеки. Заметил, что она покраснела, и поспешил замять неловкость – стал рассматривать обложку книги, которую Матильда держала в руке.

– «Смерть Ивана Ильича», – негромко прочел он. Он говорил низким голосом, голосом, полным обещаний, и чувствовалось, что у него внутри, в его сердце таится много необыкновенных историй. – Вы любите Толстого?

Матильда кивнула, и он, провожая ее в свой просторный кабинет, рассказал ей один давний случай из жизни:

– Когда в 1939 году я приехал в Марокко, то поселился в Рабате у своего приятеля, русского, сбежавшего от революции. Однажды вечером он созвал друзей на ужин. Мы выпили, сели играть в карты, а один из гостей, которого звали Михаил Львович, уснул в гостиной на кушетке. Он храпел так громко, что мы не выдержали и расхохотались,

и хозяин дома произнес: «Подумать только, и это сын великого Толстого!»

Матильда вытаращила глаза, а Драган продолжил рассказ.

– Да, это действительно был сын гениального писателя! – воскликнул он, приглашая Матильду сесть в черное кожаное кресло. – Он умер, когда война уже подходила к концу. После той встречи я его не видел.

Некоторое время оба молчали, и Драган внезапно осознал нелепость ситуации. Матильда повернулась к ширме цвета морской волны, за которой раздевались пациентки.

– Честно говоря, – собравшись с духом, заговорила она, – я пришла не на прием. Мне нужна ваша помощь.

Драган сомкнул ладони и подпер ими подбородок. Сколько раз он сталкивался с подобной ситуацией? «Гинеколог должен быть готов ко всему», – говорил один из его преподавателей на медицинском факультете в Будапеште. К мольбам женщин, мечтающих родить ребенка и готовых ради этого на самые мучительные эксперименты. К мольбам женщин, готовых перенести любую боль, лишь бы избавиться от ребенка. К отчаянию женщин, по некоторым позорным признакам обнаруживших, что их мужья им изменяют. К растерянности женщин, слишком поздно обративших внимание на опухоль под мышкой или боль внизу живота. «Вы, должно быть, ужасно страдали? – спрашивал он у последних. – Почему вы не пришли раньше?»

Драган смотрел на Матильду, на ее красивое лицо, белизна которого совершенно не подходила для этих широт, а потому ее кожа была усеяна красными пятнышками. Чего она хочет от него? Собирается попросить денег? Пришла по поручению мужа?

– Я вас слушаю.

Матильда заговорила, она говорила все быстрее и быстрее, с такой горячностью, что это привело врача в замешательство. Она рассказала о Рабии: у той на животе и бедрах появились странные пятна, и часто случалась рвота. Упомянула и о случае с ребенком Джмии, которому уже полтора года, а он не встает на ножки. Она уверяла его, что больше так не может, что она не в состоянии справиться с дифтерией, коклюшем, трахомой – определять их симптомы она научилась, а вот лечить не умеет. Драган смотрел на нее, выпучив глаза и разинув рот. Серьезность, с которой она говорила о каждом недуге, произвела на

него огромное впечатление, он схватил блокнот, ручку и принялся записывать ее слова. Иногда он прерывал ее, чтобы задать вопрос: «А вот эти пятна, они мокнувшие или сухие? Вы продезинфицировали рану?» Он был растроган страстью этой женщины к медицине, ее искренним желанием разобраться в сложном механизме человеческого тела.

– Обычно я не даю рекомендаций и не выписываю лекарств, не осмотрев пациентку лично. Но эти женщины никогда не допустят, чтобы их выслушал врач-мужчина, да к тому же иностранец.

Он рассказал Матильде, как однажды в Фесе очень богатый торговец вызвал его к своей жене, у которой было обильное кровотечение. Привратник-оборванец проводил его в дом, и Драгану пришлось беседовать с больной через непрозрачную занавеску. На следующий день женщина скончалась от потери крови.

Драган встал и вытащил из книжного шкафа два объемистых тома.

– Извините, но анатомические таблицы у меня на венгерском языке. Я попытаюсь найти их по-французски, а пока что вы сможете в общих чертах познакомиться с устройством организма.

Другая книга была посвящена колониальной медицине и проиллюстрирована черно-белыми фотографиями. На обратном пути из школы Аиша, пролистывая толстый том, остановилась на картинке со следующей подписью: «Локализация эпидемии тифа. Марокко, 1944 г.». Люди в джеллабах, выстроенные в два ряда, были окутаны облаком черной пыли; фотографу удалось поймать выражение их лиц – смесь страха и восторга.

* * *

Матильда остановила машину у почты. Открыла дверцу, вытянула ноги, поставив ступни на тротуар. Она не помнила, чтобы когда-нибудь в сентябре стояла такая жара. Она вынула из сумки листок бумаги и ручку и попыталась закончить письмо, начатое утром. В первом абзаце она уверяла, что не следует верить всему, что пишут в газетах. Что происшествие в Птижане – это, конечно, ужасно, но на самом деле все далеко не так просто, как кажется.

Дорогая Ирен, надеюсь, ты поедешь отдыхать? Может, я ошибаюсь, только мне представляется, что ты в Вогезах, на берегу

одного из озер, где мы в детстве купались. До сих пор ощущаю во рту вкус пирога с черникой, который подавала та высокая женщина с бородавками на лице. Этот вкус остался в моей памяти, я думаю о нем, когда мне грустно, и это меня утешает.

Она снова надела туфли и поднялась по лестнице, ведущей на почту. Встала в очередь к окошку, за которым сидела улыбчивая женщина. «Мюлуз, Франция», – произнесла Матильда. Потом отправилась в центральный зал, где находились сотни абонентских почтовых ящиков. Вдоль двух противоположных стен тянулись ряды латунных дверок с цифрами, она остановилась у ящика с номером 25 – таким же, как год ее рождения, заметила она, но Амин был равнодушен к подобным совпадениям. Матильда вставила в замок маленький ключик, лежавший у нее в кармане, но он не повернулся. Она его вытащила, снова вставила, но ничего не произошло: ящик по-прежнему не открывался. Матильда сделала еще несколько попыток, проявляя все большее нетерпение и раздражаясь, и другие посетители стали обращать на нее внимание. Может, она решила украсть письма, которые ее мужу пишет любовница? Или, может быть, это ящик ее любовника, а она хочет ему отомстить? К ней медленно, словно служитель зоопарка, которому велели загнать в клетку хищного зверя, подошел работник почты, молодой парень с рыжими волосами и выдававшейся вперед нижней челюстью. У него были ступни огромного размера, к тому же он, направляясь к Матильде, напустил на себя слишком серьезный вид, поэтому он показался ей безобразным и неуклюжим. Совсем еще несмышленный, подумала она, а смотрит так сурово.

– Что происходит, мадам? Я могу вам помочь? – поинтересовался он.

Она так поспешно вытащила ключ, что едва не заехала молодому человеку локтем в глаз, поскольку он был гораздо ниже ее.

– Не открывается, – сердито бросила она.

Почтовый служащий взял ключ из рук Матильды, однако ему пришлось подняться на цыпочки, чтобы дотянуться до замка. Его медлительность взбесила Матильду. В конце концов ключ сломался прямо в замке, и Матильде пришлось ждать, пока юноша позовет начальника. Теперь она не успеет сделать все, что наметила: она

пообещала Амину, что продолжит составление ведомостей на оплату работников, к тому же муж разозлится, если она вовремя не подаст ему обед. Молодой человек появился снова, неся в руках стремянку и отвертку, и с торжественным видом отвинтил петли с дверцы ящика. Он мрачно сообщил, что никогда еще не сталкивался «с подобной ситуацией», и Матильде страшно захотелось выдернуть из-под него стремянку. Наконец ему удалось снять дверцу, и он протянул ее Матильде: «Надо разобраться, возможно, это не тот ключ. Если вы перепутали, вам придется оплатить ремонт». Матильда оттолкнула его, схватила стопку писем и, даже не попрощавшись, ринулась к выходу.

В тот миг, когда на нее обрушилась жара, когда она почувствовала, как солнце нещадно припекает ей макушку, она узнала, что умер ее отец. Ирен отправила короткую телеграмму накануне. Матильда повертела листок, перечитала адрес на конверте, внимательно всмотрелась в буквы, одну за другой, как будто не веря, что это не розыгрыш. За тысячи километров от нее, в ее родной стране, украшенной осенней позолотой, хоронят ее отца – разве это возможно? Пока маленький рыжик объяснялся со своим начальством по поводу неприятности с ящиком номер 25, мужчины несли гроб с телом Жоржа на городское кладбище. Нервничая и все еще не веря в случившееся, Матильда вела машину и всю дорогу до фермы думала о том, сколько времени понадобится червям, чтобы добраться до dna объемистого отцовского живота, забиться в ноздри этого великана, обвиться вокруг его костей и сглотать их.

* * *

Узнав о смерти тестя, Амин сказал: «Ты же знаешь, я его очень любил» – и он не солгал. Он сразу почувствовал дружеское расположение к этому открытому и веселому человеку, который принял его в семью без оглядки на предрассудки и никогда не относился к нему покровительственно. Амин и Матильда сочетались браком в церкви эльзасской деревушки, где родился Жорж. В Мекнесе об этом никто не знал, и Амин взял с жены слово, что она сохранит это в тайне: «Это тяжкое преступление. Они не поймут». Никто не видел снимков, сделанных на выходе из церкви. Фотограф попросил Матильду спуститься на две ступеньки, чтобы сравняться в росте с супругом. «А то это будет выглядеть немного смешно», – объяснил он.

При подготовке к торжеству Жорж потакал всем капризам дочери и время от времени тайком от Ирен, приходившей в ужас от бессмысленных расходов, совал Матильде банкноту-другую. Отец понимал, что ей необходимо получать удовольствие, чувствовать себя красивой, и не осуждал свое дитя за легкомыслие.

Никогда прежде Амин не видел до такой степени пьяных мужчин, как в тот вечер. Жорж не шел, он перемещался враскачку, цеплялся за плечи женщин, танцевал, чтобы скрыть, что он еле держится на ногах. Ближе к полуночи он кинулся к зятю и зажал его шею в сгибе локтя, как будто усмиряя драчливого мальчишку. Жорж не осознавал своей силы, и Амин решил, что тесть в порыве чувств запросто может его задушить или сломать ему шею. Жорж потащил Амина вглубь душного зала, где под гирляндами фонариков танцевали несколько пар. Они сели у деревянной стойки, и Жорж заказал два пива, не обращая внимания на то, что Амин протестующе замахал руками. Он чувствовал себя совершенно пьяным, ему пришлось даже прятаться за амбаром, потому что его тошнило. Жорж заставил Амина пить, чтобы испытать его стойкость и разговорить его. Он заставил его пить, потому что не знал другого способа завязать дружбу, наладить доверительные отношения. Словно мальчишка, который режет себе запястье, чтобы скрепить клятву кровью, Жорж хотел обмыть литрами пива свою любовь к зятю. Амина мутило, он то и дело рыгал. Он поискал взглядом Матильду, но новобрачная куда-то испарилась. Жорж обхватил Амина за плечи и пустился в пьяные разглагольствования. Призвав присутствующих в свидетели, он с сильным эльзасским акцентом провозгласил:

– Видит Бог, я не имею ничего против африканцев и людей твоей веры. Впрочем, об Африке я ничего не знаю, ты же понимаешь.

Отупевшие от спиртного люди, сидевшие рядом с ними, захихикали, шлепая мокрыми отвисшими губами. Название континента эхом отдавалось у них в голове, вызывая в памяти образы женщин с обнаженной грудью, мужчин в набедренных повязках, полей, раскинувшихся до самого горизонта в обрамлении тропической растительности. Они слышали слово «Африка» и представляли себе землю, где они могли бы стать властителями мира, если бы выжили, столкнувшись с пагубными миазмами и эпидемиями. При слове

«Африка» перед ними возникали беспорядочные картинки скорее из области их фантазий, чем из реальной жизни этого континента.

– Уж не знаю, как там у вас принято обращаться с женщинами, – продолжал Жорж, – но с этой девчонкой тебе придется нелегко, сечешь?

Он толкнул локтем старика, развалившегося рядом с ним, как будто призывая его сказать свое слово о дерзком характере Матильды. Тот поднял на Амина остекленевшие глаза и не издал ни звука.

– Я давал ей слишком много воли, – снова заговорил Жорж; его язык словно распух, и ему трудно было выговаривать слова. – А как ты хочешь? Она ведь мать потеряла. Вот я и размяк. Я позволял ей вволю бегать по берегам Рейна, мне ее притаскивали за шкурку, потому что она воровала вишню или купалась нагишом. – Жорж не обратил внимания на то, что Амин покраснел и нетерпеливо заерзал. – Понимаешь, у меня никогда не хватало духу взгреть ее как следует. И напрасно Ирен на меня ворчала – я не мог. А вот ты не давай слабины. Матильда должна понимать, кто из вас главный. Тебе ясно, парень?

Жорж все говорил и говорил и в итоге забыл, что обращается к своему зятю. Между ними установилась прочная мужская дружба, и ему показалось, что он имеет право порассуждать о женских грудях и задницах, которые служили ему утешением во всех неприятностях. Он стукнул кулаком по столу и с игривым видом предложил прогуляться в бордель. Его соседи расхохотались, и тогда он вспомнил, что у Амина брачная ночь и в этот вечер речь идет о заднице его дочери.

Жорж был отчаянным бабником и пьяницей, безбожником и плутом, каких мало. Но Амин любил этого великана, который с первых дней пребывания молодого воина в их деревне сидел, словно в укрытии, в своем кресле в дальнем углу гостиной и курил трубку. Он молча наблюдал, как зарождаются чувства между африканцем и его дочерью – его дочерью, которую он еще в детстве научил не верить глупостям, что встречаются в сказках: «На самом деле негры не едят непослушных детей, это неправда».

* * *

Все последующие дни Матильда была безутешна, Аиша никогда еще не видела ее такой. Она начинала рыдать прямо посреди ужина

или яростно ругала Ирен за то, что та не известила ее о состоянии отца.

– Он несколько месяцев болел. Если бы она мне раньше сообщила, я бы приехала ухаживать за ним, могла бы с ним проститься.

Муилала приехала к ней выразить соболезнования:

– Теперь он получил избавление. Но мы-то живы, пора подумать о другом.

Прошло несколько дней, Амин потерял терпение и упрекнул ее в том, что она забросила дела на ферме и детей.

– Здесь не принято долго горевать. Люди говорят покойникам последнее «прости» и продолжают жить.

Однажды утром, когда Аиша пила горячее сладкое молоко, Матильда заявила:

– Мне нужно уехать, иначе я сойду с ума. Я должна побывать на могиле отца, а когда вернусь, все наладится.

За несколько дней до поездки жены, на которую Амин дал согласие и которую оплатил, он заговорил с ней о проблеме, не дававшей ему покоя.

– Я снова задумался над этим, когда умер Жорж. Наше бракосочетание в церкви не имеет здесь никакой законной силы. Страна скоро завоеует независимость, и я не хотел бы, чтобы в случае моей смерти ты лишилась прав на детей и на ферму. Когда ты вернешься, мы уладим это дело.

* * *

Спустя две недели, в середине сентября 1954 года, Амин проснулся в приподнятом настроении и предложил Аише совершить обход их земель, пройтись вместе с ним по полям. Поначалу он удивлялся выносливости дочери, тому, как шустро она бежала впереди него, как первой добралась до высаженного рядами миндаля и скрылась за деревьями. Казалось, каждое из них ей знакомо, ее маленькие ножки с удивительной ловкостью обегали кусты крапивы и грязные лужи, оставшиеся после благодатного ночного дождя. Иногда Аиша оборачивалась, как будто устав его ждать, и удивленно смотрела на него, широко раскрыв глаза. На секунду у него в голове возникла шальная мысль, но он тут же одумался. «Нет, – решил он, – женщине не под силу управлять такой фермой, как эта». У него имелись на нее

другие виды: он хотел, чтобы она поселилась в городе, стала культурной женщиной, может, даже врачом или – почему бы нет? – адвокатом. Они прошли по краю поля, и при виде девочки крестьяне стали громко кричать и махать руками. Они боялись, как бы ребенок не попал под мотовило комбайна, они такое уже видели и не хотели подвергать риску хозяйскую дочку. Отец начал что-то обсуждать с работниками, и Аише показалось, что их разговору не будет конца. Она легла на влажную землю и в отяжелевшем от туч небе увидела странную стаю птиц. Она подумала: а может, это вестники, может, они прилетели из Эльзаса сообщить о возвращении матери?

Ашур, работавший с отцом с первого дня, прискакал на лошади серой масти со слипшимся от грязи хвостом. Амин поманил к себе дочь.

– Иди сюда, – позвал он.

Водитель заглушил мотор комбайна, и Аиша боязливо приблизилась к группе мужчин. Амин сидел верхом на лошади и улыбался:

– Иди ко мне!

Аиша дрожащим голосом стала отнекиваться, сказала, что ей привычнее бежать, что она будет рядом, но он и слушать не хотел. Он решил, что она вздумала поиграть, как когда-то в детстве играл он сам: недобрые это были забавы, они или играли в войну, или расставляли друг другу ловушки, или говорили прямо противоположное тому, что думали. Амин стукнул пятками по крупу лошади, которая рванулась вперед, раздувая ноздри, распластался у нее на спине и прижался щекой к ее шее. Он принялся стремительно кружить вокруг девочки, поднимая клубы пыли, заслоняя солнце. Он изображал султана, вождя кочевого племени, рыцаря-крестоносца и собирался, торжествуя, похитить это дитя, легонькое, как перышко. Недрогнувшей рукой он подхватил Аишу под мышку и вскинул вверх: так Матильда перетаскивала кошек, подняв их за шкурку. Он усадил дочку перед собой в седло и издал крик не то ковбоя, не то индейца: ему он показался смешным, но у Аиши мороз пробежал по коже. Она расплакалась, все ее худенькое тельце содрогалось от рыданий. Амину пришлось крепче прижать ее к себе. Он положил руку ей на голову и сказал:

– Не бойся! Успокойся.

Но малышка отчаянно вцепилась в гриву лошади, взглянула вниз, и у нее закружилась голова. И тут Амин почувствовал, что у него по ноге потекла теплая жидкость. Он грубо приподнял девочку, продолжавшую кричать, и осмотрел свои мокрые брюки.

– Не может быть! – воскликнул он, держа Аишу кончиками пальцев, как будто она вызывала у него отвращение, как будто ему были одинаково неприятны и исходивший от дочери запах, и ее трусость. Он остановил лошадь, дернув за уздечку, и спешился. Стоя лицом к лицу, отец и дочь не смотрели друг на друга. Лошадь поскребла копытом о землю, и Аиша в ужасе прижалась к отцу.

– Нельзя быть такой пугливой, – заметил он и, взяв дочь за руку, несколько секунд смотрел, как моча стекает по седлу.

Пока они шли к дому на приличном расстоянии друг от друга, Амин думал, что Аише здесь не место, что он не знает, как с ней надо обращаться. С тех пор как Матильда уехала в Европу, Амин пытался уделять время дочери, быть любящим, хорошим отцом. Но вел себя неловко, нервничал, эта маленькая женщина семи лет от роду приводила его в замешательство. Дочь нуждалась в присутствии женщины, человека, который ее понимает, а не только в нежностях безмозглой грязнули Тамо. Он застал служанку на кухне, когда та, наклонив чайник и разинув рот, пила прямо из носика, и ему захотелось дать ей затрещину. Ему следовало оградить дочь от вредного влияния, кроме того, у него не было сил мотаться между фермой и школой.

В тот вечер он зашел в комнату Аиши, сел на край ее маленькой кровати и стал смотреть на нее, сидящую за письменным столом.

– Что ты там рисуешь? – спросил он, не поднимаясь с кровати.

Не отрывая глаз от листа, Аиша просто ответила:

– Я рисую для мамы.

Амин улыбнулся ей и несколько раз попытался заговорить, но вскоре отказался от этой затеи. Он встал и выдвинул ящики комода, куда Матильда складывала вещи девочки. Он вытащил шерстяные рейтузы, которые связала Матильда, и они показались ему неправдоподобно маленькими. Он свалил в кучу кое-какую одежду и запихнул ее в большой коричневый мешок.

– Ты на несколько дней переедешь к своей бабушке в Беррима. Думаю, так для тебя будет лучше, и до школы оттуда добираться проще.

Аиша медленно сложила пополам свой рисунок, взяла куклу, валявшуюся на кровати, вышла следом за отцом в коридор, подошла к брату, заснувшему на коленях у Тамо, прижавшись к ее животу, и поцеловала его в лоб.

Они впервые оказались наедине, только вдвоем, среди темной ночи, и от этого им было не по себе. В машине Амин время от времени поворачивался к Аише и улыбался ей, словно говоря: «Ничего, все образуется. Не волнуйся». Аиша улыбалась в ответ, потом, осмелев в ночной темноте, попросила:

– Расскажи о войне.

Она произнесла эти слова взрослым, твердым голосом, более серьезным, чем обычно. Амина это удивило. Не отрывая взгляд от дороги, он спросил:

– Ты, наверное, заметила этот шрам?

Он дотронулся до кожи за ухом и медленно провел пальцем вниз, к плечу. Было слишком темно, чтобы разглядеть выпуклый коричневый рубец, но Аиша в мельчайших деталях помнила этот странный рисунок на шее отца. Она кивнула, ошарен от возбуждения при мысли, что тайна наконец будет раскрыта.

– Во время войны, незадолго до того, как я встретил маму, – тут Аиша хихикнула, – я провел несколько месяцев в лагере для военнопленных, куда нас отправили немцы. Там собралось много таких, как я, марокканцев, солдат колониальной армии. С нами, хоть мы и были в заключении, обращались не так уж плохо. Кормили, конечно, неважно и не досыта, я тогда сильно похудел. Но нас не били и не заставляли работать. По правде говоря, хуже всего мы переносили скуку. Однажды немецкий офицер собрал всех пленных. Он спросил, есть ли среди нас парикмахер, и, ни секунды не раздумывая, уж не знаю почему, я быстро всех растолкал, встал перед офицером и сказал: «Месье, я был цирюльником у нас в деревне». Те, кто меня знал, покатались со смеху. «Ну, ты и вляпался!» – сказали они. Но офицер мне поверил и велел поставить посреди лагеря маленький столик и стул. Мне выдали старую машинку для стрижки, ножницы и липкую жидкость: немцы обожали с ее помощью прилизывать волосы. – Амин

провел по макушке, изображая, как немецкие офицеры это делали. – Так вот, малышка, неприятности начались, когда пришел мой первый клиент и уселся на стул. Я не представлял себе, как пользоваться этой машинкой, и когда приложил ее к затылку немца, она попыталась вырваться у меня из рук. Прямо посередине головы немца появилась лысина. Я взмок, потом подумал, что лучше будет побрить немца наголо, но проклятая машинка стала вытворять невесть что. Вскоре мой клиент забеспокоился, провел рукой по голове и, судя по виду, расстроился. Он говорил по-немецки, и я не понимал ни слова. В итоге он резко меня отпихнул и схватил лежавшее на столе зеркальце. Когда он увидел свое отражение, то стал кричать, и хотя я его не понимал, я был уверен, что он меня оскорбляет и называет всякими нехорошими словами. Он позвал того человека, который привлек меня к работе, и тот потребовал от меня объяснений. И знаешь, что я ему ответил? Я поднял руки к небу, улыбнулся и сказал: «Это стрижка «Африка», месье!»

Амин долго смеялся, хлопал ладонью по рулю, выражая свою радость, но Аиша не смеялась. Концовка истории осталась для нее непонятной.

– А что же насчет шрама? – спросила она.

Амин подумал, что не может сказать ей правду. Что он говорит с маленькой девочкой, а не с соседом по казарме. Как ей объяснить, что был побег, что он зацепился за колючую проволоку, которая впилась ему в шею и вырвала клочки мяса, а он этого даже не почувствовал, поскольку страх был куда сильнее физической боли? Надо оставить эту историю на потом, рассудил Амин.

– Ну так вот, – произнес он ласковым голосом, какого Аиша никогда прежде не слышала. Огни города приближались, и она различала лицо отца и причудливую выпуклость у него на шее. – Когда я сбежал из лагеря, то долго шагал по Шварцвальду – а это значит «Черный лес». Было очень холодно, и мне не встретилось ни одной живой души. Ночью, когда я спал, я услышал звук, похожий на рычание большого хищного зверя. Я открыл глаза: рядом со мной стоял бенгальский тигр. Он бросился на меня, и его острый коготь распорол мне шею. – Аиша восторженно вскрикнула. – К счастью, при мне было ружье, и я быстро покончил со зверем.

Аиша улыбнулась, ей захотелось потрогать длинный рубец, тянувшийся от нижней линии волос до ключицы. Она даже почти забыла о цели их ночного путешествия и очень удивилась, когда отец остановил машину в нескольких метрах от дома Муилалы. В одной руке Амин нес коричневый мешок, другой обхватил запястье Аиши. Войдя в дом, малышка стала кричать, умоляла отца не бросать ее здесь. Женщины вытолкали Амина на улицу и осыпали девочку ласками. Аиша каталась по полу, сбрасывала подушки с кушеток, с неистовой злобой оттолкнула блюдо с печеньем, которое ей принесли, и вскоре Муилале это представление надоело. «Маленькая француженка слишком неуравновешенна», – подумала старуха.

Они поселили девочку в комнате, смежной со спальней Сельмы, и Ясмин согласилась первую ночь поспать на полу, в ногах кровати Аиши. Несмотря на то что служанка осталась с ней и ее дыхание должно было успокоить Аишу, та никак не могла уснуть. Ей казалось, что это дом как у поросенка из сказки, построившего жилище из соломы, что придет серый волк, дунет – и домик рассыплется.

На следующий день в классе, пока сестра Мари-Соланж писала на доске цифры, Аиша думала: «Где моя мама и когда она вернется?» Она засомневалась, не обвели ли ее вокруг пальца и не такое ли это путешествие, из которых не возвращаются, как, например, когда-то не вернулся муж вдовы Мерсье. Монетт, ее соседка по парте, попыталась что-то сказать ей на ухо, но учительница постучала указкой по краю стола. Монетт была подвижной, разговорчивой девочкой, ее высокий рост производил впечатление на всех школьников. Она сразу привязалась к Аише, и та никак не могла понять почему. Монетт болтала без умолку – на скамье в часовне, во дворе на перемене, в столовой и даже в классе во время опроса. Она раздражала взрослых, директриса даже однажды закричала: «Черт побери!» – и ее морщинистые щеки вспыхнули от стыда. Аиша не знала, что из бесконечных историй Монетт правда, а что – выдумка. У нее на самом деле есть во Франции сестра-актриса? Она действительно ездила в Америку, действительно видела зебр в зоопарке в Париже и целовала в губы одного из своих двоюродных братьев? Правда ли, что ее отец, Эмиль Барт, – летчик? Монетт рассказывала о нем так подробно, с такой любовью, что Аиша в итоге поверила, что это чудо – аэроклуб в Мекнесе – реально существует. Монетт объясняла ей, чем отличаются

друг от друга самолеты «Локхид Т-33», «Пайпер Каб» и «Вампир», в мельчайших деталях описывала самые опасные фигуры пилотажа, которые выполнял ее отец. Она говорила: «Как-нибудь я тебя туда отвезу». Аиша буквально помешалась на этой обещанной поездке. Отныне у нее в голове были только две мысли: экскурсия к аэроклуб и возвращение матери. Она вообразила, что отец ее подруги сможет полететь за ее мамой на одном из своих самолетов. Стоит ей только вежливо его попросить, сказать «Ну, пожалуйста» – и он наверняка согласится оказать ей эту небольшую услугу.

Монетт рисовала на своем требнике. Она украшала изображения святых густыми черными усами. Она смешила Аишу, хотя в первые месяцы их дружбы та изумлялась, как можно так непочтительно относиться к авторитетам. Открыв рот, выпучив глаза, Аиша наблюдала за безрассудными выходками своей подруги, и ее переполняло восхищение. Несколько раз сестры умоляли ее выдать Монетт. Аиша ни разу не поддавалась на уговоры и осталась верна подруге. Однажды Монетт потащила ее в школьный туалет. Там было до того холодно, что многие девочки предпочитали терпеть несколько часов, лишь бы не раздеваться и не клацать зубами, сидя на корточках над дырой в полу. Монетт огляделась.

– Следи за дверью, – приказала она Аише, у которой сердце ушло в пятки.

Она только бормотала:

– Давай быстрее. Ты скоро? Ну что ты там делаешь так долго? Нам влетит!

Монетт достала из-под блузки стеклянную бутылку. Задрала шерстяную юбку, зажала подол в зубах. Спустила трусы, и Аиша, придя в ужас, увидела гладкий лобок подруги. Монетт пристроила между ногами бутылку и помочилась в нее. Теплая жидкость стекала от горлышка до самого дна, и Аиша задрожала от страха и возбуждения. Потом почувствовала, что ноги у нее подкашиваются. Она уже собралась отступить и приготовиться к бегству, потому что подумала: а вдруг это ловушка и Монетт заставит Аишу пить ее мочу? Наверное, она вела себя слишком доверчиво, и Монетт сейчас созовет других одноклассниц, они накинутся на Аишу, засунут ей в рот горлышко бутылки и закричат: «Пей! Пей!» Но Монетт подтянула трусы, привела в порядок юбку и мокрой рукой схватила за руку Аишу.

– Пойдем, – сказала она, и они пустились бежать по засыпанной гравием дорожке, ведущей к часовне. Аише было поручено стоять на страже у входа, но она каждую минуту просовывала голову в дверь и смотрела, что там делает Монетт. Так она и обнаружила, что Монетт вылила содержимое бутылки в чашу со святой водой. С того дня Аиша, видя, как старик или ребенок макают пальцы в кропильницу и осеняют себя крестом, всякий раз вздрагивала.

* * *

– Месяц – это сколько? – спрашивала Аиша у Муилалы, и та прижимала ее к своей тощей груди.

– Мама скоро вернется, – заверяла ее старуха.

Аише не нравилось, как пахнет бабушка, не нравились широкие оранжевые пряжи, выбивавшиеся из-под ее платка, ее пятки, окрашенные хной. И ко всему прочему, не нравились ее руки, мозолистые, шершавые, от которых не стоило ждать ласки. Ногти на них были испорчены мытьем и стиркой, кожа покрыта мелкими шрамами, оставшимися от сражений на фронтах домашнего хозяйства. Этот – след от ожога, тот – от глубокого пореза в праздничный день: она тогда истекала кровью в кладовке за кухней. Несмотря на отвращение, Аиша, когда ей становилось страшно, искала убежища в бабушкиной комнате. Муилала смеялась над странностями своей внучки и объясняла ее нервозность европейским происхождением. Когда с десятков минаретов в городе разносились пронзительные голоса, Аиша начинала дрожать. В завершение призыва к молитве муэдзины очень громко дудели в огромные трубы, и этот заунывный вой приводил девочку в ужас. В книжке, которую ей показала в школе одна монахиня, архангел Гавриил держал в руке трубу в золотом ореоле. Он будил мертвых, возвещая Судный день.

Однажды вечером, когда Аиша с Сельмой делали уроки, они услышали, как хлопнула дверь и раздался громкий голос Омара. Девочки побросали тетрадки и, перевесившись через перила, стали наблюдать, что происходит во внутреннем дворике. Муилала стояла у бананового дерева и тихо, суровым голосом – Аиша никогда прежде не слышала, чтоб она так говорила, – угрожала сыну расправой. Она подошла к входной двери, а сын стал говорить ей жалобным голосом:

– Не могу же я прямо сейчас выгнать их вон! *Ya toui*^[18], речь идет о будущем нашей страны!

Он поцеловал мать в плечо, поймал ее руку, которую она тщетно попыталась вырвать, и стал ее благодарить.

Старая женщина поднялась по лестнице, еле слышно бранясь и бормоча горькие слова. Сыновья сведут ее в могилу! Чем она прогневила Аллаха, какие грехи совершила, чтобы жить в одном доме с такими двумя сыновьями? Джалил одержим демонами, а из-за Омара у нее всегда одни неприятности. Перед войной он учился в лицее в новом городе, куда Кадур сумел его записать по протекции друга-европейца. Потом отец умер, брат был на фронте, и Омар мог больше ни перед кем не отчитываться за свое поведение. Несколько раз он возвращался домой с разбитым в кровь лицом, с распухшими губами. Он с удовольствием ввязывался в драки и носил в кармане ножик. Сын без отца – угроза для всех, подумала тогда Муилала. Несколько недель он скрывал от матери, что его выгнали из лицея, потом она узнала от соседки, что Омар явился на занятия с газетой под мышкой, крича с торжествующим видом: «Немцы взяли Париж! А он сила, этот Гитлер!» Муилала тогда пообещала, что все расскажет Амину, когда тот вернется с войны.

Омар тоже был красив, как и его старший брат, но отличался необычной внешностью: угловатое лицо, высокие скулы, тонкие губы, густые каштановые волосы. Кроме того, он был значительно выше ростом, и лицо его постоянно выражало такую суровость, такую злость, что он выглядел гораздо старше своего возраста. С двенадцати лет он носил очки, но их толстые линзы уже не помогали, и его близорукий взгляд создавал ощущение, будто он заблудился, сейчас вытянет вперед руки и попросит ему помочь. Его вспыльчивость пугала Аишу. Как будто она находилась рядом с голодным или раненым зверем.

В годы войны Омар благодарил судьбу за то, что старший брат на фронте, хотя он никогда открыто в этом не признался бы. В его воображении часто возникало обезображенное тело Амина, разорванное снарядами и гниющее на дне траншеи. О войне он знал только то, что ему рассказывал отец. Газ, грязные окопы с полчищами крыс. Он не знал, что теперь воюют по-другому. Амин выжил. И что еще хуже, вернулся с фронта героем, с гроздью медалей на груди и

неистощимым запасом невероятных историй. В 1940 году его взяли в плен, и Омару пришлось изображать тревогу и отчаяние. В 1943-м Амин вернулся домой, и Омару надо было притворяться, будто он испытывает облегчение, а затем, когда старший брат решил снова пойти добровольцем на фронт, – восхищение. Сколько раз Омар вынужден был выслушивать рассказы о героических поступках брата, о том, как он бежал из лагеря, как пробирался через холодные поля, как бедный крестьянин выдал Амина за своего батрака! Сколько раз Омар делал вид, что смеется, когда Амин изображал, как он ехал в вагоне с углем, когда он рассказывал, как встретил в Париже девушку легкого поведения и та приютила его у себя? В то время как брат устраивал представление, Омар улыбался. Хлопал Амина по плечу и говорил: «Да, ты истинный Бельхадж!» Но он умирал от зависти, видя, как девушки слушают героя войны, приоткрыв рот, высунув кончик языка, тихонько вскрикивая от восторга, и на все готовы ради него.

Омар так же ненавидел своего брата, как ненавидел Францию. Война была для него мстью французам, благодатным временем. Он возлагал огромные надежды на это вооруженное противостояние, мечтал выйти из него вдвойне свободным. Брат погибнет, а Франция потерпит поражение. В 1940 году, после позорного перемирия с немцами, Омар с наслаждением выражал презрение к тем, кто проявлял хоть малейшую угодливость по отношению к французам. Он находил удовольствие в том, чтобы пихать их, грубо толкать в очереди в магазине, плевать на туфли дам. В европейской части города он оскорблял слуг, сторожей, садовников, которые, потупившись, предъявляли разрешение на работу французским полицейским, грозно предупреждавшим: «Как только закончишь работу, сразу выметайся отсюда, понял?» Он призывал к бунту, показывал пальцем на таблички на домах, запрещавшие коренным жителям пользоваться здесь лифтом и мыться. Омар проклинал этот город, это прогнившее конформистское общество, этих французских поселенцев и солдат, земледельцев и лицеистов, убежденных, что они живут в раю. Жажда жизни сочеталась у Омара со страстным стремлением к разрушению – разрушению лжи и коверканью языка, развенчанию символов, ликвидации грязных жилищ, – чтобы на их месте построить новый порядок и стать одним из его вождей. В 1942 году, в «год талонов», Омару пришлось как-то разбираться с крайне скудным рационом и продовольственными карточками. Пока Амин находился в плену, Омар вынужден был сражаться с обычной нуждой, и это приводило его в ярость. Он знал, что французы имеют право на вдвое большее количество еды, чем марокканцы. Он слышал, что местным не выдавали шоколад под тем предлогом, что это непривычный для них продукт. Он познакомился с несколькими торговцами на черном рынке и предложил им помощь в сбыте товаров. Муилала не спрашивала, откуда берутся цыплята, которых он приносил в дом и швырял на кухонный стол, не интересовалась происхождением кофе и сахара. Она только качала головой, и иногда ее лицо выражало огорчение, выводившее Омара из себя. Его убивала такая неблагодарность. Ее это не устраивает? Разве трудно сказать спасибо, почувствовать себя хоть немного ему обязанной за то, что он кормит сестру, своего чокнутого братца и обжору служанку? Нет, для матери существовали только

Амин и эта дура Сельма. Сколько бы Омар ни делал для страны, для семьи, он чувствовал, что его не понимают.

К концу войны у Омара появилось много друзей в подпольных организациях, боровшихся с французскими оккупантами. Поначалу руководители неохотно давали ему задания. Они не доверяли импульсивному парню, которому недоставало терпения дослушать речи о равенстве и женской эмансипации. Ломающимся юношеским голосом он призывал к вооруженной борьбе – немедленно, прямо сейчас! Руководители предлагали Омару почитать кое-какие книги и газеты, но он только досадливо отмахивался. Однажды он разозлился на одного испанца с лицом в шрамах, сражавшегося против Франко и именовавшего себя коммунистом. Этот человек выступал за всеобщее восстание пролетариата и считал, что все народы достойны независимости. Омар оскорбил его, назвал неверным, поднял на смех, заявив, что он только болтать горазд, и призвал отныне и впредь предпочесть действие словам.

Его недостатки компенсировались непоколебимой преданностью и реальной отвагой, и это в конце концов убедило руководителей ячейки. Все чаще и чаще он исчезал из дома на несколько дней, порой пропадал целую неделю. Муилала умирала от беспокойства, но никогда ему об этом не говорила. Заслышав скрип входной двери, она вскакивала с кровати. Муилала осыпала упреками Ясмин, а потом плакала в объятиях рабыни, несмотря на то что питала отвращение к ее черной коже. Она молилась ночи напролет и представляла себе, что ее сын сейчас гниет в тюрьме или лежит где-то убитый, и все из-за девушки или из-за политики. Но он всякий раз возвращался, со все более яростными речами на устах, оформившимися идеями, мрачным взглядом.

В тот вечер Омар устроил собрание в доме матери и заставил ее поклясться, что она ничего не скажет Амину. Сначала Муилала отказалась; она не хотела неприятностей, не желала, чтобы в стенах дома, который Кадур построил своими руками, люди прятали оружие. Она не желала слушать громкие националистические речи Омара, и тот едва сдержался, чтобы не плюнуть на землю и не сказать: «Когда твой сын сражался за французов, тебе жилось совсем неплохо».

Однако он взял себя в руки и, хотя эта сцена показалась ему крайне унижительной, вытянул губы и стал целовать пергаментные руки матери:

– Не могу же я ударить в грязь лицом! Мы ведь мусульмане. Мы националисты. Да здравствует Сиди Мухаммед бен Юсуф!

Муилала испытывала трогательную и почтительную любовь к султану. Сиди Мухаммед бен Юсуф жил в ее сердце, в особенности теперь, когда он был далеко от родины, в изгнании. Она, как и многие другие женщины, поднималась ночью на террасу на крыше, чтобы в лике луны рассмотреть черты своего монарха. Ей не понравилось, что Матильда расхохоталась, узнав, что она плакала, когда Сиди Мухаммеда отправили в изгнание и поселили у мадам Гаскар^[19]. Она прекрасно знала, что невестка ей не поверила, когда она рассказывала, как по прибытии на этот странный остров, населенный неграми, слоны и дикие звери простерлись ниц перед свергнутым султаном и его семьей. Мухаммед, да сохранит его Всевышний, совершил чудо в самолете, перевозившем его с семьей в это проклятое место. Он и его родные могли бы разбиться из-за каких-то неполадок в подаче керосина, но султан приложил свой носовой платок к стеклу кабины, и самолет благополучно долетел до пункта назначения. Муилала сдалась на уговоры сына, думая о султанине и Пророке. Она поспешила к лестнице на второй этаж, чтобы не встретиться с мужчинами, входившими в ее дом. Омар последовал за ней, а когда увидел сидевшую на ступеньке Аишу, грубо ее толкнул:

– А ну, пошла отсюда, да поживее, а то развалилась тут, как мешок с мукой. Ты понимаешь по-арабски, христианка? Если только я замечу, что ты шпионишь... Смотри у меня!

Он поднял руку, показал свою большую ладонь, и Аиша подумала, что он может раздавить ее о стену, как Сельма давит ногтем больших зеленых мух. Аиша миглом влетела к себе в комнату и, закрыв за собой дверь, вытерла вспотевший лоб.

* * *

Третьего октября 1954 года Матильда села в самолет, направлявшийся в парижский аэропорт Ле-Бурже, а оттуда на стареньком аэроплане полетела в Мюлуз. Путешествие показалось ей бесконечным, до того ей не терпелось излить свою ярость на Ирен и

свести с ней счеты. Как у сестры хватило наглости не сообщить ей о том, что отец умирает? Она держала Жоржа в заложниках, хотела, чтобы папочка принадлежал только ей, и с притворной нежностью целовала его в лоб. Во время перелета Матильда плакала, думая, что отец, наверное, звал ее, а Ирен ему соврала. Она придумывала, какие слова надо будет сказать, что сделать, когда она встретится лицом к лицу с сестрой. Она заново переживала одну из тех сцен неистовой ярости, которые закатывала сестре в детстве, а та только смеялась:

– Папа, иди посмотри! В малявку будто бес вселился!

Едва она приземлилась в Мюлузе и прохладный ветер освежил ей лицо, гнев ее моментально улегся. Матильда медленно огляделась, как во сне, когда рассматриваешь окружающий пейзаж и боишься, как бы одно неловкое движение, одно лишнее слово не прогнали ночную грезу. Она протянула паспорт чиновнику, и ей захотелось ему сообщить, что она здесь родилась и теперь вернулась домой. Она охотно расцеловала бы его в обе щеки – так ей был приятен его эльзасский выговор. Бледная и худая Ирен в элегантном траурном наряде ждала ее. Она медленно помахала рукой в черной перчатке, и Матильда направилась к ней. Сестра постарела. Она стала носить большие очки, отчего ее лицо выглядело суровым, почти мужским. Из родинки под правой ноздрей торчало несколько жестких белых волосков. Она обняла Матильду с несвойственной ей нежностью. Та подумала: «Теперь мы сироты», – и при этой мысли расплакалась.

Пока они ехали на машине, Матильда не произнесла ни слова. Возвращение домой так сильно взволновало ее, что она не хотела выплескивать наружу свои эмоции, дабы не испытать на себе колкую иронию сестры. Край, который она покинула, восстанавливался без ее участия, люди, которых она знала, обошлись без нее. Ее тщеславие страдало при мысли, что в ее отсутствие сирень цвела как ни в чем не бывало, что площадь замостили заново. Ирен припарковала машину в маленьком переулке, прямо напротив дома, где прошло их детство. Матильда стояла на тротуаре и разглядывала сад, в котором столько играла, потом подняла голову и посмотрела на окно отцовского кабинета, где часто появлялся внушительный профиль отца. Сердце у нее сжалось, она побледнела, не в силах понять, что на нее так подействовало – встреча с родными местами или же, наоборот, тревожное чувство, что все здесь для нее чужое. Как будто, приехав

сюда, она поменяла не только место пребывания, но и время, и это путешествие – прежде всего возвращение в прошлое.

В первые дни к ней приходило много людей. Все послеобеденное время она проводила за чашкой чаю и блюдами с печеньем и пирожными и к концу недели набрала тот же вес, что был у нее до болезни. Некоторые ее бывшие одноклассницы приводили с собой ребенка, другие были беременны, большинство из них превратились в представительных матерей семейства, жаловавшихся на слабость своих мужей к выпивке и женщинам легкого поведения. Они с аппетитом поглощали пьяную вишню и угощали ею детей, те пачкали губы в сладком красном соке, потом их развозило, и они засыпали на софе у двери. Жозефина, самая близкая из школьных подруг Матильды, злоупотребляла шнапсом; она поведала о том, как застала мужа с другой женщиной, когда внезапно отменила свой визит к родителям.

– Он с ней этим занимался в моей собственной постели! – посетовала она.

Подружки приходили посмотреть, принесла ли Матильде жизнь столько же разочарований, сколько им. Они жаждали убедиться, что ей тоже знакома горечь унылых будней и вынужденного молчания, боль деторождения, близость без ласки.

Однажды днем началась гроза, и молодые женщины пересели поближе к камину. Ирен уже надоели эти нескончаемые вереницы гостей и подчеркнутое кокетство сестры. Но Матильда так горевала, стоя на коленях у могилы отца, что она не посмела лишить ее таких невинных развлечений.

– Расскажи, как тебе живется в Африке. Счастливица! Мы ведь до сих пор на одном месте сидим и отсюда ни ногой.

– Знаете, это не такая экзотика, как кажется, – жеманно протянула Матильда. – Поначалу, конечно, возникает впечатление, будто ты приземлилась на другой планете, но очень скоро приходится вспомнить о повседневных обязанностях, а они везде одинаковые.

Она замолчала, чтобы ее умоляли продолжать, с удовольствием отмечая, что глаза этих домохозяек, выглядевших старше ее, горели нетерпением. И Матильда начала лгать. Она лгала о своей жизни, о характере мужа, противореча сама себе, то и дело громко смеясь. Она все время повторяла, что ее муж человек современный, что он

гениальный агроном, что он железной рукой управляет своим обширным поместьем. Она рассказывала о «своих» больных, описывала свою амбулаторию, где она творила чудеса, скрыв от слушательниц, что ей не хватало знаний и средств.

На следующий день Ирен отвела Матильду в контору отца и протянула ей конверт:

– Вот часть того, что тебе причитается.

Матильда не осмелилась открыть конверт, но почувствовала, насколько солидно его содержимое, и едва сдержала радость.

– Ты же знаешь, что папа вел дела не особенно осторожно. Открыв его бухгалтерские книги, я обнаружила некоторые несоответствия. Через несколько дней мы пойдем к нотариусу, он выяснит, что к чему, и ты сможешь уехать, имея обо всем полное представление.

Матильда пробыла в Эльзасе уже почти три недели, и Ирен все чаще и чаще заговаривала об ее отъезде. Спрашивала, забронировала ли она билет, получила ли письмо от мужа, который, наверное, ждет ее с нетерпением. Но Матильда ничего не хотела слышать и старательно отгоняла от себя мысль о том, что ее жизнь не здесь, а в другом месте, и что ее там ждут.

Она вышла из отцовской конторы с конвертом в руке и сказала сестре, что поедет в город:

– Перед отъездом мне нужно сделать кое-какие покупки.

Матильда устремилась на торговую улицу, словно в объятия мужчины. Она дрожала от возбуждения, и ей пришлось сделать два глубоких вдоха, прежде чем войти в модный магазин, владельца которого звали Огюст. Она померила два платья, одно черное, другое лиловое, и долго не могла решить, какое взять. Купила лиловое, но вышла из магазина в мрачном настроении, расстроенная тем, что пришлось выбирать, и сожалея, что не остановилась на черном, поскольку оно ее стройнило. По дороге домой она махала сумкой с покупками, словно маленькая девочка, которая возвращается из школы и мечтает выбросить тетрадки в канаву. В витрине самого стильного в городе шляпника она заметила шляпу из итальянской соломы с широкими мягкими полями, отделанную красной лентой. Матильда поднялась по ступенькам, ведущим к входу, и продавец открыл ей дверь. Это был пожилой жеманный мужчина, скорее всего педераст,

решила Матильда. Интерьер магазина показался ей унылым и непривлекательным.

– Что вам угодно, мадемуазель?

Она молча указала пальцем на ту самую шляпу.

– Превосходно!

Он скользнул по паркету и неторопливо отцепил шляпу от стойки в витрине. Матильда ее примерила и, увидев свое отражение в зеркале, вздрогнула. Она выглядела как женщина, как настоящая женщина, как утонченная парижанка из состоятельной буржуазной семьи. Она подумала о сестре, которая говорила, что у тщеславных женщин дьявол стоит за спиной и что любоваться собой в зеркале – это дурно. Продавец вяло сделал ей комплимент, потом ему, видимо, наскучило ждать, а Матильда снова и снова поправляла шляпу, сдвигая ее то вправо, то влево. Она несколько минут разглядывала этикетку, где была указана цена, погружившись в глубокие мучительные раздумья. В магазин вошел покупатель, и продавец раздраженно потянулся за шляпой, чтобы ее забрать.

Покупатель подошел к Матильде и произнес:

– Восхитительно.

Она покраснела, сняла шляпу и медленно опустила ее на грудь, не догадываясь, какая чувственность скрыта в этом движении.

– Мадемуазель, вы ведь не местная, правда? Я бы поклялся, что вы артистка. Скажите, я прав?

– Вы совершенно правы, – ответила она. – Я работаю в театре. Только что получила ангажемент на новый сезон.

Она подошла к кассе и вытащила из сумочки конверт с деньгами. Пока продавец с невероятной медлительностью упаковывал шляпу, Матильда отвечала на вопросы молодого человека. Он был одет в элегантный плащ и фетровую шляпу болотного цвета, слегка надвинутую на лоб. Со смешанным чувством стыда и возбуждения она нанизывала одну ложь на другую. Продавец прошел через весь магазин и у стеклянной двери протянул Матильде пакет. Мужчине в плаще, который предложил ей встретиться, она ответила:

– К сожалению, я очень занята на репетициях. Как-нибудь вечером вы сможете увидеть меня на сцене.

Подходя к дому, она почувствовала неловкость оттого, что в руках у нее столько пакетов и свертков. Она пробежала через гостиную и, счастливая, раскрасневшаяся, закрылась у себя в комнате. Приняла ванну и перетащила граммофон, прежде стоявший в конторе отца, поближе к своей кровати. В тот день она была приглашена на вечеринку и стала собираться, слушая старую немецкую песенку, которую очень любил Жорж. На вечеринке гости расхвалили ее лиловое платье, а мужчины, улыбаясь, оценили переливчатые шелковые чулки. Она пила игристое вино, такое сухое, что спустя час у нее во рту не осталось ни капли слюны, и ей пришлось пить еще и еще, чтобы продолжать рассказывать. Все спрашивали ее о жизни в Африке, об Алжире, с которым все вечно путали Марокко.

– Значит, вы говорите по-арабски? – поинтересовался симпатичный молодой человек.

Она выпила залпом предложенный ей бокал красного вина и под гром аплодисментов сказала фразу на арабском.

Матильда возвращалась домой, получая удовольствие от одинокой прогулки по улицам, без провожатого и без свидетелей. Она слегка пошатывалась и мурлыкала игривый мотивчик, который ее смешил. На цыпочках поднялась по лестнице и растянулась на кровати прямо в платье и чулках. Она была счастлива, оттого что напилась, оттого что была одна, счастлива оттого, что могла сама решать, как жить, и никто ей не перечил. Она перевернулась, уткнулась лицом в подушку, стараясь унять неожиданно подступившую тошноту. Внутри нее зрело рыдание, рыдание, порожденное этой самой нахлынувшей радостью. Она расплакалась, оттого что была счастлива без них. Закрыв глаза, прижавшись носом к подушке, она позволила всплыть на поверхность сознания постыдной сокровенной мысли, угнездившейся в ней за последние дни. Ирен о ней наверняка догадывалась, чем и объяснялся ее встревоженный вид. В тот вечер, слушая, как ветер шуршит тополиными листьями, Матильда подумала: «Я остаюсь здесь». Да, она подумала, что сможет остаться, сможет – пусть у нее и не хватит духу произнести это вслух – бросить своих детей. От этой жестокой мысли ей захотелось кричать, и пришлось зажать в зубах складку одеяла. Но мысль никуда не делась. Наоборот, в голове начал складываться все более конкретный план. Новая жизнь казалась ей вполне возможной, и она уже прикидывала все ее преимущества.

Конечно, есть Аиша и Селим. Есть тело Амина и бесконечное синее небо ее новой родины. Но расстояние и время притупят боль. Дети ее возненавидят, они будут страдать, но, скорее всего, постепенно ее забудут, и все они обретут счастье, каждый на своем берегу Средиземного моря. Не исключено, что однажды у них возникнет впечатление, будто они никогда и не встречались, их судьбы никогда не пересекались и они всегда были чужими друг другу. Нет такой трагедии, от которой невозможно оправиться, подумала Матильда, нет такого бедствия, на руинах которого нельзя построить новое здание.

Ее, конечно, будут осуждать. Ей будут тыкать в лицо всеми ее красивыми историями о тамошней жизни: «Если ты так счастлива, что же не едешь обратно?» Между прочим, она почувствовала, что соседями уже овладело нетерпение; ей пора было уезжать домой, чтобы их унылая и размеренная повседневная жизнь вернулась в привычное русло. Злясь на себя саму, на свою судьбу, на весь мир, Матильда подумала, что ей непременно надо отсюда уехать, отправиться в Страсбург или Париж, где никто ее не знает. Она сможет снова заняться своим образованием, стать врачом, даже хирургом. Она громоздила один невероятный план на другой, и от них у нее сводило живот. Она, естественно, имеет право думать о себе, делать все ради своего блага. Она села на кровати, ее тошнило, она была пьяна. Кровь стучала в висках и мешала думать. Может, она сошла с ума? Может, она из тех женщин, что от природы лишены материнского инстинкта? Она закрыла глаза и легла. Медленное погружение в сон сопровождалось смутными видениями. В ту ночь она видела во сне Мекнес и поля, раскинувшиеся вокруг фермы. Она видела коров с грустными глазами и впалыми боками и прекрасных белых птиц, склевывающих с них насекомых-паразитов. Сон превратился в кошмар, в него врывалось душераздирающее мычание. Крестьяне, такие же тощие, как их скот, обрушивали палки на головы коров, жующих сорную траву. Присев на корточки, они хватали моток веревки и связывали задние ноги животных, чтобы те не убежали.

На следующее утро она проснулась в платье, чулки сползли до щиколоток. Голова у нее болела так, что за завтраком ей трудно было держать глаза открытыми. Ирен медленно пила чай, понемножку откусывая хлеб, намазанный вареньем, и стараясь не испачкать газету.

С тех пор как сестра уехала в Марокко, Ирен увлеклась изучением ситуации в колониях. Когда Матильда вошла в столовую, Ирен как раз вырезала из газеты статью о стычках в деревнях, о переговорах султана с французским генерал-резидентом.

– Наверное, все обойдется. Я не знаю, – заметила Матильда, пожав плечами.

Ей совершенно не хотелось поддерживать беседу. Горло ей то и дело обжигал комок желчи, и ей приходилось глубоко дышать, чтобы сдерживать рвоту.

С тех пор как Матильда приехала, они с Ирен ни разу не поссорились. Первые несколько дней Матильда опасалась, как бы кто-то из них не произнес лишнего слова, как бы все не испортить, как бы не выплыли на поверхность старые раздоры. Однако между сестрами установилось неожиданное согласие. В детстве обе боролись за родительскую любовь, а потому о нежном отношении друг к другу не могло быть и речи. Нынче они остались одни на всем белом свете, и только им суждено было хранить воспоминания об ушедших. Разлука и возраст приблизили их к сути вещей, отсеяв досадные мелочи.

Матильда растянулась на софе в гостиной и продремала весь остаток дня. Ирен устроилась рядом с ней, укрыла ее голые ноги и выпроводила назойливых посетителей. Когда Матильда проснулась, было уже темно. В камине горел огонь, Ирен вязала. Матильда почувствовала, что ей тоскливо, что она еле жива. Она вспомнила о том, как вела себя накануне, на вечеринке, и решила, что была смешна. Ирен, вероятно, подумала, что она словно дитя малое. Матильда села и вытянула ноги к огню. У нее возникло неодолимое желание выговориться. Здесь ее убежище, здесь она найдет утешение. В этой комнате, где в тишине лишь постукивали спицы да трещали дрова в камине, она описала сестре характер своего мужа. Его взрывы гнева. Она не сказала ничего конкретного, ничего такого, что могло бы показаться ложью или преувеличением. Сказала ровно столько, сколько необходимо, и не сомневалась, что Ирен все поняла. Она говорила о том, в какой дали расположена их ферма, как ей невыносимо страшно в ночной темноте, когда вокруг ни звука, только тоскливо воют шакалы. Она попыталась объяснить Ирен, что значит жить в мире, где тебе нет места, в мире, где все подчинено несправедливым, возмутительным правилам, где не принято, чтобы

мужчины в чем-то отчитывались, где нельзя даже плакать, если тебя оскорбили. Она начала всхлипывать, рассказывая о том, как долго тянутся дни, как мучительно одиночество, как она скучала по дому, по своему детству. Она даже не представляла себе, что такое жизнь на чужбине. Матильда поджала ноги и повернулась к сестре, пристально смотревшей на огонь. Матильда не боялась, она верила, что благодаря ее искренности все разрешится. Она не стыдилась своих слез, текущих по щекам, своей несвязной речи. Теперь ей не хотелось играть роль, она согласилась быть такой, какая она есть, – женщиной, постаревшей от неудач и разочарований, женщиной без гордости. Она все рассказала и повернулась лицом к Ирен, которая сидела неподвижно.

– Ты сделала выбор. Надо его принять. Ты же знаешь, у всех жизнь непростая.

Матильда опустила голову. А она, глупая, надеялась на сочувственный взгляд. Как же ей стало стыдно, что она на секунду поверила, будто сестра ее поймет и утешит. Матильда не знала, как реагировать на такое равнодушие. Лучше бы сестра над ней посмеялась, лучше бы рассердилась, лучше бы сказала: «Я же тебе говорила». Она не удивилась бы, если бы Ирен обвинила во всех ее несчастьях арабов, мусульман, мужчин. Но от такой черствости Матильда вся похолодела и замолчала. Внезапно у нее возникла уверенность, что Ирен приготовила эту фразу заранее, уже давно, что она ее повторяла так и этак и с нетерпением ждала случая бросить эти слова сестре в лицо. Ведь достаточно было сущего пустяка, чтобы Матильда больше отсюда не уехала. Чтобы она отказалась от сумасшедшей идеи быть иностранкой, жить в чужом краю, страдать от бесконечного одиночества. Ирен встала, не взглянув на сестру. Не протянула ей руку. Матильда могла тонуть и дальше. Остановившись у лестницы на второй этаж, Ирен сказала:

– Пойдем спать. Завтра у нас встреча с нотариусом.

* * *

Они вышли из дому сразу после завтрака. Сев в машину, Матильда заметила на губах Ирен несколько прилипших крошек. В нотариальную контору на втором этаже солидного здания они прибыли раньше назначенного времени. Молодая женщина впустила их и проводила в холодную гостиную. Они не снимали пальто и не

разговаривали. Они снова стали чужими. Когда дверь открылась, обе одновременно повернули головы, и Матильда вскрикнула, не сумев сдержаться. Перед ней стоял молодой человек – клиент шляпного магазина. Человек в фетровой шляпе. Она протянула ему вспотевшую руку и умоляюще посмотрела на него. Ирен ничего не заподозрила и взяла инициативу в свои руки:

– Здравствуйте, мэтр.

Он пропустил их вперед и указал два стула перед своим массивным деревянным столом. Молодой человек сменил старика нотариуса, которого Матильда знала всю жизнь и который умер от пьянства. Он улыбался, как опытный шантажист перед беспомощной жертвой.

– Итак, мадам, как вам живется в Марокко? – спросил он.

– Очень хорошо, благодарю вас.

Она кивнула, избегая смотреть на молодого нотариуса, и тот пригнулся к столу, словно кот, готовый броситься на свою жертву. Он покопался в папке, вытащил документ и снова повернулся к Матильде:

– Скажите, в том городе, где вы живете, театры имеются?

– Разумеется, – ледяным тоном ответила она. – Но мы с мужем много работаем. Мне есть чем заняться, кроме развлечений.

Часть VI

Второго ноября Матильда вернулась. В тот день Аише позволили не ходить в школу, и она ждала мать на дороге, сидя на деревянном ящике. Увидев приближающуюся машину отца, она поднялась и замахала руками. Цветы, собранные утром, уже завяли, и она раздумала их дарить. Амин затормозил в нескольких метрах от ворот, и Матильда вышла из машины. На ней было новое пальто, элегантные туфли из коричневой кожи и соломенная шляпка не по сезону. Аиша залюбовалась ею, сердце ее готово было выскочить из груди от любви. Ее мать была воином, вернувшимся с фронта, раненым воином-победителем, скрывавшим свои секреты под медалями. Она прижала к себе дочь, уткнулась носом в ее шею, запустила пальцы в курчавую шевелюру. Аиша показалась ей такой легкой, такой хрупкой, что она испугалась: а вдруг, обнимая ее, она сломает ей ребро?

Они пошли к дому, держась за руки, и тут появился Селим на руках у Тамо. За этот месяц он сильно изменился, Матильда заметила, что он растолстел, наверняка из-за жирной пищи, которую готовила служанка. Но в этот день ничто не могло ее расстроить или рассердить. Она была спокойна и безмятежна, потому что решила принять свою судьбу, смириться с ней и попытаться что-то с ней сделать. Пока она входила в дом, пересекала залитую зимним солнцем гостиную, пока в ее комнату вносили чемодан, она думала о том, что сомнение – вещь вредная, что выбор порождает страдания и разъедает душу. Теперь, когда она приняла решение, когда у нее не было пути назад, она чувствовала себя сильной. Она черпала силу в своей несвободе. Ей, вдохновенной лгунье, актрисе воображаемого театра, пришла на память строфа из «Андромахи», которую она учила в школе: «Вслепую предаюсь судьбе, меня ведущей»^[20].

Дети не отходили от нее весь день. Они висели у нее на ногах, и она делала вид, будто шагает, несмотря на груз, давящий на икры. Она торжественно, словно сундук с сокровищами, открыла чемодан и начала доставать оттуда плюшевые игрушки, детские книжки, конфеты с малиной, обсыпанные сахарной пудрой. В Эльзасе она отказалась от собственного детства, она его упаковала и завязала веревкой, скрепила

печатью молчания и спрятала на дно ящика. Отныне и речи быть не могло об ее детстве, ее наивных мечтах, капризах. Матильда прижала своих детей к груди, подняла обоих сразу, повалилась с ними на кровать. Она принялась горячо их целовать, и в поцелуях, которыми она их осыпала, проявлялась не только безграничная любовь, но и вся глубина ее сожалений. Она любила их еще сильнее, оттого что ради них от всего отказалась. От счастья, от страсти, от свободы. Она думала: «Я ненавижу себя за то, что связана по рукам и ногам. Я ненавижу себя за то, что предпочла вас всему на свете». Она посадила Аишу себе на колени и стала читать ей разные истории. «Еще, еще», – настойчиво просила дочь, и Матильда снова начинала читать. Она привезла целый чемодан книг, Аиша благоговейно гладила переплеты и только потом заглядывала внутрь. Среди прочего там был «Штрувельпетер»^[21], который особенно заинтересовал Аишу, хотя ее пугали его всклокоченные волосы и длиннющие ногти.

– Он на тебя похож, – заявил Селим, и она расплакалась.

* * *

Шестнадцатого ноября 1954 года Аише исполнилось семь лет. По этому случаю Матильда решила устроить на ферме настоящий детский праздник. Она сама сделала очаровательные пригласительные билеты, в которые вложила листок бумаги, чтобы родители могли письменно подтвердить, что их чадо прибудет на праздник. Каждый вечер она спрашивала у Аиши, дали ли ответ ее подружки.

– Женестьева не придет. Родители запрещают ей ехать в деревню. Говорят, там она подцепит вшей и у нее будет понос.

Матильда пожала плечами:

– Женестьева дурочка, а ее родители слабоумные. Не переживай, обойдемся без нее.

Всю неделю Матильда говорила только о празднике. Утром в машине она описывала, какой торт закажет у самого шикарного кондитера в городе, какие гирлянды вырежет из жатой бумаги, каким играм из своего детства их научит, и они им очень понравятся. У нее был такой счастливый, такой возбужденный вид, что Аише не хватило духу сказать ей правду. В начальной школе, где она была самой младшей, девочки дергали ее за волосы, толкали на лестнице. Они ее ненавидели в особенности за то, что она была лучшей ученицей в

классе и ей доставались все награды за успехи в латинском языке, математике, орфографии. Девчонки говорили: «Хорошо хоть ты умная. Потому что ты такая страшная, что тебя никто замуж не возьмет». В часовне, стоя на коленях рядом с Монетт, Аиша погружалась в греховные молитвы, обращаясь к Господу с исполненными ненависти просьбами. Она хотела, чтобы девочки умерли. Она мечтала о том, чтобы они задохнулись, заразились неизлечимыми болезнями, чтобы упали с дерева и переломали ноги. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Но она не позволяла себе совершить глупость, осуществить месть, о которой грезила. Она сдерживала ревность по отношению к Селиму и сжимала руки в кулаки, если ее одолевало желание больно ущипнуть за спину малыша, с которого мать глаз не сводила, нежно на него глядя, и это больно ранило девочку. С тех пор как Матильда вернулась, Аиша несколько раз слышала, как отец жалуется на бесконечные поездки в школу и обратно. «Никакого здоровья не хватит. И для детей утомительно», – говорил он. С тех пор Аиша старалась быть как можно более незаметной, едва ли не прозрачной, так как постоянно боялась, что родители отправят ее в интернат и она сможет видеть мать только по субботам и воскресеньям, как большинство девочек из пансиона.

* * *

Наступил день рождения Аиши. Это было пасмурное, дождливое воскресенье. Проснувшись, Аиша вскочила на ноги на кровати и стала смотреть, как за окном дрожат от ветра ветки миндаля. Небо выглядело унылым и помятым, словно простыня после ночных кошмаров. Мимо дома прошел мужчина в коричневой джеллабе из грубой шерсти и в капюшоне, и Аиша услышала, как под ногами у него чавкает грязь. К полудню ветер утих, дождь закончился, но небо было по-прежнему задернуто облаками, и в воздухе как будто чувствовалось беспокойство. «Что за несправедливость, – думала Матильда. – В этой стране, где всегда такая невыносимо ясная погода, сегодня солнце не соизволило нам показаться».

Амину предстояло съездить в город, сначала к кондитеру за заказанным тортом, потом в интернат за тремя девочками, которые не уехали домой на выходные и поэтому приняли приглашение Аиши. Амин задерживался. Ему дважды приходилось останавливаться на

обочине и переждать сильный дождь, потому что дворники работали плохо и он ничего не видел. У кондитера ему тоже пришлось ждать. Произошла какая-то путаница, и их торт отдали другому клиенту.

– Клубники больше нет, – сообщила продавщица.

– Все равно. Мне просто нужен торт, – ответил Амин, пожав плечами.

На ферме Матильда не находила себе места от нетерпения. Она украсила гостиную, расставила на обеденном столе тарелки со сценками эльзасской жизни. Она бродила по дому, нервная, раздраженная, прокручивая в голове самые страшные сюжеты. Аиша сидела не шевелясь. Прижавшись носом к стеклу широкого окна, она пристально смотрела в небо, как будто надеялась силой воли разогнать тучи и заставить солнце светить. Что они станут делать в этом пыльном доме? В какие игры они смогут играть в четырех стенах? Вот если бы они могли побегать по траве и она показала девочкам свои потайные места на деревьях, познакомила с осликом в стойле, слишком старым, чтобы работать, и со стаей кошек, которых приручила Матильда. «Господи, дай мне сил, Ты ведь сама любовь».

Наконец прибыл Амин, промокший до нитки, неся в руках коробку с тортом, покрытую пятнами крема. За ним плелись Монетт и еще три девочки с испуганными лицами.

– Аиша, поздоровайся со своими подружками! – велела Матильда, подталкивая дочь в спину.

Аише хотелось провалиться сквозь землю. Она отдала бы что угодно, лишь бы этих девочек отвезли туда, откуда привезли, и оставили ее в покое, в безопасности. Однако Матильда, как ненормальная, стала петь песни, а Сельма – хлопать в ладоши. Девочки начали подпевать, они путали слова и смеялись. Аише завязали глаза и несколько раз повернули вокруг себя. Ничего не видя, вытянув вперед руки, она пыталась идти, ориентируясь на приглушенное хихиканье девчонок. В семь часов вечера свет померк, и Матильда воскликнула:

– Думаю, пора!

Она побежала на кухню, оставив в гостиной детей, которым не о чем было говорить друг с другом. Когда она открыла коробку, то едва не расплакалась. Это был не тот торт, что она заказала. Ее руки дрожали от бешенства, она переложила торт на блюдо, и Аиша

услышала голос матери. Она пела: «С днем рождения... С днем рождения...» Забравшись на стул и встав на колени, Аиша наклонилась над тортом и приготовилась задуть свечки, но мать остановила ее:

– Ты должна загадать желание и никому его не говорить.

Зажгли свет. Жинетт, у которой все время текло из носа, захныкала. Ей было страшно здесь, она хотела вернуться в интернат. Матильда наклонилась к ней, успокоила как могла, хотя единственное, чего она хотела, – это хорошенько встряхнуть маленькую недотепу, сказать ей, что нельзя быть такой эгоисткой. Разве она не понимает, что сегодня не она в центре внимания? Но у остальных девочек, за исключением Монетт, тоже изменилось настроение.

– Мы тоже хотим вернуться в школу. Скажи своему водителю, чтобы отвез нас.

– Водителю?

Матильде вспомнилось мрачное лицо Амина, когда он грубо швырнул коробку с тортом на кухонный стол. Дети приняли его за шофера, и он не стал их разубеждать.

Матильда рассмеялась и собиралась уже прояснить ситуацию, но Аиша воскликнула:

– Да, мама, не мог бы водитель их отвезти?

Аиша не отрываясь смотрела на мать: таким же мрачным взглядом она смотрела, когда бывала наказана и, казалось, ненавидела весь мир. У Матильды сжалось сердце, и она кивнула. Девочки шли за ней, как утята за мамой-уткой, до самого кабинета, где Амин сидел запершись. Он провел там весь день, пылая гневом и успокаивая себя тем, что курил сигарету за сигаретой и вырезал статьи из журнала. Девочки вяло попрощались с Аишей и забрались на заднее сиденье машины.

Амин ехал медленно из-за дождя, который зарядил с новой силой. Девочки уснули, прижавшись друг к другу, Жинетт захрапела. Амин подумал: «Это всего лишь дети. Нужно их простить».

* * *

Спустя несколько дней, в четверг, Матильда отвезла детей в фотостудию на улице Лафайета. Фотограф усадил их на скамеечку на фоне панно, изображавшего собор Парижской Богоматери. Селим все время ерзал, и Матильда на него сердилась. Прежде чем фотограф

настроил камеру, она поправила Аише прическу и положила руку на воротник ее белого платья.

– Вот так, теперь не шевелитесь.

На оборотной стороне снимка Матильда указала дату и место. Она положила его в конверт и написала Ирен:

Аиша – лучшая ученица в классе, Селим схватывает все на лету. Вчера ей исполнилось семь лет. Они – мое счастье, моя радость. Они отомстят за меня тем, кто нас унижает.

* * *

Однажды вечером, когда они заканчивали ужинать, у них на пороге появился незнакомый мужчина. В темной прихожей Амин не сразу узнал своего фронтового товарища. Мурад промок под дождем, он дрожал от холода в своей сырой одежде. Одной рукой он запахивал полы пальто, другой отряхивал фуражку, с которой текла вода. Мурад растерял все зубы, и при разговоре у него западали щеки, как у старика. Амин втащил его в дом и обнял так крепко, что почувствовал на ощупь каждое ребро старого приятеля. Он смеялся и не обращал внимания на то, что сам весь промок.

– Матильда! Матильда! – закричал он, ведя упирающегося Мурада в гостиную.

Матильда вскрикнула. Она прекрасно помнила ординарца своего мужа, скромного и тактичного молодого человека, к которому сразу же испытала дружеские чувства, хотя никогда их не выказывала.

– Матильда, ему надо переодеться, он промок до нитки. Пойди принеси ему вещи.

Мурад запротестовал, он поднял руки к лицу и нервно ими замахал: нет, никогда он не наденет рубашку своего командира, не возьмет у него носки и тем более нательное белье. Никогда он на такое не решится, это будет неприлично.

– Да брось ты! – воскликнул Амин. – Война окончена.

Эти слова задели Мурада. В его голове словно прозвучал сигнал тревоги, ему стало не по себе и показалось, что Амин сказал так нарочно, чтобы уколоть его.

Мурад разделся в ванной комнате, где стены были облицованы голубым кафелем. Он старался не смотреть на свое тощее отражение в

большом зеркале. Какой смысл смотреть на это тело, измученное голодным детством, войной, скитанием по чужим дорогам? На краю раковины Матильда оставила для него чистое полотенце и мыло в форме ракушки. Он вымыл подмышки, шею, руки до локтей. Снял ботинки и опустил ноги в таз с холодной водой. Потом скрепя сердце натянул одежду своего командира.

Он закрыл за собой дверь ванной и пошел по коридору незнакомого дома на звук голосов. Детский голосок спрашивал: «Это человек – он кто?» – и требовал: «Расскажи еще про войну!» Матильда умоляющим голосом просила открыть окно, потому что плита опять дымит. Наконец раздался встревоженный голос Амина: «Что он там делает? Как ты думаешь, может, пойти посмотреть, все ли с ним в порядке?» Прежде чем войти в кухню, Мурад остановился в проеме двери, чтобы рассмотреть маленькое семейство. Его тело медленно отогревалось. Он закрыл глаза и втянул запах подгоревшего кофе. Он вдруг ощутил блаженство, вызвавшее легкое головокружение. Это было как рыдание, которое хочешь сдержать, но не можешь. Он схватился рукой за горло и широко открыл глаза, чтобы избавиться от соленого вкуса, заполнившего рот. Амин сидел напротив своего растрепанного ребенка. Мурад подумал, что уже тысячу лет не видел ничего подобного. Не видел, как хлопочет на кухне женщина, как вертится ребенок и всех их окружает нежность. Он сказал себе, что, возможно, его скитания наконец завершились. Что он причалил в правильном порту и здесь, в стенах этого дома, он избавится от кошмаров прошлого.

Он вошел, и взрослые воскликнули: «Вот и ты!» – а девочка тем временем внимательно его рассматривала. Они вчетвером уселись вокруг стола, на который Матильда постелила собственноручно вышитую скатерть. Мурад очень медленно пил кофе, глоток за глотком, обхватив ладонями глазурированную керамическую чашку. Амин не спросил ни откуда он пришел, ни чем он занимался. Просто улыбнулся и положил руку ему на плечо, то и дело повторяя: «Какой сюрприз! Какая радость!» Весь вечер они перебирали общие воспоминания, а девочка смотрела на них как зачарованная и умоляла не отправлять ее спать. И тогда они рассказали о том, как в сентябре 1944 года плыли через море на корабле в край цивилизованных и

воинственных людей. Приближаясь к порту Ла-Сьота, они затянули песню, чтобы подбодрить себя.

– Что ты тогда пел, папа? А потом что ты пел? – расспрашивала девочка.

Амин посмеивался над своим ординарцем, рядовым спаги: Мурад всему удивлялся, постоянно дергал его за рукав и шепотом задавал вопросы. «У них здесь есть бедняки?» – интересовался он. И с изумлением обнаружил, что на юге Франции на полях работают белые женщины, очень похожие на тех, которые в его стране обращались к нему только в случае крайней необходимости. Мурад любил повторять, что записался в армию ради Франции, чтобы защищать эту страну, и хотя ничего о ней не знал, почему-то именно с ней связывал свои надежды.

– Франция – моя мать. Франция – мой отец.

Однако правда заключалась в том, что у него не было выбора. Однажды в его деревне, в восьмидесяти километрах от Мекнеса, появились французы, собрали всех мужчин, отделили стариков, мальчишек и больных. Остальным указали на кузов грузовика: «В тюрьму или на фронт». И Мурад выбрал фронт. Ему не приходило в голову, что тюремная камера гораздо удобнее и безопаснее, чем заснеженные поля сражений. Впрочем, его убедил не шантаж. Не страх перед заключением или позором. И даже не денежное вознаграждение за поступление на военную службу и не жалованье, которое он отправлял домой и за которое мать была ему так благодарна. Позднее, когда его зачислили в полк спаги, где Амин был младшим офицером, он понял, что поступил правильно. Что произошло нечто очень важное, что он придал своей жизни, убогой жизни крестьянина, нежданное величие, необыкновенный размах, коего, наверное, был недостоин. Порой Мурад уже не мог понять, за Амина или за Францию он готов умереть.

Когда Мурад снова и снова думал о войне, его обжигало воспоминание о тишине. Грохот взрывов, свист пуль и крики постепенно стерлись из памяти, остались только годы молчания, когда мужчины изредка перебрасывались всего лишь парой слов. Амин советовал ему опускать глаза, стараться быть незаметным. Нужно было воевать, победить и вернуться домой. Не издавать ни звука. Не задавать вопросов. Из порта Ла-Сьота они направились на северо-

восток, где их встретили как освободителей. Мужчины угощали их лучшим вином, женщины махали флажками: «Да здравствует Франция! Да здравствует Франция!» Как-то раз один малыш показал на Амина и произнес: «Негр».

Когда Амин впервые встретил Матильду осенью 1944 года, Мурад при этом присутствовал. Их полк был расквартирован в деревушке в нескольких километрах от Мюлуза. В тот же вечер она пригласила их поужинать у нее дома. Заранее извинилась: «Сами понимаете, карточки», – объяснила она, и они понимающе закивали. Когда настал вечер, их провели в гостиную, где было полно народа: деревенские жители, другие солдаты, старики, на вид уже под хмельком. Они расположились вокруг длинного деревянного стола, Матильда села напротив Амина и стала пожирать его взглядом. Ей казалось, что этот офицер послан ей самим небом. Что это ответ на ее молитвы, ведь она проклинала не столько войну, сколько отсутствие приключений. Ведь она уже четыре года жила словно в темной норе, без новых нарядов, без новых книг. Ей исполнилось девятнадцать, она желала всего, а война все у нее отняла.

Отец Матильды вошел в гостиную, напевая игривую песенку, и все ее подхватили. Только Амин и Мурад молчали. Они внимательно смотрели на этого великана с огромным животом и, несмотря на возраст, черными как уголь усами. Все сели ужинать. Мурада несколько раз подвинули и вплотную прижали к Амину. Какой-то мужчина сел за пианино, и гости дружно запели песню. Потом все попросили еды. Женщины с красными прожилками на щеках поставили на стол большие тарелки с колбасами и капустой. Разнесли гостям кружки пива, а отец Матильды зычным голосом предложил выпить шнапса. Матильда подвинула блюдо поближе к Амину. Они же воины Освобождения, им первым и нужно подавать угощение. Амин воткнул вилку в колбасу, сказал «спасибо» и начал есть.

Мурад сидел рядом и дрожал. Он был бледен как привидение, по затылку струился пот. Этот шум, эти женщины, эта неприличная манера петь выбили его из колеи и напомнили Бусбир^[22] в Касабланке, куда однажды его затащили французские солдаты. С тех пор у него из головы не выходили хохот этих мужчин и их грубое поведение. Они засунули пальцы в вагину девушки, которая была не старше его сестры. Они таскали проституток за волосы, сосали их грудь, но не со

сладострастием, а так, как будто это коровье вымя, которое надо опустошить. У девушек все тело было покрыто фиолетовыми пятнами от засосов и царапин.

Мурад прижался к своему командиру. Он потянул его за рукав, и Амин рассердился.

– Что тебе? – спросил он по-арабски. – Не видишь, я разговариваю? Но Мурад не отставал. Он в испуге уставился на Амина.

– А это разве не свинина? – спросил он, указывая на блюда. Потом поднял брови и выразительно поглядел на стаканы: – А вот это? Это ведь спиртное, правда?

Амин посмотрел на него и почти беззвучно проговорил:

– Ешь и молчи.

Потом, когда они шагали по темным улицам деревни туда, где их ждал ночлег, Амин спросил его:

– Ну и что нам за это будет? Чего ты испугался? Что попадешь в ад? Мы там уже были и вернулись оттуда.

Жарко натопленная комната, полная тарелка еды, улыбка девушки – не об этом ли они мечтали, когда в мае сорокового года шли под конвоем солдат СС, попав в плен после сражения в районе Ла-Орнь? Они шагали не один день, и Мурад умолял Амина, чтобы тот позволил ему нести свой вещмешок. Какое они имели отношение ко всему этому? Они только хотели работать на маленькой ферме на далеком холме. У них не было врагов, которых они не знали бы по именам, а там, столкнувшись лицом к лицу с людьми гигантского роста, людьми, говорившими на незнакомом языке, они побросали оружие и построились в ряд. Однажды ночью они остановились на краю поля и в густой ночной темноте стали ковырять прихваченную заморозком землю. Они в полном молчании выкапывали крошечные, едва сформировавшиеся клубни картофеля и ели их, стараясь жевать как можно тише. В ту ночь у всех началась рвота, некоторые мучились поносом. Когда рассвело и настало время трогаться в путь, они бросили последний взгляд на поле. Оно было изрыто узкими бороздами ярости, как будто его вскопали острыми когтями мелкие зверьки. Потом их посадили на поезд и отвезли в лагерь для военнопленных близ Дортмунда.

– Расскажи о лагере! – потребовала Аиша, у которой уже слипались глаза.

– И о лагере расскажем, но потом, – пообещал Амин, утомленный воспоминаниями.

Амин отвел Мурада в дальний конец коридора и открыл дверь в маленькую комнату, стены которой были обиты тканью с цветочным рисунком. Мурад не осмелился туда войти, его смутила нежность этой женской комнаты. На тумбочке у кровати стоял стеклянный графин с изображением букета фиалок. Матильда сшила занавески из шуршащей ткани и разложила на кровати целую кучу ярких подушек. Мурад, настроившийся спать на скамье или же прямо на полу в кухне, был озадачен.

– Ты можешь оставаться у нас, сколько пожелаешь, – успокоил его Амин. – Хорошо, что ты приехал.

Мурад разделся и лег на чистые простыни. Вокруг было тихо и спокойно, но он не мог уснуть. Он открыл окно, сбросил на пол одеяло, но ничто не могло унять его тоску. Он впал в такую панику, что уже приготовился встать, надеть мокрую одежду и уйти в ночь. Эта тихая радость, эта безмятежность, это человеческое тепло – они были не для него. Он не имел права, подумал он, приносить сюда свои грехи, омрачать жизнь этих людей своими тайнами. Лежа в кровати, Мурад устыдился того, что не все им рассказал. Он подумал, что, когда Амин узнает правду, он выгонит его, грубо обругает и обвинит в том, что он злоупотребил его добротой.

Мурад с удовольствием положил бы ладонь на руку Амина и, если бы осмелился, прижался бы щекой к плечу своего командира, вдохнул его запах. Он хотел бы, чтобы объятие на пороге комнаты длилось целую вечность. Он проявлял лицемерную радость, общаясь с Матильдой и ребенком, а сам предпочитал бы, чтобы их здесь не было, чтобы никто не стоял между ним и его командиром. Только недавно он с чувственным наслаждением натянул кальсоны и нательную сорочку Амина и теперь в этом раскаивался. Как ему было стыдно! Глаза его наполнились слезами, оттого что он чувствовал свой разгоряченный член, живот, судорожно сжимавшийся от желания. Он попытался изгнать эти картины из своего воображения. Впился зубами в руку, словно больной, измученный физическими страданиями. Не нужно об этом думать, как не нужно думать о мертвецах, о развороченных телах, гниющих в грязных лужах, о проклятом муссоне, сводившем с ума его товарищей в Индокитае, о застывших подтеках черной крови тех, кто

предпочел убить себя, лишь бы не идти снова в бой. Не нужно думать ни о войне, ни о безумном, лихорадочном, неотступном желании искать нежности у Амина.

Однако он пришел именно сюда и теперь не мог решиться покинуть этот дом. Правда была в том, что его дезертирство имело единственную цель, оно вело только к одному. Ночи напролет, пока он шагал вперед либо прятался в вагонах для скота, на чердаках или в подвалах, все дни, когда он, изнемогая от усталости, засыпал на вокзалах, позабыв, что следует бояться, перед ним стояло лицо Амина. Он думал об улыбке командира, кривоватой улыбке, лишь наполовину открывавшей его белоснежные зубы. За эту улыбку он пересек бы не один континент. В то время как другие солдаты носили у сердца фотографии бессмысленных голоногих красоток, драчили, грезя о молочно-белых грудях какой-нибудь шлюхи или далекой невесты, у Мурада была одна мечта – снова встретиться со своим командиром.

Утром Амин ждал его на кухне. Матильда сидела, держа Аишу на коленях, обе были поглощены изучением анатомической таблицы, изображавшей работу почек. Селим, от которого пахло мочой, играл на полу с пустыми кастрюлями.

– О, вот и ты! – воскликнул Амин. – Я размышлял всю ночь, и у меня появилось для тебя предложение. Пойдем со мной, я все расскажу по дороге.

Матильда налила Мураду чашку кофе, он выпил ее залпом. Амин взял куртку, темные очки, поцеловал в плечо Матильду и кончиками пальцев провел по ягодицам жены.

– Ну, идите же наконец! – смеясь, сказала она.

Они пошли к стойлам.

– Хочу тебе показать, чего я добился за каких-нибудь пять лет. Несколько месяцев назад по рекомендации соседки, вдовы Мерсье, я нанял молодого француза присматривать за работниками. Отличный был парень, честный, трудолюбивый, но недавно вернулся во Францию. Здесь много работы и большие возможности. Я хотел бы, чтобы ты мне помог. Если останешься, будешь руководить работниками.

Мурад молча шел рядом, шагая в ногу со своим командиром. Он совершенно не разбирался в сельском хозяйстве, но вырос в деревне, к

тому же считал, что любое поручение Амина должен выполнить обязательно. Амин показал ему плантацию фруктовых деревьев, занимавшую теперь большую часть его владений. Он рассказал Мураду о своем страстном увлечении оливами, благородными растениями, с которыми он много экспериментировал.

– Мне хочется соорудить оранжерею, чтобы выращивать собственные саженцы, увеличить урожайность. Надо будет создать питомник, устроить систему обогрева и увлажнения. А еще мне нужно время, чтобы заниматься своими исследованиями и выведением новых сортов. – Раскрасневшись от возбуждения, Амин сжал руку Мурада. – У меня встреча в Сельскохозяйственной палате. Договорим позже, когда вернусь, ладно?

В тот же вечер Мурад принял предложение Амина и поселился в гараже, стоявшем у подножия огромной пальмы, совсем рядом с домом. По ночам он слышал, как крысы, шурша листьями, карабкаются по плющу, обвивавшему необъятный ствол. Мурад почти ни в чем не нуждался: походная кровать, одеяло, которое он складывал каждое утро с маниакальной аккуратностью, солдатский котелок и большой кувшин воды, чтобы наскоро помыться. Если бы ему велели справлять нужду прямо в поле, это его не удивило бы и не шокировало. Но он пользовался наружным туалетом, устроенным во дворе кухни для служанки Тамо: ей не позволялось писать там же, где писала Матильда. Мурад установил для рабочих армейскую дисциплину. Не прошло и месяца, как они дружно его возненавидели. «Дисциплина в армии – секрет ее победы», – повторял Мурад. Он был хуже некоторых французов, хуже тех, кто запирали плохих работников в тесной каморке или лупил их. Этот парень, жаловались феллахи, хуже, чем иностранец. Он предатель, продажный тип, он из племени работоторговцев, которые строят свои империи на горбу своего народа.

Однажды, когда Мурад с Ашуром проходили мимо хозяйства Мариани, Ашур откашлялся и, набрав побольше слюны, плюнул на землю.

– Будь ты проклят! – прокричал он, вперив взгляд в ограду владения. – Эти поселенцы забрали себе лучшие земли. Они отняли нашу воду и наши деревья.

Мурад его оборвал и с суровым видом произнес:

– А что здесь было до него? Это они бурили землю, чтобы найти воду, они сажали деревья. И жили они в нищете, в глинобитных хижинах, а то и просто под жестяными навесами – разве не так? Знаешь что? Придержи-ка ты язык! Здесь не надо разводить политику. Здесь надо возделывать землю.

Мурад решил проводить утреннюю поверку и упрекнул Амина в том, что тот не контролирует рабочий график:

– Если нет власти, это анархия. Как ты хочешь, чтобы твоя ферма процветала, если ты позволяешь, чтобы они делали, что им вздумается?

Мурад не отходил от своих машин с рассвета до самого вечера и там же обедал. Работники не хотели есть вместе с ним, и он сидел один в тени под деревом и жевал свой кусок хлеба, опустив глаза, чтобы не видеть насмешливых взглядов своих подопечных.

В первые же дни после того, как его наняли, Мурад предпринял попытку разобраться с проблемой воды. Из старого мотора от «пontiака» он сделал насосную станцию и нанял несколько человек для буровых работ. Когда брызнула вода, раздались радостные крики. Люди протянули мозолистые руки, ловя водяную струю, ополоснули обожженные ветром лица и вознести хвалу Всевышнему за его щедрость. Но Мурад не обладал великодушием Аллаха. Он организовал по ночам «водяной обход», чтобы охранять колодцы. Два работника, которым он доверял, с карабином на плече несли караул, сменяя друг друга. Они разводили огонь, чтобы отпугнуть шакалов и собак, и боролись со сном, ожидая, пока их сменят.

Мурад хотел, чтобы Амин был счастлив, чтобы ему было чем гордиться. Он не обращал внимания на ненависть работников и думал только о том, как угодить своему командиру. С каждым днем Амин перекладывал на Мурада все больше дел и посвящал свое время опытам и визитам в банк. Он часто отсутствовал, приводя Мурада в отчаяние. Когда он соглашался на эту работу, то мечтал, что восстановится связь, существовавшая между ними во время войны, что они вместе обретут радость жизни под открытым небом, будут часами вместе бродить, встречать опасность и смеяться, по-мужски смеяться над дурацкими шутками. Он думал, что вернется их прежнее взаимопонимание и, хотя Амин – начальник, а Мурад – подчиненный и

так будет всегда, их снова свяжет крепкая дружба, и ни Матильда, ни работники, ни даже дети не будут иметь к ней никакого отношения.

Когда в середине декабря Амин предложил ему помочь с ремонтом комбайна, Мурада охватила неопишуемая радость. Они провели три дня, закрывшись в ангаре. Амина удивляло воодушевление Мурада, который весело насвистывал, забираясь на гигантскую машину. Во время войны именно он ремонтировал танки. Однажды вечером Амин, лицо которого было испачкано машинным маслом, а руки дрожали от усталости и досады, швырнул об стену инструмент, злясь на себя за то, что потратил столько времени и денег на бесполезный агрегат. Им не хватало нескольких деталей, и ни у одного механика в округе их было не достать.

– Пропади все пропадом! Я иду домой.

Мурад преградил ему путь и комичным зычным голосом велел Амину проявлять стойкость и не унывать. Он заявил, что сумеет сам изготовить недостающие детали, и добавил, что, если понадобится, он готов, ради того чтобы комбайн заработал, отрезать себе ногу или руку. Амина это рассмешило, а в те времена он нечасто смеялся.

Амина радовали результаты деятельности Мурада, но гнетущая атмосфера, установившаяся из-за введенных им армейских порядков, тревожила его. Работники часто на него жаловались. Мурад враждовал с националистами, и его часто видели на дороге с мокаддемом^[23]: они по-дружески беседовали. Мурад хвалился тем, что служит порядку и процветанию. Когда Амин разволновался оттого, что на ферме все чаще разгорались ссоры, и сообщил своему помощнику, что расстраивается, видя по утрам и вечерам угрюмые лица работников, Мурад успокоил его:

– Сейчас не время расслабляться. Молодежь по всей стране устраивает беспорядки, нужно проявлять твердость.

– Он меня угнетает, – однажды призналась Матильда. Ей сделалось невыносимо присутствие Мурада, которого Амин приглашал на все семейные трапезы, даже по воскресеньям. Она сказала, что Мурад с его широкими покатыми плечами, крючковатым, словно клюв, носом и одиноким, как у хищной птицы, образом жизни напоминает ей грифа, и Амин в кои-то веки не нашелся что ей возразить. Мурад использовал

в речи армейские выражения, и Амину часто приходилось журить его за это:

– Не говори такое при детях. Ты же видишь, им страшно.

Для Мурада все так или иначе сводилось к чести и долгу. Во всех историях, что он рассказывал, всегда отводилось место сражениям. Амин очень огорчился оттого, что его ординарец застрял в прошлом, в бесконечном ожидании неведомо чего, словно насекомое в куске янтаря. Амин видел, что за высокомерием Мурада скрывается неловкость, и однажды вечером, когда они вместе возвращались с поля, сказал ему:

– На Рождество ты ужинаешь с нами. Это праздничный вечер, он очень важен для Матильды.

И едва не добавил: «Только ни слова ни о Франции, ни о войне», – но не решился.

* * *

Матильда позвала на Рождество супругов Палоши, и Коринна с радостью приняла приглашение.

– Рождество без детей – это такая скука, как ты считаешь? – сказала она Драгану, и у того сжалось сердце.

Коринна полагала, что он не понимает, каково это для женщины – не быть матерью. Она воображала, что это ему недоступно, что мужчинам вообще неведомы такого рода переживания. Коринна ошибалась. Однажды, когда Драган был еще маленьким и жил с родителями в Будапеште, он надел платье своей сестры Тамары. Сестренка хохотала так, что чуть не напустила в штанишки, и повторяла: «Ну и красотка! Какая красотка!» Отец Драгана, когда узнал об этом, страшно разгневался и наказал сына. Он строго предупредил его, что не следует играть в подобные порочные игры и ступать на эту скользкую дорожку. Драган понимал, что именно тогда в нем зародилось бесконечное восхищение женщинами. Ему никогда не хотелось ни владеть ими, ни тем более уподобляться им – нет, его потрясала волшебная способность, коей они обладали, это чрево, которое округлялось, как когда-то округлилось чрево его матери. Он не сказал об этом отцу, не сказал своему преподавателю на факультете медицины, когда тот, косо на него поглядывая, спросил, почему Драган решил специализироваться на гинекологии. Он тогда ответил просто:

– Потому что женщины всегда будут рожать детей.

Драган любил детей, и они отвечали ему тем же. Аиша обожала доктора, который украдкой совал ей в ладошку мятные и лакричные конфетки и подмигивал, как заговорщик. Она была ему признательна не столько за лакомства, сколько за этот общий с ним секрет – у нее возникало ощущение, что она для него не пустое место. Что у них особые отношения. А еще он возбуждал в ней любопытство, потому что говорил с акцентом и часто упоминал о каком-то «железном занавесе»: туда, за этот занавес, он хотел отправлять апельсины и, возможно, когда-нибудь даже абрикосы. Матильда сообщила, что вместе с ним приедет сестра Тамара, что она тоже живет за железным занавесом, и Аиша представила себе женщину за большим металлическим ставнем, вроде того, что опускает бакалейщик Сусси, чтобы уберечь свой магазин. Как странно, подумала она, зачем кому-то понадобилось так жить?

* * *

В сочельник семейство Палоши приехало последним, и Аиша, спрятавшись за матерью, с нетерпением ждала их появления. Вошла Тамара, женщина с редкими желтыми волосами, зачесанными набок и собранными в небольшой пучок, как носили в тридцатых годах. На ее невыразительном лице выделялись только круглые, выпуклые глаза с белесыми ресницами, казалось, они хранят грустные картины и воспоминания, которые эта женщина бесконечно пересматривает и не может оторваться. Она была как старый ребенок, который никак не заставит себя сойти с карусели. Селима она напугала, и он не захотел подставить ей щеку, когда она потянулась к нему своими тонкими губами. На ней было старомодное платье с неоднократно заштопанными манжетами и воротником. Зато на шее и в ушах у нее сверкали великолепные украшения, привлечшие взгляд Матильды. Эти драгоценности, унаследованные от прежних эпох, от мира, ушедшего в небытие, разбудили ее воображение, и она приняла Тамару как самую дорогую гостью.

С их прибытием дом оживился, наполнился смехом и удивленными возгласами. Все расхваливали наряд Коринны – приталенное платье с пышной юбкой выше щиколоток и глубоким декольте, гипнотизировавшим мужчин. Даже вдова Мерсье, которая вывихнула

щиколотку и сидела у окна в гостиной, сделала комплимент ее элегантности. В тот вечер Драган исполнял обязанности рождественского деда. Он попросил Тамо и Амина помочь ему разобрать багажник автомобиля, они вернулись в гостиную, нагруженные горой пакетов и свертков, и Матильда бросилась им навстречу. Аиша посмотрела на мать, опустившуюся на пол, и подумала: «Она тоже ребенок».

– Спасибо! Спасибо! – повторяла Матильда, сперва увидев венгерский токай, который Драган ухитрился где-то раздобыть, а теперь откупорил, стоя посреди гостиной.

– Оно напомнит вам эльзасские вина позднего сбора, вот увидите! – произнес он, налил в бокал золотистый напиток и церемонно вдохнул его аромат. – А теперь откройте вот эту коробку!

Матильда разорвала шпагат и обнаружила в коробке богатую коллекцию медикаментов, перевязочных материалов и книг по медицине. Она взяла одну из них и прижала к груди.

– Она на французском языке! – воскликнул Драган и поднял бокал за здоровье детей и радость быть вместе с друзьями.

Перед ужином Тамара согласилась спеть для гостей. В молодости она снискала некоторую известность как певица, выступала в Праге, Вене и в Германии, на берегу озера, название которого забыла. Она встала у большого окна. Прижала одну руку к животу, другую простерла вперед, вытянув пальцы по направлению к горизонту. Из ее тощей, чахлой груди полился мощный голос, и на шее, кажется, ярче засверкали драгоценные камни. Эта бесконечно печальная мелодия напоминала жалобную песнь сирены или странного, неизвестного существа, против воли попавшего на землю и отчаянными криками зовущего своих. Тамо, никогда не слышавшая ничего подобного, прибежала в гостиную. Она была одета в черно-белый костюм субретки с топорщившейся наколкой на голове, которую ее заставила нацепить Матильда. От нее пахло потом, и она испачкала красивый белый передник, вытирая об него пальцы, хотя Матильда не раз строго предупреждала, что это ей не тряпка. Служанка вперила в певицу ошалелый взгляд, и только она собралась захохотать или во весь голос отпустить какое-нибудь замечание, как Матильда кинулась к ней и вытолкала обратно в кухню. Аиша прижалась к отцу. В этой песне была удивительная красота и даже некая магия, но эмоции Амина

были скрыты, словно приглушены острым ощущением неловкости. Эта сцена вызвала в нем чувство стыда, и он не знал почему.

После ужина мужчины вышли на крыльцо покурить. Ночь была светлая, и на фоне фиолетового неба выделялись непристойно торчавшие силуэты кипарисов. Амин немного захмелел и, стоя на крыльце перед домом в компании гостей, почувствовал себя счастливым. Он подумал: «Я мужчина, отец. У меня есть кое-какая собственность». Его разум стал плутать среди странных мимолетных фантазий. Сквозь оконное стекло он увидел зеркало в гостиной, а в нем – отражение своей жены и детей. Он посмотрел в сторону сада и внезапно испытал такое глубокое, такое горячее чувство дружбы к стоявшим с ним рядом мужчинам, что у него возникло нелепое желание прижать их к груди, показать им свою привязанность. Драган рассчитывал будущей весной собрать первый урожай апельсинов, он сообщил, что, кажется, нашел перекупщика и они в двух шагах от заключения контракта. Одурманенный алкоголем, Амин не мог собраться с мыслями, которые разлетались, как пушинки одуванчиков на ветру. Он не заметил, что Мурад тоже пьян и с трудом держится на ногах. Он вцепился в Омара и заговорил с ним по-арабски.

– Он слабак, – заявил Мурад, покосившись на Драгана и хихикнув, при этом между оставшимися зубами у него брызнула слюна. Мурад завидовал элегантности венгра и тому, что Амин уделяет ему столько внимания, он чувствовал себя смешным в поношенной рубашке и пиджаке, который выдала ему Матильда не столько из великодушия, сколько из опасения, что он опозорит ее перед иностранными гостями.

Омар терпеть не мог бывшего солдата. Он вытер слюну, попавшую ему на шею, и закатил глаза, когда Мурад завел свой нескончаемый монолог о войне. Все понурились. Ни еврей, ни мусульманин и никто из тех, кто пережил эти годы стыда и предательства, не хотели портить вечер упоминанием о войне. Мурад с мутным взором заговорил о войне в Индокитае.

– Подлые коммунисты! – взревел он, и Драган посмотрел в сторону дома, ища сочувственный взгляд хоть одной из женщин.

Омар внезапно отодвинулся от Мурада, тот потерял равновесие и шлепнулся на землю.

– Дьенбьенфу! Дьенбьенфу!^[24] – повторял Омар с перекошенным от ярости лицом, подсакивая, словно бес. Потом наклонился, ухватил Мурада за воротник и плюнул ему в лицо. – Продажная шкура! Несчастный вояка, на тебе французы ездят верхом! Ты предал ислам, ты предал свою страну.

Драган присел на корточки, чтобы осмотреть ссадину, которую Мурад получил при падении. Амин, протрезвев, подошел к брату, собираясь его отчитать, но прежде чем он успел заговорить, Омар уставился на него своим близоруким взглядом, который его парализовал.

– Я ухожу. Не знаю, что я делаю в доме вырожденцев, прославляющих бога, который мне не бог. Тебе должно быть стыдно перед твоими детьми и работниками. Тебе должно быть стыдно за то, что ты презираешь свой народ. Не мешало бы тебе быть поосторожнее. Предателям придется несладко, когда мы вернем себе свою страну.

Омар повернулся спиной и ушел, его тонкая высокая фигура мало-помалу растворилась в темноте, как будто ночь поглотила его.

Женщины услышали крики и всполошились, увидев лежащего на земле Мурада. Коринна побежала к ним, и при виде ее Амин, несмотря на гнев, несмотря на душевную боль, не удержался от смеха. Грудь Коринны была так внушительна, что бежала она очень странно, подпрыгивая как коза, выпрямив спину и выставив вперед подбородок. Драган хлопнул по спине хозяина дома и сказал по-венгерски несколько слов, означавших примерно следующее: «Не стоит портить праздник. Давай выпьем!»

Часть VII

Омар не появлялся. Прошла неделя, прошел месяц, но Омар по-прежнему не давал о себе знать.

Однажды утром Ясмин нашла под входной дверью две корзины, полные еды. Они были такими тяжелыми, что ей пришлось тащить их волоком до самой кухни. Она позвала Муилалу.

– Тут две курицы, яйца, бобы. Только взгляните, какие помидоры! И мешочек шафрана! – кричала она.

Муилала набросилась на свою старую рабыню и ударила ее:

– Убери все это, слышишь? Убери сейчас же!

По ее увядшему лицу текли слезы, она дрожала. Муилала знала, что националисты раздавали семьям узников и погибших корзины с едой и иногда деньги.

– Идиотка! Дура набитая! Ты что, не понимаешь? С моим сыном что-то случилось!

Когда ее пришел навестить Амин, мать сидела во внутреннем дворике, и он впервые в жизни увидел ее с непокрытой головой: длинные жесткие пряди седых волос покрывали ее спину. Она встала, рассерженная, и посмотрела на него с ненавистью.

– Где он? Он уже месяц не приходит домой! Да защитит его Пророк! Амин, ничего от меня не скрывай. Если ты что-то знаешь, если с ним случилось несчастье, лучше скажи, умоляю тебя.

Муилала несколько дней не спала, ее лицо осунулось, она похудела.

– Я ничего от тебя не скрываю. Почему ты обвиняешь меня? Омар уже не первый месяц состоит в банде безумцев, это он, а не я, подвергает опасности всю нашу семью. В чем ты меня упрекаешь?

Муилала расплакалась. Впервые между ней и Амином возникла такая ссора.

– Найди его, *ya ouldi*^[25], найди своего брата. Приведи его домой.

Амин обхватил голову матери, взял ее руки в свои и погладил, пообещав:

– Все будет хорошо. Я его приведу. Уверен, этому есть разумное объяснение.

На самом деле исчезновение Омара тоже мучило его. Уже несколько недель Амин стучал в двери соседей, друзей семьи, немногих оставшихся знакомых, имеющих отношение к армии. Он ходил по кофейням, где часто видели его брата, целыми днями сидел у автостанции и смотрел, как автобусы отправляются в Танжер и Касабланку. Время от времени вздрагивал, вскакивал на ноги и бежал к человеку, чья фигура или воинственная походка напоминали ему брата. Он хлопал незнакомца по спине, и когда тот оборачивался, говорил: «Извините, месье. Я обознался».

Амин вспомнил, что Омар часто упоминал Отмана, своего товарища по лицу, уроженца Феса, и решил туда поехать. Вскоре после полудня он добрался до священного города и отправился бродить по сырым узким улочкам медины. Стоял пасмурный холодный февраль, скупой ливший тусклый свет на зеленеющие поля и величественные мечети имперского города. Амин спрашивал дорогу у спешивших по делам, продрогших прохожих, но все показывали в разные стороны, и, проплутав два часа, он запаниковал. Ему постоянно приходилось прижиматься к стене, чтобы пропустить осла или тележку, раздавался крик: *Balak, balak!*^[26] – и Амин вздрагивал. Его рубашка промокла от пота, несмотря на прохладную погоду. Какой-то старик с бесцветными пятнами на коже подошел к нему и ласковым голосом, мягко раскатывая «р», предложил его проводить. Они шли молча, Амин следовал за почтенным старцем, с которым все здоровались.

– Это здесь, – произнес незнакомец, указав на какую-то дверь, и не успел Амин его поблагодарить, как тот скрылся в переулке.

Служанка, которой на вид не было и пятнадцати лет, открыла ему и проводила в маленькую гостиную на первом этаже. В большом пустынном риале^[27] стояла тишина. Амину пришлось долго ждать, временами он вставал и, оглядевшись по сторонам, выходил в центральный внутренний двор. Он заглядывал в приоткрытые двери, стучал подошвами ботинок по рисунчатым плиткам пола, надеясь шумом разбудить обитателей дома, вероятно прилегших отдохнуть после обеда. Риал был просторным, его интерьеры были украшены с изысканным вкусом. В большой комнате напротив фонтана стоял письменный стол красного дерева, а по сторонам от него – две тахты, обитые дорогими тканями. Во внутреннем дворе цвели жасмин,

наполнявший воздух благоуханием, и глициния, поднимавшаяся до второго этажа. Справа от входной двери стены гостиной в марокканском стиле были украшены причудливой гипсовой лепниной, а потолок из кедра – цветными рисунками.

Амин уже собирался уходить, когда открылась дверь и вошел мужчина в полосатой джеллабе и феске. Борода его была тщательно подстрижена, он нес под мышкой несколько картонных папок, сложенных в объемистую планшетку из красной кожи. Мужчину удивило присутствие постороннего человека у него в доме, он нахмурился.

– Добрый день! Простите, что беспокою вас. Меня впустили.

Хозяин дома не проронил ни слова.

– Меня зовут Амин Бельхадж. Еще раз извините за беспокойство, за то, что я вторгаюсь в ваш дом. Я ищу своего брата, Омара Бельхаджа. Мне известно, что ваш сын с Омаром друзья, вот я и подумал: вдруг он сейчас здесь? Где только я его не искал! Моя мать умирает от тревоги.

– Омар... Да, конечно, теперь я вижу, вы с ним очень похожи. Мне очень жаль, но вашего брата здесь нет. Моего сына Отмана отчислили из лицея, и теперь он учится в Азру. Знаете, они с вашим братом очень давно не виделись.

Амин не сумел скрыть, что расстроен. Он засунул руки в карманы и замолчал.

– Садитесь, – мягко предложил хозяин, и в ту же секунду юная служанка вошла и поставила на медный стол чайник.

Хадж Карим, богатый деловой человек, владел конторой, где консультировал клиентов, желавших приобрести недвижимость или сделать инвестиции. У него был наемный служащий, имелась пишущая машинка, он пользовался доверием в своем квартале и за его пределами. В Фесе и во всех соседних районах люди добивались протекции этого видного, влиятельного человека, близкого к организациям националистов, но водившего дружбу со многими европейцами. Раз в два года он ездил во Францию, в Шатель-Гийон, лечить астму и экзему. Он любил вино, слушал немецкую музыку и купил у бывшего британского посла мебель XIX века, придававшую его риаду совершенно необычный облик. Его обвиняли то в работе на

французскую разведку, то в пособничестве марокканским националистам, но ни на чем не могли поймать.

– В тридцатые годы я работал на французов, – начал он свой рассказ. – Составлял контракты, переводил понемногу юридические документы. Я был добросовестным служащим, и им, слава богу, не в чем было меня упрекнуть. Потом, в сорок четвертом году, я поддержал Манифест независимости, участвовал в волнениях. Французы меня уволили, и тогда я открыл собственную контору и теперь выступаю уполномоченным представителем защиты в марокканском суде. И кто скажет, что мы не можем обойтись без этих французов, а? – Лицо Хаджа Карима помрачнело. – Другим повезло меньше, чем мне. Некоторые мои друзья были сосланы в пустыню, в Тафилалет, других подвергли пыткам настоящие маньяки, которые гасили сигареты об их спины, буквально сводя их с ума. Что я мог поделаться? Я старался помочь своим братьям. Я организовывал сбор средств, чтобы материально поддержать политзаключенных. Однажды я приехал в суд в надежде оказать помощь одному молодому обвиняемому или хотя бы поддержать его отца, измученного жестокостью судилища. Перед зданием я заметил сидящего на земле человека, выкрикивавшего слово, которого я не разобрал. Я подошел к нему и увидел, что перед ним расстелен кусок материи, а на ней аккуратно разложены три или четыре галстука. Торговец решил, что почуял хорошего клиента, стал обхаживать меня, чтобы я купил галстук, но я сказал, что он мне не нужен, и направился в суд. Перед входом теснилось много людей. Мужчины молились, женщины царапали себе ногтями лицо и призывали Пророка. Поверьте, господин Бельхадж, я до сих пор помню каждого из них. Всех отцов, чувствовавших унижение от собственного бессилия, протягивавших мне бумаги, которые они не могли прочесть. Они бросали на меня умоляющие взгляды, просили женщин уйти с дороги и замолчать, но безутешная мать никого не слушает. Когда я наконец сумел протиснуться к дверям суда, то назвал себя, представил документы, подтверждающие полномочия юриста, но привратник категорически отказался меня впустить. Оказалось, что вход без галстука запрещен. Мне стоило большого труда ему поверить. Разбитый, пристыженный, я вернулся к торговцу галстуками, сидевшему по-турецки на земле, и схватил синий галстук. Без звука заплатил и повязал его поверх джеллабы. Я чувствовал бы себя

смешным, если бы не заметил на ступеньках, ведущих в зал суда, встревоженных отцов в джеллабах с поднятыми капюшонами и повязанными на шее галстуками.

Хадж Карим отпил глоток чаю. Амин медленно качал головой.

– Господин Бельхадж, я такой же отец, как другие. И горжусь тем, что у меня сын националист. Я горжусь всеми сыновьями, что восстают против оккупантов, наказывают предателей, сражаются за то, чтобы положить конец несправедливой оккупации. Но сколько еще придется убивать? Сколько еще людей будет приговорено к расстрелу, прежде чем восторжествует наше правое дело? Отман сейчас в Азру, далеко от всего этого. Он должен учиться и быть готовым управлять страной, когда она станет независимой. Найдите вашего брата. Ищите его, где только можете. Если он в Рабате, в Касабланке, верните его домой. Я восхищаюсь теми, кто от всего сердца сочувствует мученическому подвигу своих близких. Но я так же хорошо понимаю тех, кто хочет спасти их любой ценой.

Уже вечерело, и во внутреннем дворе зажглись большие светильники. Амин заметил на одном из комодов красивые деревянные часы французской работы: их золоченый циферблат поблескивал в полутьме. Хадж Карим выразил желание проводить Амина до ворот медины, где стояла его машина. Прежде чем расстаться с гостем, Хадж Карим пообещал навести справки и сообщить Амину, если что-нибудь узнает:

– У меня есть друзья. Не беспокойтесь, в конце концов кто-нибудь да разговорится.

На обратном пути Амин постоянно думал о том, что ему рассказал этот человек. Ему пришло в голову, что он, наверное, слишком отдалился от всего, что замкнутая жизнь сделала его в какой-то мере слепым и эта слепота преступна. Он трус и как худший из трусов вырыл себе нору и спрятался там, в надежде, что никто его не заметит, никто не достанет. Амин родился среди этих людей, среди этого народа, но никогда этим не гордился. Напротив, ему часто хотелось успокоить встреченных иностранцев. Он пытался заверить их, что он другой, не вороватый, не ленивый, не пассивный, как любили говорить европейские поселенцы о своих работниках марокканцах. Он жил с крепко усвоенным представлением о том, каким его желали видеть французы. Подростком приучился ходить медленно, опустив голову.

Он знал, что его темная кожа, коренастая фигура, широкие плечи пробуждают опасения. Поэтому он зажимал руки под мышками, словно давая обещание не вступать в драку. Теперь же у него появилось ощущение, будто он живет в мире, населенном одними врагами.

Он завидовал фанатизму брата, его способности всецело отдаваться какой-то идее. Он хотел бы никогда не сдерживаться, не бояться умереть. В моменты опасности он думал о жене и о матери. Амин всегда заставлял себя выживать. В Германии, в лагере, где его держали, товарищи по бараку предложили ему вместе с ними спланировать побег. Они самым тщательным образом изучили малейшие возможности для этого. Украли ножницы для резки металла, чтобы устроить проход в колючей проволоке, сделали небольшой запас провианта. Неделю за неделей Амин убеждал друзей, что пока не стоит бежать, и находил для этого аргументы. «Сейчас слишком темно, – говорил он. – Подождем полнолуния. Сейчас слишком холодно, мы не выживем в обледеневшем лесу. Подождем, пока потеплеет». Люди доверяли ему, а может, в его осторожности отражались их собственные страхи. Так прошло полгода, полгода промедления и сделок с совестью, полгода, пока он делал вид, будто ему не терпится бежать. Конечно, он страстно мечтал о свободе, видел ее во сне, но не мог решиться получить пулю в спину или умереть, как собака, зацепившись за колючую проволоку.

* * *

Для Сельмы с исчезновением Омара началось время радости и свободы. Отныне никто за ней не следил, никого не беспокоило ни ее отсутствие, ни ее вранье. Все подростковые годы она с гордостью выставляла на всеобщее обозрение синяки на ногах, припухшие щеки, заплывшие глаза. Подругам, не желавшим участвовать в ее безрассудных выходках, она всегда говорила одно и то же: «Все равно побьют! А так хоть удовольствие получу». Собираясь в кино, она заворачивалась в хайк, боясь, что ее узнают, но, очутившись в темном зале, позволяла мужчинам гладить свои голые ноги и думала: «Этой маленькой радости никто у меня не отнимет». Зачастую Омар поджидал ее во внутреннем дворе и на глазах у Муилалы избивал до крови. Когда Сельме не было и пятнадцати, однажды вечером она

поздно вернулась из школы, и когда постучала в дверь своего дома в квартале Берима, Омар отказался ей открыть. Была зима, на улице рано стемнело. Она клялась, что ее задержали на занятиях, что она не сделала ничего плохого, взывала к Аллаху и его милосердию. За дверью она слышала крики Ямин, умолявшей молодого человека смилостивиться над сестрой. Но Омар не уступил, и Сельма, умирая от страха и холода, провела ночь в прилегающем к дому маленьком садике, на мокрой траве.

Она ненавидела брата, который запрещал ей абсолютно все, считал шлюхой и неоднократно плевал ей в лицо. Тысячу раз она желала ему смерти и проклинала Всевышнего за то, что ей приходится жить под гнетом такого изувера. Он смеялся над стремлением сестры к свободе. Когда она просила разрешения сходить в гости к соседке, он едким голосом повторял: «Подружки, как же, подружки». Говорил: «Ты думаешь хоть о чем-нибудь, кроме развлечений?» Поднимал ее на несколько сантиметров над полом, прижимался лицом к ее лицу, Сельма начинала трястись от страха, а он швырял ее о стену или на ступеньки лестницы.

И вот теперь, когда Омар пропал, а Амин, поглощенный заботами о ферме, стал реже у них появляться, Сельма блаженствовала. Она словно ходила по тонкой проволоке, сознавая, что свобода вот-вот закончится и она, как и большинство ее соседок-ровесниц, не сможет больше подниматься на террасу: не позволят ревнивый муж и округлившийся живот. В хаммаме женщины разглядывали ее тело, некоторые ласково проводили рукой по бедрам, а однажды массажистка, грубо просунув руку ей между ляжками, сказала:

– Повезет тому, кто станет твоим мужем.

Сельму взволновало прикосновение ее скользкой от масла руки, черных пальцев, привыкших разминать женские тела. Она поняла, что есть в ней нечто неутоленное, нечто ненасытное, некое пространство, которое только и ждет, чтобы его заполнили, и, оставшись одна у себя в комнате, она повторила движение массажистки, не ощущая стыда и не получив удовлетворения. В дом не раз приходили мужчины и просили ее руки. Они садились в гостиной, а она, спрятавшись наверху у лестницы, с тревогой наблюдала, как эти отцы семейств шумно прихлебывают чай и делают вид, будто плюют, отгоняя бродивших поблизости кошек. Возбужденная Муилала принимала их,

выслушивала, а когда до нее доходило, что речь идет не о ее сыне и эти мужчины не знают, что произошло с Омаром, она поднималась с места, а ошарашенный гость еще несколько минут продолжал сидеть, потом покидал этот сумасшедший дом, чтобы больше туда не возвращаться. Сельма вскоре поняла, что о ней просто забыли. Что никто из членов семьи не помнит о ее существовании. Она была счастлива.

Сельма стала прогуливать уроки и слонялась по улицам. Забросила книги и тетради, укоротила подол юбок и, прибегнув к помощи подруги-испанки, выщипала брови и сделала стрижку по последней моде. Она воровала из тумбочки у кровати матери достаточно денег, чтобы хватало на сигареты и кока-колу. А когда Ясмин пригрозила, что все расскажет, Сельма обняла ее и сказала:

– Нет, милая Ясмин, ты этого не сделаешь.

Бывшая рабыня, всегда жившая под чужим кровом и ничего другого не знавшая, приученная слушаться и молчать, отныне властвовала в этом доме. Она носила на поясе тяжелую связку ключей, и их звяканье разносилось по коридору и внутреннему двору. Она отвечала за сохранность муки и чечевицы, которые упорно запасала Муилала, не забывшая о войнах и голодных годах. Только Ясмин могла открывать двери комнат, отпирать кедровые сундуки и вместительные шкафы, где Муилала держала свое покрывшееся плесенью приданое. Вечером, когда Сельма тайком от матери уходила из дому, чернокожая старуха усаживалась во внутреннем дворе и ждала. В темноте виднелся только тлеющий кончик сигареты без фильтра, которую она курила, и этот огонек, разгораясь, едва освещал ее лицо, похожее на сморщенный плод какао. Она хоть и смутно, но все же понимала стремление девушки обрести свободу. Отлучки Сельмы пробуждали в душе бедной рабыни давно угасшие желания, мечты о побеге, надежды на встречу с утраченным прошлым.

* * *

Зимой 1955 года Сельма каждое утро проводила в кино, а днем ходила в гости к соседкам или сидела в глубине кафе, хозяин которого требовал оплачивать заказ вперед. Молодежь болтала о любви, о путешествиях, о красивых машинах, о том, как лучше всего сбежать из-под надзора стариков. Старики были в центре всех их разговоров.

Старики, которые ничего не понимали, не замечали, что мир изменился, и упрекали молодых в том, что их ничего не интересует, им бы только танцевать да загорать на пляже. В перерывах между партиями в настольный футбол друзья Сельмы, взбудораженные долгими часами безделья, кричали, что они не обязаны отчитываться перед этими нудными стариками – своими родителями. Хватит разговоров про Верден и Монте-Кассино, про сенегальских стрелков и испанских солдат. Хватит воспоминаний о голоде, детях, умерших в младенчестве, земель, потерянных в результате сражений. Для молодых не было ничего дороже рок-н-ролла, американских фильмов, красивых машин и прогулок с девушками, не боявшимися удирать из дома. Сельма была их любимицей. Не потому, что она была самой красивой или самой раскованной, а потому, что умела их рассмешить, к тому же в ней чувствовалось такое неудержимое желание жить, что, казалось, ее ничто не сможет обуздать. Она была неотразима, когда изображала Вивьен Ли в «Унесенных ветром» – качала головой и тонким голосом произносила: «Война, война, война, таратата!» В другой раз она передразнивала Амина, и зрители корчились со смеху, когда эта роскошная красавица хмурила брови, выпятив грудь, как старый солдат, гордящийся своими медалями.

– Ты должна радоваться, что тебе не пришлось голодать, – говорила она низким голосом, подняв указательный палец. – Ты не знаешь, что такое война, пустоголовая девчонка!

Сельма ничего не боялась. Она ни разу не задумалась о том, что ее могут узнать, могут выдать. Не думала, что совершает что-то плохое. Она верила в свою удачу и мечтала о любви. Каждый день она шаг за шагом, со смешанным чувством страха и возбуждения, продвигалась все дальше в своем познании большого мира и тех возможностей, что он перед ней открывает. Мекнес казался ей совсем маленьким, как слишком тесная одежда, которая не позволяет дышать свободно и может разорваться при малейшем неосторожном движении. Она порой горячилась, ее охватывала ярость, и тогда в приступе гнева она вылетала из комнаты подруги, опрокинув на столик чашки с горячим чаем. Она говорила:

– Вы топчетесь на месте. Вечно одно и то же: разговоры, разговоры!

Она считала своих друзей посредственными и догадывалась, что за подростковым бунтом скрывается склонность к конформизму и покорности. Девушки постепенно начали ее избегать. Они опасались, что пострадает их репутация, если их увидят в компании Сельмы.

Днем Сельма иногда находила убежище у соседки, мадемуазель Фабр. Француженка жила в медине с начала 1920-х годов в старинном риаде, постепенно приходившем в упадок. В доме царил ужасный беспорядок: гостиную загромождали засаленные кушетки, сундуки с выломанными замками, стопки книг с пятнами от чая и еды. Обои были погрызены мышами, в воздухе витал запах давно не стиранных трусов и тухлых яиц. Мадемуазель подбирала всех тех, кого в медине называли обездоленными, и нередко у нее посреди гостиной или в уголке прямо на полу спали сироты и молодые вдовы, оставшиеся без средств к существованию. Зимой крыша протекала, и к стуку дождевых капель, падающих в железные корыта, примешивались крики детей, скрип колес проезжавших по улице тележек и стук ткацких машин, установленных на втором этаже. Мадемуазель была нехороша собой. Ее большой уродливый нос был усеян широкими порами, седые брови поредели, к тому же несколько лет назад у нее начала дрожать челюсть, так что ей стало трудно говорить. Она носила широкую гандуру, и под ней вырисовывался ее пухлый живот и толстые ноги с набухшими фиолетовыми венами. У нее на шее висел крест из слоновой кости, который она постоянно гладила, словно кулон-оберег или амулет. Она привезла его из Центральной Африки, где выросла. Она не любила об этом говорить, и никто ничего не знал о ее детстве и о годах, предшествовавших переезду в Марокко. В медине ходили слухи, что она была монахиней, дочерью богатого промышленника, что мужчина, в которого она без памяти влюбилась, привез ее сюда, а потом бросил.

Более тридцати лет она жила среди марокканцев, говорила на их языке, знала их обычаи. Ее приглашали на свадьбы и на религиозные церемонии, и никто уже не замечал эту женщину, молча пившую горячий чай, ничем не отличавшуюся от местных жителей, умевшую благословлять детей и призывать благословение Всевышнего на дом хозяев. Когда женщины собирались вместе поболтать, она слушала их откровения. Скупое давала советы, писала письма за тех, кто не умел читать и писать, переживала из-за их срамных болезней или следов от

побоев. Как-то раз одна женщина сказала ей: «Если бы голубь не закричал, волк бы за ним не прибежал». И мадемуазель Фабр с тех пор стала крепко держать язык за зубами. Она не позволяла себе вслух осуждать основы этого мира, где была всего лишь иностранкой, однако выходила из себя при виде нищеты и несправедливости. Единственный раз она осмелилась постучать в дверь человека, чья дочь проявляла недюжинные способности. Она умоляла строгого отца поддержать желание дочери учиться, предложила отправить ее во Францию, чтобы она получила там диплом. Мужчина ничуть не разгневался. Он не прогнал ее прочь, не обвинил в том, что она сеет раздор и разврат. Нет, старик рассмеялся. Он захохотал и, подняв руки к небу, проговорил: «Учеба!» – потом едва ли не с нежностью проводил мадемуазель Фабр до двери и поблагодарил на прощание.

На мадемуазель Фабр никто не сердился за ее эксцентричность, потому что она была старой и непривлекательной. Потому что все видели ее доброту и щедрость. Во время войны она кормила семьи, впавшие в нищету, одевала детей, ходивших в лохмотьях. Она выбрала, на чьей она стороне, и не упускала случая об этом напомнить. В сентябре 1954 года в Мекнес приехал парижский журналист, чтобы написать репортаж об этом городе. Ему посоветовали обратиться к француженке, устроившей у себя в доме ткацкую мастерскую и искренне озабоченной судьбой неимущих. Молодого человека приняли в послеполуденный час, и он едва не потерял сознание в раскаленном доме, куда не проникало ни малейшее дуновение ветерка. На полу дети разбирали по цветам обрывки шерстяных ниток и складывали их в корзины. На втором этаже за высокими ткацкими станками сидели молодые женщины и, болтая, ловко протягивали и уплотняли нити. В кухне две чернокожие старухи макали хлеб в неаппетитную коричневую кашу. Репортер попросил стакан воды, в ответ мадемуазель Фабр похлопала его по лбу и сказала: «Бедный мальчик! Не суетитесь, не пытайтесь бороться». Они поговорили о ее добрых делах, о жизни в мекнесской медицине, о санитарном и моральном состоянии тех женщин, что работали в мастерской. Потом журналист спросил, не боится ли она террористов, да, ответила она, как и все французское сообщество, она нервничает. Мадемуазель подняла глаза. Посмотрела на белесое небо конца лета и сжала кулаки, словно стараясь сдержаться:

– С недавних пор мы называем террористами тех, кто нам сопротивляется. Французскому протекторату уже более сорока лет, так почему же мы не понимаем, что марокканцы просто отстаивают свое право на свободу, за которую они сражались, на ту самую свободу, вкус к которой мы сами им привили, смысл которой объяснили?

Журналист, обливаясь потом, возразил, что независимость установится, но не сразу, а мало-помалу. Что нельзя бороться с французами, посвятившими этой стране всю свою жизнь. Что станет с Марокко, едва только эти французы уйдут? Кто будет править? Кто будет обрабатывать землю? Мадемуазель Фабр перебила его:

– Если хотите знать, мне совершенно все равно, что думают французы. Им кажется, будто это марокканский народ, который растет и крепнет, напал на них и завоевал их землю. Пусть зарубят себе на носу: они здесь иностранцы.

Она отправила журналиста восвояси, даже не предложив проводить до гостиницы в новом городе.

По четвергам после полудня мадемуазель Фабр принимала девушек из хороших семей: она якобы учила их вышивать крестиком, вязать и немного играть на пианино. Родители ей доверяли, потому что точно знали, что она не посмеет обращать их детей в другую веру. Разумеется, она ни слова не говорила о Христе, о Его любви, озаряющей весь мир, однако у нее все-таки были обращенные. Ни одна из девушек не смогла бы сыграть и двух нот и не проявила никаких способностей даже к штокке носков. Они проводили несколько часов, лежа на матрасах во внутреннем дворике и уплетая печенье, пропитанное медом. Мадемуазель ставила пластинки, учила девушек танцевать, читала им стихи, заставлявшие их краснеть, а некоторых – даже убежать с возмущенным криком. Она давала им посмотреть дома «Пари-матч», и потом с террасы на террасу летали клочки журнальных страниц, а портрет принцессы Маргарет плавал в водосточной канаве.

В один из четвергов в марте 1955 года мадемуазель Фабр, собираясь разливать чай, застала своих учениц за оживленной беседой. Неделю назад лицеисты объявили забастовку из-за того, что один из преподавателей унизил ученицу. Он обвинил ее в том, что ее сочинение о борьбе Жанны д'Арк с англичанами носит подрывной характер и она воспользовалась занятиями по истории, чтобы выразить свое расположение к националистам. С верхнего этажа рида

доносился смех рабочих, чинивших крышу, и девочки изо всех сил старались их рассмотреть. Мадемуазель Фабр широким церемонным движением, как принято у марокканцев, разлила мятный чай по выщербленным стаканам. Она подошла к Сельме:

– Пойдемте, мадемуазель, мне надо с вами поговорить.

Сельма прошла за ней на кухню. Она гадала, чем может быть вызвано это желание побеседовать наедине. Чуть было не сказала, что политикой не интересуется, что ее невестка – француженка и она не склоняется ни на чью сторону, но мадемуазель Фабр улыбнулась ей и пригласила сесть за маленький деревянный столик, на котором стояла корзинка с фруктами, обсиженными мухами. Мадемуазель вытянула ноги. На несколько минут, показавшихся Сельме бесконечными, она погрузилась в созерцание лиловых каскадов бугенвиллеи, разметавшейся по стене в глубине сада. Сельма схватила подгнивший персик; его кожица отделилась от рыхлой черной мякоти.

– Я узнала, что вы бросили лицей.

Сельма пожала плечами:

– А зачем? Я все равно там ничего не понимала.

– Какая же вы дура! Без образования вы ничего не добьетесь.

Сельма удивилась. Она никогда не слышала, чтобы Мадемуазель так выражалась, чтобы она была так сурова с кем-нибудь из девушек.

– Все дело в мальчике, да?

Сельма покраснела и, если бы могла, пулей вылетела бы из этого дома и никогда больше туда не возвращалась. Ее ноги задрожали, и мадемуазель Фабр положила руку ей на колено.

– Думаете, я не понимаю? Наверное, вообразили, будто я никогда не была влюблена?

«Только бы она замолчала. Только бы позволила мне уйти», – молила про себя Сельма, но старуха, погладив крест из слоновой кости, глянцевого от частых прикосновений, продолжала:

– Сейчас вы влюблены, и это чудесно. Вы верите всему, что говорит молодой человек. Вам кажется, что это надолго, что вас всегда будут любить так же, как сегодня. По сравнению с этим учеба – суцая ерунда. Однако вы ничего не знаете о жизни. В один прекрасный день вы пожертвуете всем ради него, у вас все отнимут, и вы будете зависеть от малейшего его жеста. Будете зависеть от его настроения и его отношения к вам, окажетесь во власти его грубой силы. Когда я

говорю, что вам следует подумать о будущем и учиться, поверьте моим словам. Времена меняются. Вы не обязаны повторять судьбу своей матери. Вы можете стать кем угодно, например, адвокатом, преподавателем, медиком. Или даже летчицей! Слышали о девушке по имени Турия Шауи, которая получила удостоверение пилота, когда ей едва исполнилось шестнадцать лет? Вы сможете стать кем захотите, если хоть немного постараетесь. И вам никогда, никогда не придется просить денег у мужчины.

Сельма слушала ее, сжимая в ладонях стакан с чаем. Слушала так внимательно, что Мадемуазель решила, будто убедила ее.

– Возвращайтесь в лицей. Готовьтесь к экзаменам, если понадобится, я вам помогу. Пообещайте, что не бросите учебу.

Сельма поблагодарила ее, поцеловала в морщинистые щеки и сказала:

– Обещаю.

Но на обратном пути, по дороге в квартал Беррима, она вспомнила лицо бывшей монахини, ее белую, как известь, кожу, ее губы-ниточки, такие тонкие, как будто она их сжевала. И рассмеялась, шагая по узким улочкам: «Что она знает о мужчинах? Что она знает о любви?» Она почувствовала, что презирает расплывшееся, дряблое тело этой старой женщины, ее одинокую жизнь, ее идеалы, представляющие собой всего лишь попытку скрыть недостаток любви. Накануне Сельма поцеловалась с мальчиком. И с тех пор спрашивала себя, как это получается, что ради мужчин – тех самых, которые все ей запрещают, которые ею командуют, – она так страстно мечтает стать свободной. Да, мальчик ее поцеловал, и она с невероятной точностью помнила прикосновение его губ. Со вчерашнего дня она без конца закрывала глаза и с неуголимимым возбуждением заново переживала эти сладостные минуты. Она видела светлые глаза молодого человека, слышала его голос, слова, которые он произнес: «Ты дрожишь?» – и все ее тело тут же затрепетало. Она словно стала заложницей этого воспоминания, она опять и опять возвращалась к нему, касалась своего лица, шеи, как будто искала следы ран, отметины, оставленные на ее коже губами мужчины. Ей казалось, что с каждым его поцелуем она все больше избавляется от страха, от робости, которую в ней воспитали.

Значит, для этого и нужны мужчины? Оттого так много и говорят о любви? Да, они пробуждают отвагу, скрытую в глубине вашего сердца, выпускают ее наружу, помогают ей расцвести. Один поцелуй, другой – и она почувствовала, как в ней зреет неодолимая сила. Да, они правы, думала она, поднимаясь к себе в комнату. Они совершенно правы, что боятся сами и предостерегают нас, ведь то, что таится под нашими покрывалами и юбками, то, что мы ото всех скрываем, пышет огнем, ради которого мы готовы принести в жертву что и кого угодно.

* * *

В конце марта на Мекнес обрушилась волна холода, и в колодце во внутреннем дворике замерзла вода. Муилала заболела, много дней не вставала с постели, и ее исхудавшее лицо выглядывало из-под толстых одеял, которыми накрыла ее Ясмин. Матильда часто заезжала ее навестить и ухаживала за ней, хотя Муилала противилась ее заботам и отказывалась принимать лекарства. С ней приходилось возиться, как с испуганным капризным ребенком. Муилала выздоровела, но когда она встала с постели и, надев халат, привезенный Матильдой, добралась до кухни, то поняла: что-то не так. Поначалу не поняла, что вызвало у нее панику, ощущение, будто она стала чужой в собственном доме. Она прошла по коридору, оттолкнув Ясмин, поднялась и спустилась по лестницам, хотя ноги ее плохо слушались. Она высунулась в окно, оглядела улицу, показавшуюся ей тусклой, как будто чего-то на ней не хватало. Разве за несколько дней, что она болела, мир мог так сильно измениться? Она решила, что сошла с ума, что теперь она, как и ее сын Джалил, одержима демонами. Она вспомнила давние истории о своих предках, которые разгуливали по улицам полуголыми и рассказывали что-то о призраках. Теперь вот и на нее пало семейное проклятие, и рассудок медленно ее покидает. Ее охватил страх, и чтобы успокоиться, она стала делать то, что делала каждый день. Села за кухонный стол, взяла пучок кориандра и принялась мелко-мелко его резать. Поднесла ко рту, потом к носу скрюченные пальцы, облепленные зеленью, размазала сочную массу по лицу и расплакалась. Она, словно обезумев, засовывала пальцы в ноздри, с силой терла глаза. Но ничего не чувствовала. Необъяснимые злые чары недуга лишили ее обоняния.

Потому она и не чувствовала, что от одежды ее дочери пахнет табачным дымом и цементной пылью. Не ощущала и исходившего от сорочек Сельмы аромата дешевых духов, купленных в старом городе на украденные из дома деньги. Не улавливала она и того, что к этому приторно-сладкому запаху примешивается другой – свежий цитрусовый шлейф одеколona из тех, что были в моде у европейцев: они брызгали им на шею и под мышки. Сельма возвращалась вечером, покрасневшая, со спутанными волосами, и от ее губ исходил запах другого человека. Она весело напевала во внутреннем дворе, ее глаза блестели, когда она говорила с матерью и крепко ее обнимала, повторяя:

– Мама, как я тебя люблю!

Однажды вечером Матильда поджидала Амина у дверей.

– Сегодня я была в городе, – произнесла она. – Заходила к твоей матери.

Муилала странно вела себя с Аишей. Когда девочка наклонилась и хотела поцеловать руку бабушки, старуха закричала.

– Она заявила, что Аиша хочет ее укусить. Всхлипывала и прижимала руку к животу. Она была по-настоящему напугана, понимаешь?

Да, Амин понимал. Он заметил, что мать сильно исхудала, что у нее отрешенный взгляд и порой случаются провалы в памяти. Она перестала красить волосы хной и выходила из комнаты, не прикрыв платком седую голову. Матильда могла бы поклясться, что когда она приехала навестить свекровь, та не узнала ее. Старуха несколько секунд пристально рассматривала ее пустыми глазами, высунув язык, потом, судя по всему, расслабилась. Она не назвала невестку по имени – она никогда ее по имени не называла, – но улыбнулась и положила ей руку на плечо. Муилала часами сидела у кухонного стола, вяло водя руками перед корзинкой с овощами. Когда к ней возвращался рассудок, она вставала, начинала готовить еду, но вкус у ее блюд был уже не тот, что прежде. Она забывала что-нибудь добавить или засыпала, и дно тажина подгорало. Она, всегда такая молчаливая и строгая, теперь целыми днями распевала детские песенки и хохотала над ними до упаду. Она кружилась и, задрав полы кафтана, показывала Ясмин язык и дразнила ее.

– Нельзя ее так оставлять, – заключила Матильда.

Амин снял сапоги, положил куртку на стул у входа и замер, не говоря ни слова.

– Надо забрать ее к нам. И Сельму тоже, – проговорила Матильда.

Жена стояла, уперев руки в бока, и ласково смотрела на Амина. Он бросил на нее пылкий взгляд, что ее удивило, она кокетливым движением поправила волосы и развязала туго затянутый на поясе фартук. В тот момент он пожалел, что не умеет красиво говорить. Есть же мужчины, у которых голова не забита делами и имеется свободное время, чтобы высказать то, что у них на душе, но он не из их числа. Он долго смотрел на жену и думал, что теперь она здесь своя, что она так же страдает, как он, и так же трудится до седьмого пота, а он даже не может ее за это отблагодарить.

– Да, ты права. У меня все равно душа не на месте, оттого что они там, в медине, без мужской защиты, – отозвался он, подошел к Матильде, поднялся на цыпочки, она склонилась к нему, и он медленно ее поцеловал.

В начале весны Амин помог матери переехать к ним. Он отправил Джалила к дяде, святому человеку, жившему близ Ифрана и полагавшему, что жизнь в горах пойдет на пользу слабому рассудку племянника. Ясмин, никогда не видевшая снега, вызвалась поехать вместе с Джалилом. Муилалу поселили в самой светлой комнате поблизости от входа. Сельму устроили в комнате Аиши и Селима, а Мурад, раздобыв кирпичей, начал пристраивать к дому новое крыло.

Муилала редко выходила из комнаты. Матильда не раз видела, как она сидит под окном, пристально рассматривая красные плитки на полу. Вся в белом, она покачивала головой, вспоминая в тишине свою жизнь, молчаливую жизнь, где ей запрещалось печалиться. На фоне белой ткани выделялись ее темные морщинистые руки, в которых, казалось, была заключена вся жизнь этой женщины, словно в книге без слов. Селим проводил с ней много времени. Он устраивался на полу, положив голову на колени бабушки и закрыв глаза, а она гладила его спину и затылок. Он соглашался есть только в комнате бабушки, и пришлось смириться с тем, что он нахватался дурных привычек, стал есть руками и громко рыгать. Муилала, на памяти Матильды всегда очень худая, довольствовавшаяся остатками общей трапезы,

превратилась в несносную обжору, как часто случается со стариками, находящими в еде одно из последних доступных им удовольствий.

Целыми днями Матильда носилась из школы домой, из кухни в прачечную. Она мыла Муилалу и Селима. Готовила на всех, а сама ела на ходу, в перерыве между другими делами. Утром возвращалась из школы, лечила больных, потом стирала и гладила. Днем отправлялась к поставщикам закупать химикаты и запчасти. Она жила в состоянии вечного беспокойства – за финансы, за здоровье Муилалы и детей. Ее тревожило мрачное настроение Амина, который предупредил ее в день прибытия Сельмы на ферму:

– Она не должна приближаться к работникам, я этого не желаю. Только дом и лицей, ты поняла?

Матильда кивнула, но сердце у нее сжалось от тоски. Когда брата не было дома – а такое случалось почти всегда, – Сельма вела себя дерзко и грубо. На распоряжения Матильды не обращала никакого внимания. Только заявляла в ответ:

– Ты мне не мать.

Матильда боялась, что начнутся мощные мартовские ливни, что пойдет град, который предсказывали рабочие, указывая на желтоватый цвет неба в послеполуденные часы. Она вздрагивала при каждом телефонном звонке, моля бога, чтобы звонили не из банка, не из лицея и не из школы. Часто после обеда ей звонила Коринна и приглашала на чашку чаю, увещевая Матильду:

– Ты же имеешь право развеяться!

Теперь Матильда писала Ирен только короткие письма, не пускаясь в откровения и не выплескивая эмоции. Она просила сестру присылать рецепты блюд их детства, по которым очень соскучилась. Ей хотелось быть безупречной хозяйкой дома, вроде тех, чьи фотографии красуются на страницах журналов, которые приносила ей Коринна. Тех, что умеют вести хозяйство, обеспечивают покой в доме, на которых все держится, которых любят и побаиваются. Но, как однажды сказала Аиша своим высоким, пронзительным голосом: «В любом случае все в конце концов обернется к худшему», – и Матильда не стала ее разубеждать. Днем она чистила овощи, положив перед собой книгу. Она прятала книги в кармане передника и иногда, усевшись на кипу неглаженого белья, читала романы Анри Труайя или

Анаис Нин, которые ей давала вдова Мерсье. Приготовленные ею блюда Амин считал несъедобными. Это были картофельные салаты, обильно посыпанные луком и вонявшие уксусом, горы тушеной капусты, так долго стоявшей на огне, что весь дом пропитывался ее запахом, не выветривавшимся много дней, мясной хлеб, такой сухой, что Аиша выплевывала непрожеванные кусочки и прятала их в карман платья. Амин предъявлял претензии. Кончиком вилки он отпихивал эскалоп, плавающий в сливках: такое блюдо не годится для местного климата. Он скучал по той еде, что готовила мать, и внушил себе, что Матильда уверяет, будто не любит кускус и чечевицу с копченым мясом только ради того, чтобы его позлить. Она настаивала на том, чтобы за едой дети разговаривали, задавала им вопросы, смеялась, когда они, стуча черенком вилки по столу, требовали десерт. Амин сердился на невоспитанных, шумных детей. Он проклинал этот дом, где он, трудовой человек, не может найти покоя, хотя имеет на него полное право. Матильда брала на руки Селима, вытаскивала из рукава грязный носовой платок и принималась плакать. Однажды вечером Амин под изумленным взглядом Аиши затянул старую песенку: «Она лила слезы, лила слезы в три ручья... Выплакала все слезы, что у ней были...» Матильда выскочила в коридор, а он, последовав за ней до двери, допел: «О-ля-ля! Вот тоска! Вот тоска!»^[28] – и Матильда, обезумев от злости, стала выкрикивать эльзасские ругательства, смысл которых наотрез отказалась им объяснять.

Матильда пополнела, на виске появилась седая прядка. Целыми днями она ходила в шляпе из рафии, как у крестьянок, и черных резиновых сандалиях. Щеки и шея покрылись мелкими коричневыми пятнышками, на коже появились тонкие морщинки. Иногда к концу долгого дня она впадала в глубокое уныние. По дороге из школы домой, подставляя лицо ласковому ветру, она размышляла о том, что уже почти десять лет видит один и тот же пейзаж, а ей кажется, что она так ничего и не успела сделать. Какой след она оставит после себя? Многие сотни приготовленных и съеденных обедов и ужинов? Немного мимолетной радости, испарившейся в один миг? Песенки, спетые у кровати малышей, дни, когда она утешала детей в их горестях, о которых теперь никто и не вспомнит? Заштопанная рукава, тревоги, ни с кем не разделенные из боязни быть осмеянной? Что бы она ни делала, как бы ни были ей благодарны дети и пациенты,

Матильду не покидало ощущение, что ее жизнь – проект тотального самоуничтожения. Все, что она создавала, было обречено на исчезновение, на забвение. Такая ей выпала доля – домашняя жизнь, состоящая из мелочей, из бесконечного повторения одних и тех же действий, в конце концов разрушающих нервную систему. Она смотрела в окно на плантации миндальных деревьев, на бесконечные террасы виноградников, на молодые деревца, входящие в пору зрелости, обещающие через год-другой принести плоды. Она ревновала Амина, ревновала к хозяйству, которое он создавал медленно и упорно и которое нынче, в 1955 году, дало первые доходы.

Урожай персиков был хорош, и миндаль он продал очень выгодно. К великому разочарованию Матильды, потребовавшей денег на школьные принадлежности и новую одежду, Амин решил вложить средства в развитие фермы.

– Здешние женщины никогда не посмели бы вмешиваться в эти дела, – упрекнул он жену.

Он построил вторую теплицу, нанял еще десяток работников, чтобы собрать урожай, и французского инженера, чтобы тот спроектировал и соорудил накопитель для дождевой воды. Много лет Амин мечтал выращивать оливковые деревья. Он прочел все, что мог найти по этой тематике, и заложил экспериментальную плантацию с густыми посадками оливок. Он не сомневался, что сумеет сам, без посторонней помощи, вывести новые сорта оливковых деревьев, более устойчивых к жаре и недостатку влаги. Весной 1955 года на Мекнесской ярмарке он, нервно комкая листки с записями в потных руках, попытался изложить свою теорию перед скептически настроенной публикой.

– Все новшества поначалу обычно поднимают на смех, ты ведь знаешь? – откровенничал он со своим другом Драганом. – Если все пойдет как задумано, эти деревья будут давать в шесть раз больше, чем другие сорта, представленные сегодня в моем владении. И их потребность в воде настолько скромна, что я смогу вернуться к традиционным методам ирригации.

В течение всех лет, что он трудился на земле, Амин привык работать один, не рассчитывая на чью-либо помощь. Его ферму окружали хозяйства французских поселенцев, их богатство и могущество долгое время вызывало у него страх. В первые

послевоенные годы мекнесские поселенцы еще сохраняли значительную власть. Про них говорили, что они могут назначить и снять с должности генерал-резидента, что им стоит только пошевелить пальцем, чтобы изменить политику Парижа. Теперь соседи Амина вели себя более приветливо. В Сельскохозяйственной палате, куда он пришел просить субсидию, с ним разговаривали почтительно и, хотя в деньгах отказали, всячески превозносили его творческий подход к делу и упорство. Когда он рассказал Драгану о встрече с чиновниками, тот усмехнулся:

– Они боятся, только и всего. Чувствуют, что ветер переменился и местные жители скоро станут ими командовать. Они прикрывают тылы, обращаясь с тобой как с равным.

– Равным? Говорят, что хотят поддержать меня, а сами отказывают в кредите. А когда меня постигнет неудача, заявят, что я был слишком ленив, что я такой же, как все арабы, что без французов, без их трудолюбия у нас ничего не получится.

В мае сгорела ферма Роже Мариани. Свиньи погибли в огне, и несколько дней по всем окрестностям носился запах горелого мяса. Работники, не проявившие особого рвения при тушении огня, закрывали лица тряпками, некоторых рвало. Они говорили, что вдыхать нечистый дым – это харам^[29]. В ночь пожара Мариани пришел к ним на холм, Матильда устроила его в гостиной, и он в одиночку выпил бутылку токая. Этот человек, некогда обладавший таким влиянием, что однажды ворвался прямо в кабинет Шарля Ногеса^[30] в Рабате и угрозами добился того, что дело решилось в его пользу, теперь плакал как ребенок, сидя в старом бархатном кресле.

– Порой сердце у меня сжимается так, что я даже думать не в состоянии, рассудок мой словно погружается в густой туман. Я не знаю, что готовит нам будущее и есть ли в этом мире справедливость, если мне приходится расплачиваться за злодеяния, которых я не совершал. Я верил в эту страну, как блаженный верит в Бога, без рассуждений, без лишних вопросов. А теперь слышу, что меня хотят убить, что мои крестьяне прячут оружие, чтобы меня застрелить, а может быть, они меня повесят. Они только делали вид, будто перестали быть дикарями.

* * *

После рождественских каникул Амин и Мурад отдалились друг от друга, и на протяжении нескольких недель Амин изо всех сил избегал встреч со своим бывшим ординарцем. Всякий раз, как на грунтовой дороге, ведущей от фермы к деревне, появлялась фигура Мурада, когда Амин видел впалые щеки и желтоватые глаза старого солдата, ему становилось не по себе. Он давал ему распоряжения, опустив глаза, а если Мурад подходил к нему, чтобы рассказать о какой-то проблеме или поздравить с богатым урожаем, Амин не мог спокойно стоять на месте. Он начинал переминаясь с ноги на ногу, и порой ему приходилось стискивать кулаки и сжимать зубы, чтобы не броситься наутек.

Во время рамадана, который пришелся на апрель, Мурад не позволил крестьянам работать ночью и самим устанавливать график с учетом жары и усталости.

– Полив и жатва – только днем! Ни Всевышний, ни я тут ни при чем! – распекал он одного крестьянина, который, прикрыв ладонью рот, читал молитву.

Днем он разрешал им укрыться в тени и отдохнуть, но после этого бранил их, изводил придирками, обвинял в том, что они злоупотребляют великодушием хозяина. Однажды он избил человека, поймав его в саду, в нескольких метрах от дома. Он схватил его за волосы и поколотил, обвинив в том, что тот шпионил за семьей Бельхадж, преследовал юную Сельму и подсматривал за французской госпожой сквозь москитную сетку в окнах гостиной. Мурад следил за каждым шагом служанки, упрекая ее в мелких кражах,

существовавших только в его воображении. Он допрашивал больных Матильды, которых подозревал в том, что они ее используют.

В один прекрасный день Амин позвал его к себе в кабинет и, как во время войны, поговорил с ним коротко, по-солдатски, просто отдавая приказы и ничего не объясняя:

– С сегодняшнего дня, если крестьяне из соседних деревень попросят воды, мы дадим им воды. Пока я жив, никому не будет запрещено брать воду из колодца. Если больные захотят, чтобы их лечили, ты обеспечишь им эту возможность. В моем владении никого не будут бить, и каждый будет иметь право на отдых.

Днем Амин постоянно находился на ферме, и по вечерам ему не хотелось слышать детские крики и жалобы Матильды, чувствовать на себе злобные взгляды сестры, для которой жизнь на далеком холме стала невыносимой. Амин играл в карты в прокуренных кафе. Он пил дешевое спиртное в забегаловках без окон, вместе с другими мужчинами, такими же смущенными^[31] и такими же пьяными. Часто он встречал старых приятелей из гарнизона, молчаливых военных, и был им признателен за то, что они не заводили с ним долгих разговоров. Однажды вечером Мурад пошел вместе с ним. На следующий день Амин не мог вспомнить, при каких обстоятельствах и при помощи каких уловок бывший ординарец получил разрешение его сопровождать. Но в тот вечер Мурад сел в машину, и они вместе отправились в забегаловку на шоссе. Они вместе пили, и Амин не обращал на него внимания. «Пусть надерется, – думал он. – Пусть напьется, осоловеет, отупеет и свалится в канаву». Их занесло в убогое кабаре, где играл аккордеонист, и Амину захотелось танцевать. Ему захотелось стать другим человеком, на которого никто не рассчитывает, чья жизнь легка и беззаботна, приятна и греховна. Его ухватил за плечо какой-то мужчина, и они стали раскачиваться из стороны в сторону. На его партнера напал приступ хохота, и смех волной распространился по залу, заразив словно по волшебству всех посетителей. Они гоготали, разинув рты и демонстрируя почерневшие зубы. Некоторые хлопали в ладоши и отбивали ногами такт. Высокий истощенный мужик издал пронзительный свист, и все повернулись к нему. «Ну что, идем?» – сказал он, и все поняли, куда они сейчас отправятся.

Они прошли по окраине старого города и добрались до Мерса, «закрытого квартала». Амин был пьян, у него перед глазами все расплывалось, он шатался, и незнакомцы, сменяя друг друга, поддерживали его. Кто-то помочился на стену, и всем сразу тоже захотелось справить нужду. Амин мутным взором следил, как длинная струя мочи стекает с крепостной стены на мостовую. Мурад подошел к нему: хотел отговорить его идти дальше по широкой улице со стоявшими вдоль нее борделями, которые держали сварливые матроны. Улица превратилась в темный и узкий переулок, заканчивающийся тупиком, где мужчин, потерявших бдительность в предвкушении телесных удовольствий, поджидала группа шпаны. Амин грубо оттолкнул Мурада и бросил на него злобный взгляд, когда тот положил руку ему на плечо. Они остановились перед какой-то дверью, и один из мужчин постучал. Послышалось позвякивание, потом шарканье шлепанцев по полу, потом звон нанизанных на руку браслетов. Дверь отворилась, и стайка полуголых женщин налетела на них, как саранча на богатый урожай. Амин исчез так неожиданно, что Мурад этого даже не заметил. Он хотел оттолкнуть брюнетку, схватившую его за руку и потащившую в маленькую комнатку, где помещались только кровать и протекающее биде. От выпивки он стал медлительным, ему не удавалось сосредоточиться на главной цели – спасти Амина, – и в нем начал закипать гнев. Девушка, возраст которой невозможно было определить, прямо пахла гвоздикой. Она спустила с Мурада брюки с такой сноровкой, что он испугался. Он смотрел, как она расстегивала то, что заменяло ей юбку. Свежие царапины у нее на ногах складывались не то в рисунок, не то в символ, смысл которого Мурад не мог понять. Ему захотелось вонзить ногти в глаза проститутки, наказать ее. Девушка, по-видимому, такой взгляд замечала не впервые, а потому на секунду замерла. Явно такая же пьяная, как Мурад, или обкурившаяся, она обернулась и посмотрела на дверь, потом передумала и растянулась на матрасе: «Давай быстрее. А то жарко очень».

После он не мог сказать, что случилось: может, всему виной была эта фраза, может, пот, струившийся у девушки между грудей, или мерный скрип, доносившийся из соседних комнат, или возникшее у Мурада ощущение, будто он слышит голос Амина. Но там, перед той девушкой с расширенными зрачками, ему привиделись картины войны

в Индокитае и армейские бордели, устроенные для солдат чиновниками по делам коренных народов. Он снова услышал те звуки, почувствовал тяжелую влажность воздуха, увидел буйные непроходимые заросли без конца и края, которые однажды попытался описать Амину, но тот не понял, насколько они смертоносны, насколько похожи на кошмар. Он сказал: «Надо же, джунгли, какое невероятное место!» Мурад обхватил себя за голые плечи, почувствовал под пальцами холод, и ему показалось, будто комнату заполнил рой мошкары и его шея, живот покрылись зудящими красными пятнами, не дававшими ему спать по ночам. У себя за спиной он слышал крики французских офицеров и думал, что не раз видел вывалившиеся наружу кишки белых мужчин, видел, как эти люди умирают, как вместе с изнурительным поносом уходит жизнь из христиан, потерявших рассудок в бессмысленных войнах. Нет, убивать – не самое трудное. Когда он себе это сказал, то у него в голове стали раздаваться щелчки спускового крючка, и он несколько раз стукнул себя по виску, чтобы разум очистился от мрачных мыслей.

Проститутка, которой хозяйка велела делать дело побыстрее, потому что клиенты ждут, с усталым видом поднялась с кровати. Как была, голая, она подошла к Мураду и сказала: «Ты больной?» – а когда старый солдат, сотрясаясь от рыданий, принялся биться лбом о каменную стену, позвала на помощь. Их с Амином вышвырнули вон, а хозяйка борделя плюнула в лицо бывшему ординарцу, когда тот понес какой-то бред. Проститутки набросились на него, стали кричать, измываться над ним, осыпать оскорблениями. «Будь ты проклят! Будьте вы оба прокляты!» – вопили они. Они с Амином побрели куда глаза глядят. Теперь они были одни, все от них сбежало, а Амин не помнил, где оставил машину. Он остановился на обочине дороги и закурил сигарету, но после первой же затяжки его затошнило.

На следующий день он сообщил работникам, что его помощник заболел, и ему стало грустно, когда он заметил у них на лицах облегчение и даже радость. Матильда предложила свою помощь и лекарства, однако получила резкий короткий ответ, что Мураду нужно отдохнуть.

– Просто отдохнуть, и больше ничего, – отрезал Амин и добавил: – Думаю, нам надо его женить. Нехорошо быть таким одиноким.

Часть VIII

Двадцать лет Мехки работал фотографом на авеню Республики. Когда позволяло время – то есть часто, – он разгуливал взад-вперед по авеню, повесив фотоаппарат на плечо, и предлагал прохожим их сфотографировать. В первые несколько лет ему было непросто конкурировать с молодым армянином, который знал всех и каждого от чистильщика обуви до владельца бара, и уводил у него клиентов. В конце концов Мехки понял, что в поиске моделей нельзя полагаться только на случай. Что мало быть настойчивым, снижать цену и перечислять свои таланты. Нет, прежде всего следовало обращать внимание на тех, кто хочет сохранить на память настоящий момент. Тех, кто считает себя красивым, кто чувствует, что стареет, кто видит, как его дети растут, и грустно повторяет: «Как бежит время!» Нет смысла задерживаться возле стариков, возле деловых людей и домохозяек с усталыми, озабоченными лицами. Дети – это всегда беспроблемно. Он строил им гримасы, рассказывал, как работает фотоаппарат, и родители поддавались соблазну запечатлеть на кусочке картона ангельский лик своего отпрыска. Мехки никогда не делал снимки своих родных. Его мать не сомневалась, что фотоаппарат – адское устройство, отбирающее душу у тех, кого гордыня побудила позировать перед объективом. Поначалу Мехки делал снимки для документов, но мужчины нередко запрещали фотографировать своих жен. Некоторые высокопоставленные марокканцы даже посылали в администрацию генерал-резидента угрожающие письма, где сообщали, что они всеми силами будут противиться тому, чтобы их жены показывали лицо незнакомым мужчинам. Французы сдались, и многие каиды и паши ограничивались тем, что предоставляли властям краткие описания внешности своих жен, и эти описания приобщали к документам, удостоверяющим личность.

Однако всем прочим клиентам Мехки предпочитал влюбленных. И в тот весенний день ему на глаза попала самая красивая пара из тех, что ему доводилось встречать. Погода была теплая, сулившая приятную прогулку. Центр города был залит мягким светом, который ласкал белые фасады домов и подчеркивал ярко-красные пятна герани

и гибискуса. В толпе выделялись двое молодых людей, он подбежал к ним, держа палец на кнопке фотоаппарата, и совершенно искренне сказал:

– Вы такие красивые, что я сфотографирую вас бесплатно!

Он проговорил это по-арабски, и молодой человек, европеец, поднял руки, показывая, что не понял ни слова. Вынул из кармана банкноту и протянул Мехки. «Влюбленные юноши щедры, – подумал тот. – Им хочется произвести впечатление на подружку, со временем это пройдет, но пока что Мехки это на руку».

Так рассуждал фотограф, и был он так счастлив, так воодушевлен, что не обратил внимания на то, что молодая женщина занервничала и стала озираться, словно беглянка. Она вздрогнула, когда молодой человек, одетый в куртку американского фасона, тронул ее за плечо. Они были так прекрасны, так ошеломительно прекрасны, что Мехки словно ослеп. Ни на секунду ему не пришло в голову, что они совсем не подходят друг другу. Не хватило проницательности понять, что эти двое не созданы для того, чтобы быть вместе.

Что она забыла на центральной улице среди дня? Она, еще почти ребенок, скорее всего из приличной семьи, из уважаемой семьи, где дочери положено носить прямые юбки и жакеты строгих цветов. Она не имела ничего общего с таскавшимися по авеню шалавами, ускользнувшими из-под надзора отцов и братьев и забеременевшими после бурного свидания на заднем сиденье машины. Эта девушка была поразительно свежа, и Мехки, хватая фотоаппарат, воспринимал как настоящее чудо, что ему суждено запечатлеть этот миг для вечности. Ему казалось, что на него низошла благодать. Этот быстротечный момент, это лицо, еще ничем не оскверненное, не тронутое ни рукой мужчины, ни тенью грехов, ни тяготами жизни. Это и отпечатается на пленке: наивность юной девушки и ее взгляд, в котором угадывается жажда приключений. Молодой человек тоже был очень красив – достаточно было посмотреть, как прохожие, и мужчины и женщины, оборачиваются, чтобы взглянуть на его мускулистую фигуру, высокую и сухощавую, на его крепкую шею, бронзовую от солнца. Он улыбался, и Мехки не мог устоять. Для него много значила красота губ и ровных зубов, еще не испорченных постоянным курением и плохим кофе. К счастью, чаще всего его модели, когда позировали, закрывали рот, но

этот молодой человек был полон такой радости, чувствовал себя таким везучим, что все время смеялся и говорил.

Девушка отказалась сниматься. Она хотела уйти и что-то прошептала на ухо молодому человеку, но Мехки не расслышал. Но парень настаивал, он схватил девушку за запястье, заставил ее повернуться и попросил:

– Ну давай, всего минута, а нам останется на память.

Сам Мехки не сказал бы лучше. Несколько секунд ради воспоминания на всю жизнь – это был его слоган. Стоя на многолюдной улице, она была так напряжена, так закрыта, что Мехки приблизился к ней и по-арабски спросил, как ее зовут.

– Вот так, Сельма, улыбнись и посмотри на меня.

Сделав снимок, фотограф дал молодому человеку квитанцию, и тот сунул ее в карман куртки.

– Приходи завтра. Если не встретимся здесь, на авеню, я оставлю фото вон в той студии, на углу.

Мехки смотрел им вслед, когда они удалились и смешались с толпой, запрудившей тротуар. На следующий день молодой человек не пришел. Мехки прождал его несколько дней и даже изменил свой обычный маршрут в надежде случайно его встретить. Фотография вышла очень удачной, и Мехки подумал, что это, возможно, самый лучший фотопортрет, какой ему доводилось сделать. Ему удалось передать свет майского дня, в кадр попали пальмы на заднем плане и вывеска кинотеатра. Влюбленные смотрели друг на друга. Она, хрупкая и смущенная, вглядывалась в красивое лицо своего спутника, который широко улыбался.

Как-то вечером Мехки вошел в студию Люсьена, который проявлял его пленки и одолжил денег на покупку нового фотоаппарата. Они уладили свои дела, завершили расчеты, и в конце разговора Мехки достал фотографию из кожаной сумки:

– Такая досада, что они ее не забрали!

Люсьен, изо всех сил пытавшийся скрыть свой интерес к мужчинам, склонился над снимком и произнес:

– Какой красивый парень! Жаль, что он больше не пришел.

Мехки пожал плечами и потянулся за фотографией, но Люсьен его остановил:

– Очень красивое фото, Мехки, правда очень красивое! Знаешь, ты растешь на глазах! Послушай, вот что я хочу тебе предложить. Я помещу снимок в витрину, это привлечет клиентов, и все узнают, что ты лучше всех фотографируешь влюбленных. Что скажешь?

Мехки колебался. Конечно, он был падок на лесть и ему не помешала бы реклама, которую ему могла сделать эта фотография. Но он испытывал странное желание сохранить этот снимок для себя, для себя одного, чтобы эти двое стали его друзьями, его безымянными спутниками. Ему было страшновато отдавать их на растерзание алчным взорам прохожих на многолюдной улице, но Люсьен умел убеждать, и Мехки в итоге сдался. В тот же вечер незадолго до закрытия студии Люсьен выставил в витрину фотографию пилота Алена Крозьера и юной Сельмы Бельхадж. Менее чем через неделю Амин прошел мимо этой витрины и увидел снимок.

Потом Сельма и Матильда пришли к выводу, что против них ополчилась сама судьба. Что судьба была на стороне мужчин, на стороне силы, на стороне несправедливости. Ведь весной 1955 года Амин редко бывал в новом городе. Рост числа нападений, убийств, похищений, все более жестокая реакция французской администрации на действия националистов привели к тому, что в городе установилась гнетущая атмосфера, и Амин не хотел в нее погружаться. Но в тот день он изменил своим привычкам и отправился в кабинет Драгана Палоши, который решил заказать в Европе саженцы фруктовых деревьев.

– Приезжай ко мне на работу, поговорим о делах, потом я пойду с тобой в банк помочь тебе получить кредит, – сказал врач.

Так все и произошло. Амин, сгорая со стыда, ждал в комнате, полной женщин, многие из которых были беременны. Почти час он обсуждал с врачом сорта персиков, слив, абрикосов, рассматривая что-то вроде каталога с картинками на глянцевой бумаге. Потом они вместе отправились в банк, где их принял мужчина с шелушащейся кожей. По словам Драгана, этот человек был женат на алжирке и жил за городом, близ одного из фруктовых садов, которые горожане арендовали для воскресных пикников. Банкир с воодушевлением и знанием дела подробно расспрашивал Амина о его сельскохозяйственных планах, что изрядно удивило фермера. В конце беседы они пожали друг другу

руки, договор был заключен, и Амин вышел из банка с чувством исполненного долга.

Он был счастлив и потому шел по авеню Республики, никуда не торопясь. Он думал, что имеет право спокойно прогуляться, посмотреть на женщин, подойти к ним настолько близко, чтобы почувствовать аромат их духов. Он не хотел возвращаться домой, а потому неспешно шагал по улице, засунув руки в карманы и окидывая взглядом витрины, шел, позабыв о городских беспорядках, о брате, об упреках Матильды по поводу его новых вложений. Он смотрел на выставленное за стеклом белье, на остроконечные бюстгалтеры и атласные трусики. Любовался шоколадными конфетами в витрине кондитера, знаменитого своей засахаренной вишней. И вдруг в витрине фотостудии заметил снимок. Несколько секунд он не верил своим глазам. Он нервно усмехнулся и подумал, что эта девушка на снимке удивительно похожа на Сельму. Наверное, она итальянка или испанка, во всяком случае жительница Средиземноморья, он решил, что она очень красива. У него перехватило горло. Ему показалось, что кто-то ударил его в живот, и все тело напряглось от гнева. Он подошел вплотную к витрине, но не для того, чтобы получше рассмотреть снимок, а чтобы загородить его от взглядов прохожих, разгуливающих по авеню. У него создалось ощущение, будто его сестра стоит голая на виду у толпы, и чтобы спасти честь Сельмы, он может только заслонить ее своим телом. Амину хотелось разбить лбом стекло, схватить фотографию и убежать, и он с трудом взял себя в руки.

Он вошел в студию и увидел Люсьена: тот подсчитывал выручку, сидя за деревянным прилавком.

– Чем могу помочь? – осведомился хозяин.

Он с беспокойством посмотрел на Амина. Чего от него хочет этот хмурый араб с недобрый взглядом? Очень удобный момент. В студии нет посетителей, и этот бесноватый, вероятно националист, может, даже террорист, скорее всего, собирается разделаться с ним, просто потому что он один, он беззащитен и он француз. Амин вытащил из кармана носовой платок и вытер лоб:

– Меня интересует фотография в витрине. Та, с молодой девушкой.

– Вот эта? – спросил Люсьен, медленно подошел к подставке, снял фотографию и положил ее на прилавок.

Амин долго, молча смотрел на нее и наконец спросил:

– Сколько?
– Простите?
– Сколько стоит это фото? Я хочу его купить.
– Но оно не продается. Эта пара за него заплатила и должна прийти и его забрать. Пока что они не появлялись, но не стоит отчаиваться, – ворчливо произнес Люсьен и рассмеялся.

Амин бросил на него зловещий взгляд:

– Скажите, сколько оно стоит, и я заплачу.

– Но я ведь уже сказал, что...

– Послушайте, эта девушка, – Амин ткнул пальцем в листок картона, – эта девушка – моя сестра, и у меня нет ни малейшего желания оставлять ее хотя бы еще на минуту в витрине вашего магазина. Скажите, сколько я вам должен, и я уйду.

Люсьен не хотел проблем. Ему пришлось покинуть Францию из-за унижительного шантажа, и он перебрался в другой мир – как оказалось, такой же недобрый, хоть и более солнечный, – с твердым намерением держать в секрете свои желания, не изменяя им. Ему постоянно говорили, как строги понятия о чести у арабов. «Тронь их женщин – и тебя порежут от уха до уха», – сказал ему один клиент, когда он только что открыл фотостудию. Люсьен подумал: «Тут я ничем не рискую». За несколько дней до появления Амина он прочел в газете статью о том, как один чиновник не то в Рабате, не то в Касабланке получил удар кинжалом. Напавший на него старик марокканец обвинил его в том, что тот коснулся платка, закрывавшего лицо его жены, рассмеялся и сказал: «Да она блондинка, эта туземка, светлая, как немка. У нее же глаза голубые!» Вспомнив этот случай, Люсьен вздрогнул и протянул Амину фотографию:

– Возьмите. Все-таки это ваша сестра, думаю, вы имеете право забрать снимок. И сами ей отдадите. Делайте с ним, что пожелаете, это меня не касается.

Амин взял фото и вышел из студии, не попрощавшись с Люсьеном. Тот опустил подъемную металлическую штору, решив закрыться пораньше.

* * *

Когда Амин вернулся на ферму, уже стемнело, Матильда сидела в гостиной и чинила одежду. Он остановился в дверном проеме и долго

смотрел на нее, оставаясь незамеченным. Он с усилием сглатывал комки слюны, вязкой и соленой.

Матильда увидела его и почти сразу опустила глаза, продолжив штопку.

– Что-то ты припозднился, – сказала она и не удивилась, не услышав ответа.

Амин подошел к жене, посмотрел на шерстяную кофту, порванную на рукаве, на серебристый наперсток, надетый на большой палец Матильды. Вытащил фотографию из кармана куртки, положил ее на детскую кофточку, и Матильда прижала ладони ко рту. Наперсток звякнул, ударившись о зубы. Она выглядела словно загнанный в угол убийца, которому предъявили неопровержимое доказательство его преступления.

– Это совершенно невинно, – в смятении пробормотала она. – Я хотела тебе рассказать. У парня серьезные намерения, он хотел приехать на ферму, попросить ее руки, жениться на ней. Уверяю тебя, он хороший мальчик.

Амин уставился на нее, и Матильде показалось, что его глаза стали больше, что черты лица исказились, рот превратился в огромную дыру, и она вздрогнула, когда он закричал:

– Ты окончательно спятила! Никогда моя сестра не выйдет замуж за француза!

Амин схватил Матильду за рукав и вытащил из кресла. Он поволок ее в темный коридор, крича: «Ты меня унизила!» Плюнул ей в лицо и вlepил пощечину тыльной стороной ладони.

Она подумала о детях и не издала ни звука. Она не вцепилась мужу в горло, не исцарапала его, не стала обороняться. Главное, ничего не говорить, дать выплеснуться гневу, молиться, чтобы ему стало стыдно и этот стыд остановил его. Она позволила тащить себя по полу, словно мертвое тело, такое тяжелое, что от этого ярость Амина только возросла. Он хотел драться, хотел, чтобы она защищалась. Он крепкой рукой схватил ее за волосы, дернул вверх, заставив подняться, и приблизил свое лицо к ее лицу.

– Мы еще не закончили, – произнес он и ударил ее кулаком.

Он бросил ее в коридоре, ведущем к спальням. Она стояла перед ним на коленях, из носа у нее текла кровь. Он расстегнул пуговицы на куртке, и его затрясло. Он опрокинул деревянную этажерку, куда

Матильда складывала свои книги. Этажерка развалилась, книги рассыпались по полу.

Матильда заметила, что в дверном проеме стоит Аиша и внимательно наблюдает за ними. Амин посмотрел в ту же сторону и увидел дочь. Черты его лица смягчились. Можно было подумать, что он сейчас рассмеется и скажет Аише, что у них с мамой такая игра, детям ее не понять и пора уже ложиться спать. Но он в неистовстве, с безумным видом метнулся в свою комнату.

Матильда остановила взгляд на обложке одной из книжек. История о путешествии Нильса с дикими гусями, которую читал ей отец, когда она была маленькой. Она сосредоточилась на картинке, изображавшей маленького Нильса на спине гуся. Она не подняла глаз и когда услышала крики Сельмы, не шевельнулась, когда ее золовка позвала на помощь. Потом услышала угрожающий голос Амина:

– Я вас всех убью!

Он держал в руке пистолет, целясь в прекрасное лицо Сельмы. Несколько недель назад он оформил разрешение на ношение оружия. Он сослался на необходимость защищать свою семью, на то, что в сельской местности стало небезопасно, что они могут рассчитывать только на себя. Матильда закрыла лицо руками. А что еще она могла сделать? Она не хотела это видеть – видеть, как смерть придет к ней от руки мужа, отца ее детей. Потом подумала о дочери, о малыше, мирно спящем в кроватке, о рыдающей Сельме и повернулась к детской спальне.

Амин проследил за ее взглядом и заметил Аишу: ее курчавая шевелюра была пронизана неярким светом из комнаты. Она походила на призрак.

– Я вас всех убью! – снова закричал он, размахивая пистолетом во все стороны.

Он не знал, с которой из трех начать, но не сомневался, что как только решится, то сразу их застрелит, одну за другой, холодно и безжалостно. Их всхлипы, их крики слились в единый хор, Матильда и Сельма умоляли его о прощении, он слышал свое имя, потом услышал: «Папа!» – и вспотел, и ему показалось, что куртка разом стала ему мала. Он уже когда-то стрелял – в мужчину, во врага. Он уже стрелял и знал, что сумеет снова это сделать, что это будет быстро, страх уляжется и наступит облегчение, и даже придет ощущение

всемогущества. Но он услышал: «Папа!» – это слово донеслось оттуда, со стороны детской, на пороге которой стояло его дитя в промокшей на подоле ночной рубашке, в лужице, натекающей между ног. На миг он испытал желание выстрелить в себя. Это могло бы разрешить сразу всё, не пришлось бы больше никому ничего говорить, ни с кем объясняться. Его выходная куртка была бы вся в крови. Он выронил револьвер и, не глядя на них, вышел.

Матильда приложила палец к губам. Продолжая беззвучно плакать, она сделала Сельме знак не шевелиться. На четвереньках кинулась к револьверу. В глазах у нее стояли слезы, из носа обильно текла кровь, и было трудно дышать. Перед глазами сверкали молнии, и ей пришлось на несколько секунд сжать ладонями виски, чтобы не отключиться. Она обеими руками взяла револьвер, который показался ей очень тяжелым, и стала крутиться в разные стороны, как бесноватая. Она озиралась, пытаясь придумать, как избавиться от оружия. Бросила отчаянный взгляд на дочку, потом, поднявшись на цыпочки, вцепилась в огромную терракотовую вазу, стоявшую на книжном шкафу. Она слегка ее наклонила и бросила в нее пистолет. Опустила вазу на место, та несколько раз качнулась, а они тем временем стояли, окаменев от ужаса, представляя себе, что ваза сейчас разобьется, Амин вернется, увидит осколки и застрелит их.

– Послушайте меня, мои дорогие!

Матильда притянула к себе Сельму и дочку, прижала их к сердцу, которое билось так сильно, что Аиша испугалась. В нос Матильде ударил запах мочи и крови, и она решительно произнесла:

– Никогда не говорите ему, где револьвер, вы слышите? Даже если он будет вас умолять, если будет угрожать или предлагать что-то взамен. Никогда не говорите, что пистолет в вазе. – Они медленно кивнули. – Я хочу, чтобы вы произнесли это вслух, чтобы сказали: «Обещаю». Скажите!

Выражение лица Матильды стало очень сердитым, и девочки послушно дали обещание молчать.

Матильда отвела их в ванную, наполнила большой таз теплой водой и посадила туда Аишу. Она постирала маленькую ночную рубашку, потом приложила к своему лицу и к лицу Сельмы салфетки, смоченные в ледяной воде со спиртом. Нос у нее ужасно болел. Она не рискнула к нему притронуться, но знала, что он сломан, и, несмотря на

боль, несмотря на гнев, думала о том, что теперь подурнеет. Вдобавок к тому, что Амин растоптал ее достоинство, он еще оставил ее с расплюснутым носом, как у боксера, с лицом не лучше морды паршивого пса.

Аиша знала, что у женщин бывают синие лица. Она часто таких видела – матерей с заплывшими глазами, с фиолетовыми отметинами на щеках, с разбитыми губами. В то время она даже считала, что макияж придумали именно для этого. Чтобы маскировать следы от мужских кулаков.

В ту ночь они, все втроем, спали в одной комнате, в одной кровати, переплетя ноги. Перед тем как уснуть, Аиша, прижавшись спиной к животу матери, прочла вслух молитву:

– Благослови, Господи, мой сон, в который я собираюсь погрузиться, дабы дать себе отдых и с новыми силами служить Тебе. Пресвятая Дева, Матерь Божья, моя главная, после Него, надежда, мой добрый ангел, моя святая покровительница, прошу Твоего заступничества, защити меня этой ночью, и во все дни моей жизни, и в час моей кончины. Аминь.

Они проснулись в тех же позах, как будто парализованные страхом, что он вернется, как будто веря, что втроем они будут непобедимы. Во время беспокойного сна они словно превратились в единое существо, рака в панцире или моллюска в раковине. Матильда прижала к себе дочь, ей хотелось бы, чтобы Аиша перестала существовать и она, ее мать, исчезла бы вместе с ней. Спи, спи, дитя мое, это всего лишь дурной сон.

* * *

Всю ночь Амин ходил по окрестностям. В темноте натыкался на деревья, ветки царапали ему лицо. Он шагал, проклиная каждый арпан этой скудной земли. В помутнении рассудка, в бреде он начал считать камни и пришел к выводу, что они составили заговор против него, что они тайком размножаются и тысячами рассеиваются по всем гектарам его земли, чтобы ее невозможно было возделывать, чтобы сделать ее бесплодной. Ему хотелось растереть пальцами всю эту каменистую почву, размолоть ее зубами, разжевать и выплюнуть гигантское облако мелкой пыли, чтобы оно покрыло все вокруг. Было холодно. Он сел у

подножия дерева. Его всего трясло, он втянул голову в плечи, съежился и погрузился в полудрему, оглушенный алкоголем и стыдом.

Он вернулся домой лишь спустя два дня. Матильда не спросила, где он был, а он не стал искать револьвер. Несколько следующих дней дом был погружен в глубокую, непроницаемую тишину, которую никто не рискнул нарушить. Аиша разговаривала глазами. Сельма не выходила из своей комнаты. Дни напролет она лежала на кровати и плакала в подушку, проклиная брата и обещая ему отомстить. Амин решил, что ей не нужно больше учиться в лицее. Он не видел пользы в том, чтобы еще больше будоражить эту сумасбродную девицу и забивать ей голову безумными идеями.

Целыми днями Амин не появлялся дома. Ему невыносимо было смотреть на лицо Матильды, на фиолетовые ореолы вокруг глаз, на распухший вдвое нос и разбитую губу. Он не был в этом уверен, но ему показалось, что она потеряла зуб. Он уходил на рассвете и возвращался, когда жена уже спала. Он ночевал в своем кабинете и справлял нужду в туалете во дворе, вызывая крайнее раздражение у Тамо, которую возмущало такое тесное соседство. День за днем он вел жизнь труса.

В следующую субботу он поднялся на рассвете. Помылся, побрился, надушился. Вошел в кухню, где Матильда, стоя к нему спиной, жарила яичницу. Она почувствовала запах одеколona и замерла, не в силах пошевелиться. Застыв у плиты с деревянной лопаткой в руке, она молилась, чтобы он не заговорил. Это единственное, что ее сейчас волновало. «Только бы он не вздумал открыть рот, ляпнуть какую-нибудь пошлость, – думала она, – сделать вид, будто ничего не случилось». Она пообещала себе, что, если он скажет: «Извини», – она залепит ему пощечину. Но ничто не нарушило тишину. Амин беззвучно бродил у нее за спиной, и хотя Матильда его не видела, она чувствовала, что он крутится вокруг нее, раздувая ноздри и прерывисто дыша. Прислонившись спиной к большому голубому шкафу, он наблюдал за ней. Она провела рукой по волосам и потуже затянула завязки фартука. Яйца на сковородке подгорели, и она закашляла в кулак, наглотавшись дыма.

Ей было стыдно признаться, но установившееся между ними молчание странно на нее подействовало. Она временами думала, что если они никогда больше не будут разговаривать, то смогут

превратиться в животных, и тогда многое станет возможно. Перед ними откроются новые горизонты, они научатся по-другому себя вести, смогут рычать, бить друг друга, царапать до крови. Им не придется больше вступать в бесконечные объяснения, когда каждый до изнеможения доказывает свою правоту, но это ничего не решает. У нее не было желания мстить. Зато она хотела уступить ему свое тело – то самое тело, которое он не пощадил, которое растерзал. Несколько дней они по-прежнему не разговаривали, но занимались сексом, стоя у стены, за дверью и даже на улице, у приставной лестницы, ведущей на крышу. Желая заставить его стыдиться, она перестала стесняться, отбросила всякую сдержанность. Она открыто демонстрировала ему свое сладострастие и женскую притягательность, свою порочность и похоть. Она отдавала ему приказы с такой откровенной непристойностью, что это его возмущало и усиливало возбуждение. Она доказала ему, что в ней таится нечто неуловимое, порочное, но не он приобщил ее к пороку. Это ее темная сторона, принадлежащая только ей, и он никогда не сумеет ее понять.

* * *

Однажды вечером, когда Матильда гладила белье, в кухню вошел Амин и сказал:

– Пойдем. Он здесь.

Матильда поставила утюг. Она вышла из кухни, потом вернулась назад. Под испытующим взглядом Аиши наклонилась над раковиной, ополоснула лицо и пригладила волосы. Сняла фартук и произнесла:

– Я скоро приду.

Девочка, разумеется, отправилась следом за ней, тихая как мышка, ее глаза блестели в темном коридоре, по которому она шла. Она уселась под дверью и сквозь щелочку разглядела коренастого пожилого мужчину с угреватой кожей и отросшей щетиной на лице, одетого в коричневую джеллабу. У него под глазами были такие набрякшие мешки, что казалось, если кто-нибудь притронется к ним или просто подует сильный ветер, то они лопнут и из них вытечет вязкая жидкость. Он сидел в одном из кресел в кабинете Амина, позади него стоял молодой человек. На плече его куртки цвета хаки виднелся длинный желтый след, как будто на него нагадила птица. Он протянул старику большую тетрадь в кожаной обложке.

– Назови свое имя, – произнес старик, глядя в направлении Матильды.

Она ответила, но адул^[32] повернулся к Амину и, насупившись, спросил:

– Как ее имя?

Амин произнес по слогам имя жены:

– Ма-тиль-да.

– Имя ее отца?

– Жорж, – сказал Амин и наклонился над тетрадь, несколько смущенный тем, что приходится называть чужому человеку христианское имя, которое и записать-то невозможно.

– Журж? Журж? – повторил адул и принялся жевать кончик ручки. Молодой человек у него за спиной стал нервно переминаться с ноги на ногу. – Напишу, как слышится, ничего, сойдет, – подвел итог законник, и стоявший позади него помощник облегченно вздохнул.

Адул поднял глаза на Матильду. Несколько секунд внимательно рассматривал ее, остановил взгляд на лице, потом на крепко сжатых руках. И тут Аиша услышала голос матери, которая говорила по-арабски:

– Свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха и что Мухаммед – его посланник.

– Очень хорошо, – сказал адул. – И какое же имя ты теперь будешь носить?

Матильда об этом не думала. Амин говорил ей о необходимости взять новое имя, когда она примет ислам, но в последние дни у нее было так тяжело на сердце, а в голове – столько забот, что она не позаботилась выбрать себе мусульманское имя.

– Мариам, – в конце концов произнесла она, и адула, похоже, очень порадовал ее выбор.

– Да будет так, Мариам. Добро пожаловать в исламское сообщество.

Амин подошел к двери и заметил Аишу:

– Мне не нравится твоя привычка постоянно шпионить. Ступай к себе в комнату.

Она поднялась и пошла по коридору, отец последовал за ней. Она легла в кровать и увидела, как Амин хватается за руку Сельму, совсем

как сестры у Аиши в школе, когда кого-нибудь из учениц наказывали и сестра директриса приказывала привести их к ней.

Аиша уже спала, когда в кабинет привели Сельму и Мурада и адул поженил их в присутствии Матильды и Амина, а также двух работников, которым велели прийти, чтобы засвидетельствовать бракосочетание.

* * *

Сельма ничего не желала слушать. Когда Матильда постучала в дверь гаража, где отныне Сельма спала со своим мужем, та ей не открыла. Эльзаска стучала в дверь ногой, барабанила по ней кулаками, потом, вдоволь накричавшись, прижалась к ней лбом и заговорила тихо-тихо, как будто надеялась, что Сельма прислушается. Что она прислонится к дверному косяку и, как раньше, станет слушать советы своей невестки. Тихим голосом, не раздумывая, ни на что не рассчитывая, Матильда попросила прощения. Она заговорила о внутренней свободе, о необходимости научиться смирению, о том, что пустые мечты о великой любви приводят девушек к отчаянию и краху.

– Я тоже была молода, – произнесла она, потом заговорила о будущем: – Однажды ты меня поймешь. Однажды ты скажешь нам спасибо.

Всегда нужно, говорила она, видеть хорошую сторону событий. Не позволить тоске омрачить рождение ее первого ребенка, не жить сожалениями о мужчине, который был, конечно, очень красив, но повел себя трусливо и неразумно. Сельма не отвечала. Она держалась подальше от двери – сидела на корточках у стены и зажимала руками уши. Она доверилась Матильде, дала ей потрогать свои болезненно затвердевшие груди, пока еще плоский живот, а та ее предала. Нет, она не будет слушать Матильду, а если понадобится, зальет уши смолой. Ее невестка поступила так из зависти. Она могла бы помочь ей сбежать, убить этого ребенка, выйти замуж за Алена Крозьера, могла бы воплотить в жизнь все эти красивые разговоры об освобождении женщин и праве на любовь. Но нет, она предпочла, чтобы между ними встал закон мужчин. Матильда выдала ее, а брат не нашел ничего лучшего, как применить старый метод решения подобных проблем. «Наверняка ей невыносимо было думать, что я могу стать

счастливой, – размышляла Сельма, – куда более счастливой, чем она, и гораздо удачнее выйти замуж».

Когда Сельма не сидела взаперти в своей комнате, она находилась рядом с детьми или Муилалой, поэтому поговорить с глазу на глаз не было никакой возможности, и это мучило Матильду, мечтавшую получить прощение. Она бегала за Сельмой, когда та оказывалась одна в саду. Однажды Матильда схватила ее сзади за блузку и едва не придушила.

– Позволь мне все объяснить. Умоляю тебя, перестань меня избегать, – упрашивала она.

Но Сельма резко развернулась и стала отчаянно отбиваться обеими руками и пинать Матильду ногами. Тамо услышала крики женщин, которые дрались, как малые дети, но не решилась вмешаться. «Потом они придумают, как свалить всю вину на меня», – рассудила она и задернула шторы. Матильда прикрывала рукой лицо и умоляла Сельму:

– Опомнись хоть немного! Все равно твой красавчик авиатор сбежал, как только узнал о ребенке. Ты должна радоваться, что тебе помогли избежать позора.

Ночью, когда Амин храпел у нее под боком, Матильда вспомнила свои слова. Она правда в это верила? Неужели она стала такой? Одной из тех, что призывают других вести себя благоразумно, отступить, предпочитают счастью респектабельность? По большому счету, думала она, я ничего не смогла бы сделать. И она несколько раз мысленно повторила это, не потому что раскаивалась, а для того, чтобы убедить себя в своей бессилии и смягчить чувство вины. Ее интересовало, что делают в эту минуту Мурад и Сельма. Она представила себе обнаженное тело ординарца, его руки на бедрах жены, его беззубый рот у ее губ. Она так живо вообразила себе их соитие, что едва сдержалась, чтобы не закричать, не столкнуть мужа с кровати, не залиться слезами, оплакивая судьбу этой девочки, от которой она отреклась. Она встала и принялась расхаживать по коридору, чтобы успокоить нервы. Зашла на кухню и уничтожила остатки песочного пирога с джемом, наевшись до тошноты. Потом высунулась в окно, уверенная, что непременно услышит стон либо рык. Но до нее не донеслось ни звука, только крысы, шурша, сновали по стволу гигантской пальмы. Тогда она поняла, что больше всего ее

мучил, выводил из себя даже не этот брак, не выбор Амина, а противоестественность этого сношения. И ей пришлось признать, что она преследовала Сельму не столько для того, чтобы попросить прощения, сколько чтобы узнать подробности этого невозможного, чудовищного сожительства. Она хотела узнать, страшно ли было девочке, испытала ли она отвращение, когда в нее проник пенис супруга. Может, она закрыла глаза и вспоминала своего летчика, чтобы не думать о старом уродливом вояке.

* * *

Однажды утром во двор въехал пикап, и два парня выгрузили из него большую деревянную кровать. Старшему было не больше восемнадцати. Он носил бриджи до середины икры и выцветшую на солнце фуражку. Другой был и того младше, и его пухлое детское лицо никак не соответствовало крупному мускулистому телу. Он держался в сторонке, ожидая распоряжений своего товарища. Мурад велел им занести кровать в гараж, но парень в фуражке только пожал плечами.

– Не пролезет, – заявил он, указывая на дверь.

Мурад, заказавший кровать у одного из лучших мебельщиков в городе, вышел из себя. Он здесь не для того, чтобы с ними препираться, пусть повернут наискосок, внесут ее и поставят на пол. Битый час они так и сяк переворачивали кровать, пытались протолкнуть внутрь, вытаскивали обратно. Надорвали спины и руки. Вытирая пот со лба, красные от натуги, мальчишки смеялись над упорством Мурада.

– Подумай хорошенько, старик! Никак – значит никак, – игривым тоном, не понравившимся бывшему солдату, произнес младший из парней. Выбившись из сил, он опустился на сетку кровати и подмигнул своему товарищу: – Мадам точно будет недовольна. Слишком хорошая кровать для такого маленького домика.

Мурад уставился на мальчишек, прыгавших на кровати и умиравших со смеху. Он почувствовал себя так глупо, хоть плачь. Когда он увидел эту кровать в лавке в медине, она показалась ему идеальной. Он подумал об Амине и решил, что командир будет им гордиться. Что в конце концов он оценит его по достоинству и поймет, что человек, купивший такую кровать, – самый подходящий муж для его сестры. «Я идиот», – твердил про себя Мурад, и если бы не

сдержался, то поколотил бы мальчишек и порубил топором эту кровать прямо тут, у подножия большой пальмы. Но он только смотрел, как в облаке пыли удаляется от фермы пикап, и сердце его наполнилось тихим отчаянием.

Два дня кровать стояла там, где ее оставили, и никто не задавал Мураду вопросов. Амин и Матильда, которым было крайне неловко и стыдно, не говорили ни слова, как будто кровать на песке посреди двора действительно стояла на своем месте. Потом Мурад с утра попросил у Амина выходной, тот согласился. Мурад взял кувалду и разрушил стену гаража, обращенную к полю. И втащил через пролом кровать. Он раздобыл кирпичей и цемента и увеличил площадь комнаты, где они теперь жили вместе с Сельмой. Весь день и половину ночи он возводил новую стену. Ему захотелось устроить ванную комнату для жены, которая мылась в туалете во дворе. Тамо встала на цыпочки, чтобы посмотреть, как работает хозяйский помощник.

– Не суй нос в чужие дела, займись своими, – сердито одернула ее хозяйка.

Когда дом был готов, Мурад испытал прилив гордости, однако привычек своих не изменил. Когда наступала ночь, он оставлял большую кровать Сельме, а сам, как всегда, ложился на полу.

* * *

Искать Омара надо по запаху крови, думал Амин. Летом 1955 года ее было пролито немало. Она затопила города, где людей все чаще убивали прямо посреди улицы, где взрывались бомбы, обращая в прах человеческие тела. Кровь растекалась по поместьям и деревням, где урожай сжигали на корню и забивали насмерть хозяев. В этих злодействах к политике примешивалась личная месть. Убийства совершались во имя Аллаха, во имя родины, а еще – чтобы не выплачивать долг, расквитаться за унижение или за неверность жены. В ответ на расправу над поселенцами проводили карательные операции, людей хватили и подвергали пыткам. Страх перекинулся на другую сторону и отныне царил повсюду.

Всякий раз, как происходило очередное нападение, Амин спрашивал себя, жив ли еще Омар или, может быть, его убили. Он думал об этом, когда в Касабланке зарезали крупного промышленника, когда в Рабате был убит французский солдат, когда в Беркане погиб

старик марокканец, а в Марракеше произошло покушение на чиновника, занимавшегося благоустройством города. Он подумал об Омаре, когда спустя два дня после гибели газетчика Жака Лемегр-Дюбрёя, убитого за умеренные взгляды, которые были расценены группой «контртеррора» как сочувствие воинствующим националистам, слушал по радио выступление генерал-резидента Франсиса Лакоста: «Насилие, все формы насилия порождают страх и одинаково неприемлемы». Спустя несколько дней Франсиса Лакоста сменил Жильбер Гранваль, прибывший в страну в самый напряженный момент. Поначалу он надеялся, что терроризм постепенно пойдет на убыль, что между сообществами наладится диалог. Он отменил несколько смертных приговоров и предписаний о высылке из страны. Он резко выступил против ярых французских националистов. Но в праздничный день Четырнадцатого июля, в Касабланке, в районе Мерс-Султан, произошел теракт, и все надежды Гранваля рухнули. Женщины в трауре, в закрывающих лицо черных вуалях отказались пожать руку представителю французских властей: «Нас ничто не связывает с метрополией, и вот теперь мы теряем то, что создавали долгие годы, – страну, где мы вырастили своих детей». Европейцы ринулись в медину Касабланки, срывая на ходу трехцветные флаги, украшавшие улицы в день национального праздника. Они грабили и поджигали дома и лавки, творили бесчинства, нередко при потворстве полиции. Отныне европейских поселенцев и марокканцев разделяла река пролитой крови.

Омар появился ночью 24 июля 1955 года. Он прибыл в Мекнес, спрятавшись на заднем сиденье машины, за рулем которой сидел парнишка от силы лет восемнадцати. Они остановились в нижней части медины, в пропахшем мочой тупике, и стали ждать рассвета, куря сигареты. Кортёж Жильбера Гранваля должен был проехать через площадь Эль-Хедим около девяти часов утра, и Омар со своими товарищами решил устроить ему достойную встречу. В багажнике машины были спрятаны большие мешки с мусором, два револьвера и несколько ножей. Рассвело, и на площади выстроились военные из местного гарнизона, одетые в парадную форму. Они должны были отдать честь кортежу генерал-резидента и сопровождать Гранваля до ворот Баб-Эль-Мансур, где его ждали с традиционным угощением – финиками и молоком. Вдоль ограждений рядком стояли женщины.

Они вяло махали куклами в форме креста, обернутыми в лоскутки ткани с привязанными к ним букетиками цветов. Женщины получили немножко денег за то, что пришли, и теперь радостно смеялись, переглядываясь между собой. Несмотря на все их старания, было заметно, что веселье это наигранное, что, бодро выкрикивая «Да здравствует Франция!», они ломают комедию. Калеки – кто без руки, кто без ноги – пытались протиснуться как можно ближе к пути следования кортежа, надеясь, что Франция, которая о них забыла, узнает об их горькой судьбе. Отпихивающим их полицейским они подробно сообщали свой послужной список: «Мы сражались за Францию, а теперь оказались в нищете».

На рассвете спецподразделения начали устанавливать заграждения перед всеми воротами старого города. Но вскоре их смела толпа людей, стекавших отовсюду. На площади Эль-Хедим остановился грузовик, и раздраженные полицейские приказали всем, кто в нем ехал, выйти и бросить на землю марокканские флаги, которыми они размахивали. Мужчины отказались и, стоя в кузове, принялись топтать ногами, отчего машина начала раскачиваться, и этот мерный звук взбудоражил толпу. Мальчишки и старики, крестьяне, спустившиеся с гор, горожане и торговцы скопились на подходах к площади. Они несли флаги, фотографии султана и скандировали: «Юсуф! Юсуф!» У некоторых были палки, другие держали в руках ножи для разделки мяса. Вокруг трибуны, где должен был выступать генерал-резидент, топтались именитые марокканцы, обильно потея от беспокойства в своих белоснежных джеллабах.

Омар подал знак своим товарищам, и они выскочили из машины. Зашагали по направлению к толпе и растворились в этом рое, гудевшем все более возбужденно. Позади них женщины с закрытыми лицами старались вскарабкаться повыше, выкрикивая: «Независимость!» Омар сжал кулак и, крича вместе со всеми, совал в руки окружавшим его мужчинам мешки с мусором. Они забросали полицейских апельсиновой кожурой, гнилыми фруктами, сухими навозными лепешками. Низкий проникновенный голос Омара подзадоривал его спутников. Он топал ногой, плевал, и его ярость передавалась окружающим, наполняя отвагой грудь пылких юношей и согбенных стариков. Один парень лет пятнадцати, одетый в белую майку и короткие штаны, из-под которых виднелись по-детски гладкие

икры, разбежался и бросил камень в солдат охраны. Другие манифестанты последовали его примеру и стали забрасывать полицейских камнями. Теперь были слышны только удары камней о мостовую и крики полицейских, по-французски призывавших к порядку. Один из них, чья разбитая бровь сильно кровоточила, схватился за автомат. Он выпустил очередь в воздух, потом, стиснув зубы и в диком страхе глядя перед собой, навел ствол на толпу и выстрелил снова. К ногам Омара упал парень из Касабланки. Несмотря на сутолоку, на беспорядочное бегство людей и женский плач, товарищи Омара окружили раненого, и один из них попытался вытащить его из толпы:

– Сейчас подъедут машины скорой помощи. Надо добраться до «островка безопасности»^[33].

Но Омар остановил его резким движением руки:

– Нет.

Молодые люди, привыкшие к хладнокровию своего командира, переглянулись. Лицо Омара было абсолютно спокойно. На нем играла довольная улыбка. Все прошло именно так, как он хотел, а беспорядки и давка – лучшее из того, что могло случиться.

– Если мы отвезем его в больницу и он останется жив, его будут пытаться. Пригрозят, что отправят его в страшную тюрьму Даркум или еще куда-нибудь, и он заговорит. Никакой скорой. – Омар наклонился и поднял на руки раненого, который кричал от боли. – Бегите!

В панике Омар потерял очки. Потом ему стало казаться, что именно благодаря слепоте он сумел выбраться из толпы, не попасть под пули, дойти до ворот медины и затеряться на ее узких улочках. Он не пытался ни узнать, побежали ли за ним его товарищи, ни утешить раненого, звавшего мать и молившего Аллаха сжалиться над ним. Он не видел сотен сандалий и шлепанцев, валявшихся на земле там, где он играл в детстве, не видел множества фесок с пятнами крови, не видел плачущих мужчин.

На улочках квартала Беррима его встретили радостные возгласы, доносившиеся с террас на крышах, где собрались женщины. Ему показалось, что они подбадривают его, провожают к дому матери, он, как сомнамбула, добрался до старой, обитой гвоздями двери и постучал. Ему открыл незнакомый старик. Омар оттолкнул его, вошел

во внутренний дворик и, как только за его спиной закрылась дверь, спросил:

– Ты кто такой?

– А ты кто такой? – отозвался старик.

– Это дом моей матери. Где они?

– Уехали. Уж месяц как уехали, а то и больше. Я пока что за домом присматриваю. – Сторож бросил тревожный взгляд на тело, которое Омар тащил на спине, и добавил: – Мне не нужны неприятности.

Омар положил раненого на влажную кушетку. Наклонился как можно ниже и прижался ухом к губам молодого человека: тот дышал.

– Не спускай с него глаз, – приказал Омар.

Встав на четвереньки, он поднялся по лестнице, ощупывая ладонями каждую ступеньку. Он почти ничего не видел, только неясные контуры предметов, размытые пятна света, ловил каждое внушающее тревогу движение. Внезапно он почувствовал запах дыма и понял, что вокруг горят дома, что люди поджигают магазины и лавочки предателей, что весь город восстал. Он услышал гул самолета, кружившего над мединой, и отдаленные звуки выстрелов. Омар обрадовался, поняв, что люди снаружи продолжают борьбу, что Франция, и Жильбер Гранваль особенно, должны трепетать, потерпев такой провал. К началу дня арабские конники в боевом снаряжении и спецподразделения жандармерии полностью изолировали медину, отрезав ее от нового города. Три танка заняли позицию у гарнизона Публан, нацелив стволы на старый арабский город.

Когда Омар спустился вниз, раненый лежал без сознания. Старик сторож сидел поблизости, шмыгая носом и хлопая себя ладонями по лбу. Омар велел ему утихнуть, старик поспешно прошмыгнул через внутренний дворик и скрылся в бывшей комнате Муилалы, совсем как когда-то их домашние кошки. Весь день Омар сидел в раскаленном внутреннем дворе. Порой тер себе виски и изо всех сил таращил глаза, становившиеся круглыми, как у совы, словно надеялся, что к нему вернется зрение. Он не мог рисковать, не мог выйти на улицу, его сразу же арестовали бы полицейские, прочесывавшие каждый закоулок медины, стучавшие в двери домов, угрожавшие их выломать и разгромить все внутри. По улицам разъезжали джипы, вывозя европейцев, еще оставшихся в арабском городе, и доставляя их на

ярмарочную площадь, в гостиницу «Бордо», реквизированную по такому случаю.

Прошло несколько часов, и Омар уснул. Старик, вздрагивавший при каждом шорохе, стал читать молитву. Он смотрел на Омара и думал, что у этого молодого человека, наверное, каменное сердце, у него нет ничего святого и его ничто не трогает, раз он может спать в такой ситуации. Ночью раненый начал метаться и бредить. Сторож подошел к нему, взял за руку и попытался разобрать, что бормочет мальчишка. Тот был простым крестьянином, жил в глухой горной деревушке, потом сбежал от беспросветной нищеты и очутился в трущобах Касабланки. Несколько месяцев он пытался наняться на какую-нибудь изстроек, о которых слышал столько всего заманчивого. Ему везде отказывали, и, как тысячи других необученных деревенских парней, он отправился тянуть лямку в фосфоритных карьерах неподалеку от Касабланки, слишком бедный и слишком пристыженный, чтобы возвращаться домой. Там, среди лачуг из листов жести, в кварталах, где дети росли без отцов, где они ходили под себя и умирали от обычной ангины, его и нашел вербовщик. Наверное, прочел в его глазах ненависть и отчаяние и счел, что это будет хороший боец. Теперь, страдая от жара и мучительной боли, мальчик просил сообщить о нем матери.

Когда забрезжил рассвет, Омар позвал сторожа:

– Сейчас пойдешь и приведешь врача. Если полиция спросит, куда идешь, скажи, женщина рожает, срочно нужна помощь. Поторапливайся. Одна нога здесь, другая там, понял?

Он протянул сторожу записку, и тот, обрадовавшись возможности покинуть этот проклятый дом, опрометью выскочил за дверь.

Спустя два часа в дом вошел Драган. Он не задавал вопросов старику, просто шел за ним, неся в руке свою старую кожаную сумку. Он не ожидал увидеть Омара и слегка отпрянул, когда молодой человек встал перед ним, выпрямившись во весь свой огромный рост:

– У нас тут раненый.

Драган последовал за ним и склонился над пареньком: тот едва дышал. У него за спиной беспокойно топтался брат Амина. Без очков его осунувшееся, с тонкими чертами лицо выглядело юным, почти детским. Волосы слиплись от пота, на шее виднелись пятна засохшей крови. От него воняло.

Драган порылся в сумке. Попросил старика помочь, сторож вскипятил воду и вымыл инструменты. Врач обработал рану, обложил раненую руку бинтами, соорудив нечто вроде защитного валика, и вколол успокоительное. Все это время он с ним ласково разговаривал, гладил по лбу и подбадривал.

Когда Драган зашивал рану, в дом вошли товарищи Омара. Заметив, как почтительно они ведут себя со своим командиром, сторож стал перед ним заискивать. Он засуетился, побежал на кухню, чтобы приготовить чай для бойцов сопротивления. Он дважды громогласно проклял французов, обозвал христиан неверными, а когда встретился взглядом с Драганом, тот только пожал плечами, давая понять, что его все это не касается.

Врач подошел к Омару, собираясь уходить.

– Надо следить за состоянием раны, регулярно ее обрабатывать. Если хотите, я могу зайти сегодня вечером. Сделаю перевязку, принесу жаропонижающие средства.

– Очень любезно с вашей стороны, но сегодня вечером нас уже здесь не будет, – ответил Омар.

– Ваш брат очень о вас беспокоился. Он вас искал. Прошел слух, что вы в тюрьме.

– Мы все в тюрьме. Пока мы живем в колонизированной стране, мы не можем считать себя свободными.

Драган не нашелся что ответить. Он пожал руку Омару и вышел. Он шагал по пустынным улицам старого города, и лица редких попадавшихся ему прохожих были отмечены горем и печалью. В

вышине раздался голос муэдзина. В то утро похоронили четверых молодых людей. Французские полицейские на рассвете выставили заградительный кордон, и под их защитой похоронная процессия тихо и благоговейно проследовала в мечеть. Омар, провожая Драгана к выходу, предложил ему денег, но тот сухо отказался. А он жестокий, думал врач по дороге домой. Брат Амина напомнил ему тех, кого он встречал раньше, во время своих скитаний. Эти люди произносили высокие слова, пыжились, рассуждали об идеалах, и, видимо, эти высокопарные речи вытравили в них все человеческое.

Драган на целый день отпустил водителя, сам сел за руль и, опустив стекла, покатыл на ферму Бельхаджей. Снаружи небо было нежно-голубым, и жара стояла такая, что казалось, поля могут сами по себе загореться. Драган открыл рот, и в легкие ворвался горячий ветер, злой ветер, опаливший ему грудь, он закашлялся. В воздухе витал запах лавра и раздавленных клопов. Как обычно в такие грустные минуты, он подумал о своих деревьях, о спелых сочных апельсинах, которые в один прекрасный день попадут на стол к чехам и венграм, как будто он пошлет кусочек солнца в эти сумеречные земли.

Когда он добрался до фермы на холме, то почувствовал себя почти виноватым в том, что принес невеселую весть. Он был не из тех, кто верил в сказки о славных деревеньках, населенных добродушными и веселыми крестьянами-берберами. Однако он знал, что здесь, несмотря ни на что, царил относительный мир, некая гармония, которую Амин с Матильдой старались сохранить во что бы то ни стало. Ему было известно, что они намеренно держались подальше от пылающего яростью города, не включали радио, газет не читали, а заворачивали в них яйца или делали шапочки и самолетики для маленького Селима. Драган поставил машину и вдалеке заметил Амина, спешившего домой. В саду Аиша сидела на дереве, а Сельма качалась на качелях, которые Амин велел повесить на ветвях «апельмона». Раскаленные цементные плитки полили водой, и с земли поднималось облако пара. В кронах деревьев порхали птицы, и при виде равнодушия природы перед людской глупостью на глаза Драгана навернулись слезы. Они перебьют друг друга, подумал он, а бабочки как летали, так и будут летать.

Матильда встретила Драгана с такой радостью, что у него еще сильнее сжалось сердце. Она хотела отвести его в амбулаторию,

показать, в каком идеальном порядке у нее теперь содержатся инструменты и лекарства. Она спросила, как поживает Коринна, которая переселилась в их маленький домик на побережье. Матильда по ней скучала. Она предложила ему пообедать с ними и, страшно смутившись, так что ее лицо и шея покрылись красными пятнами, призналась, что ничего больше не приготовила, кроме кофе с молоком и бутербродов:

– Это, конечно, смешно, но детям нравится.

Драган, боясь, что его могут услышать, шепнул, что у него к ним серьезный разговор и лучше будет пройти в кабинет. Он сел напротив Амина и Матильды и монотонным голосом поведал о вчерашних событиях. Амин ерзал на стуле, все время поглядывал в окно, как будто на улице его ждало неотложное дело. Казалось, он говорит: «А мне-то что до этого?» Когда Драган произнес имя Омара, супруги застыли, одинаково внимательные, одинаково сосредоточенные. Они ни разу не переглянулись, но Драган заметил, что они взяли за руки. В этот момент они не принадлежали к противоборствующим лагерям и не радовались поражениям друг друга. Они не ждали, когда один из них расплечется или, наоборот, возрадуется, чтобы обрушиться на него и осыпать упреками. Нет, сейчас они оба принадлежали к одному – несуществующему – лагерю, где смешались в равной, а значит, почти невозможной пропорции милосердие и жестокость, сочувствие к убийцам и к их жертвам. Все чувства, что они испытывали, казались им предательством, а потому они предпочитали о них молчать. Они были одновременно мучениками и палачами, соратниками и противниками, неспособными дать определение своим взглядам. Они оба были отлучены от своей веры, не могли больше молиться ни в каком храме, их бог был сокровенным, только их личным, они даже не знали, как его называть.

Часть IX

В тот год Ид-аль-Кабир пришелся на тридцатое июля. И горожане, и деревенские жители боялись, как бы праздник не стал поводом для бесчинств, а прославление жертвы Ибрахима не превратилось в резню. Администрация генерал-резидента снабдила четкими инструкциями военных, размещенных в Мекнесе, и чиновников, пришедших в ярость оттого, что не получится уехать на лето в метрополию. В окрестностях фермы Бельхаджей многие поселенцы покидали свои владения. Роже Мариани уехал в курортный городок Кабо-Негро, где у него был дом.

За неделю до праздника Амин купил барана: его привязали к плакучей иве, и Мурад кормил его соломой. Из высокого окна гостиной Аиша и ее брат рассматривали барана, его желтоватую шерсть, грустные глаза, острые загнутые рога. Мальчик захотел погладить животное, но сестра его не пустила.

– Папа купил его для нас, – возразил ей Селим.

Тогда она в приступе неудержимой жестокости в мельчайших подробностях описала ему, что произойдет с этим бараном. Детям не позволили смотреть, как специально приглашенный мясник перерезал горло барану и его кровь брызнула двумя фонтанами и разлилась по траве в саду. Тамо принесла тазик с водой и, вознося хвалы Аллаху за щедрость, смыла с травы красные потеки.

Женщины приветствовали происходящее пронзительными ритуальными возгласами, а один из работников разделал барана прямо на земле. Шкуру развесили на воротах. Тамо с сестрами развели на заднем дворе большой огонь, чтобы жарить мясо. Через кухонное окно было видно, как в воздух выстреливают горящие угольки, и слышно, как женщины копаются в бараньих внутренностях, которые чвакают и хлюпают под руками, словно губка, пропитанная водой.

Матильда сложила в большой железный лоток сердце, легкие и печень. Она позвала Аишу и показала ей красно-фиолетовое сердце, приказав наклониться поближе:

– Посмотри, оно точно такое же, как в книге. Кровь проходит вот тут. – Она сунула палец в аорту, потом указала два желудочка, два

предсердия и под конец добавила: – А как называется вот это, я не знаю, забыла.

Потом под возмущенными взглядами служанок, считавших ее действия неприличными и кощунственными, Матильда взялась за легкие. Она подставила два серых липких мешочка под кран и смотрела, как они наполняются водой. Селим захлопал в ладоши, и Матильда поцеловала его в лоб.

– Представь себе, что это не вода, а воздух. Посмотри, мой милый, так мы дышим.

Спустя три дня после праздника воины Армии освобождения, скрывая лица под черными балаклавами, среди ночи заявили в дуар. Они потребовали, чтобы Ито и Ба Милуд их накормили и раздобыли для них бензин. На рассвете они уехали, пообещав, что вот-вот одержат победу и что времена, когда крестьян безнаказанно грабили, уже позади.

* * *

В те дни Матильда думала, что ее дети слишком малы, чтобы понять происходящее, и она ничего им не объясняла, но вовсе не из равнодушия и не из родительского упрямства. Она была уверена в том, что дети, несмотря ни на что, живут в коконе невинности, который взрослые не способны прорвать. Матильда считала, что понимает свою дочь лучше, чем кто-либо, читает в ее душе так же ясно, как если бы рассматривала красивый пейзаж за окном. Она относилась к Аише как к подруге, союзнице, рассказывала ей то, что девочке слушать было не по возрасту, и успокаивала себя, думая: «Если она не понимает, значит, это не принесет ей вреда».

Аиша и вправду не понимала. По ее мнению, мир взрослых был туманным, расплывчатым, как поля и деревья перед рассветом или в вечерних сумерках, когда контуры предметов размываются. Родители вели разговоры в ее присутствии, она ловила обрывки фраз, которые они произносили, понижая голос на словах «убийство» или «гибель». Иногда Аиша задавалась вопросами, не произнося их вслух. Она думала, отчего Сельма больше не спит вместе с ней. Почему работницы позволяют работникам с потрескавшимися руками и красными от солнца шеями затаскивать их в высокую траву. Она подозревала, что существует нечто, именуемое несчастьем, и что люди

могут быть жестокими. И она искала объяснений в окружавшей ее природе.

В то лето Аиша снова стала жить как дикарка: ее никто не заставлял соблюдать режим и не чинил никаких препятствий. Она изучала мир холма, который был для нее островом посреди равнины. Иногда встречала других детей, в основном мальчиков, своих ровесников, тащивших на руках испуганных грязных ягнят. Они шли через поля, по пояс голые, черные от солнца, с выгоревшими до белизны волосами на затылке и руках. Струйки пота оставляли светлые полосы на их запыленной коже. Аиша смущалась, когда юные пастухи подходили к ней и предлагали погладить ягненка. Она не могла отвести взгляд от их мускулистых плеч, от крепких лодыжек и видела в них будущих мужчин. Пока что они были детьми, такими же, как она, и пребывали в таком же состоянии благодати, но Аиша понимала – скорее бессознательно, – что взрослая жизнь вот-вот их настигнет. Что работа и бедность состарят их тела гораздо быстрее, чем вырастет она сама.

Каждый день она провожала на работу вереницу крестьян, подражая их действиям и стараясь не отвлекать. Она помогала им мастерить пугало из старой одежды Амина и свежей соломы. Развешивала на фруктовых деревьях осколки зеркала, которые отпугивали птиц. Часами могла наблюдать за гнездом совы в кроне авокадо или норой крота в дальнем конце сада. Она была терпелива, умела ходить неслышно, научилась ловить хамелеонов и ящериц, прятала их в коробку, а потом слегка приподнимала крышку, чтобы полюбоваться своей добычей. Однажды утром она нашла на дороге эмбрион птенца, крошечный, не больше ее мизинца. У маленькой птицы, по сути даже еще не птицы, уже имелись клюв, коготки и скелет, такой малюсенький, что в это почти невозможно было поверить. Аиша легла на землю и стала наблюдать за трудами муравьев, бегавших по мертвому тельцу. Она подумала: «Они жестокие, хоть и маленькие». Ей хотелось расспросить землю, чтобы она поведала о том, что видела, о людях, живших на ней до Аиши и умерших здесь, – о тех, кого она не знала.

Аиша чувствовала себя совершенно свободной и, наверное, поэтому решила отыскать границы отцовских владений. Она никогда точно не знала, как далеко ей позволено ходить, где она у себя дома, а

где начинается чужая земля. Каждый день у нее хватало сил уходить все дальше, и порой она ожидала, что наткнется на стену, решетчатую ограду, большой камень и подумает: «Вот здесь уже все. Дальше идти нельзя». Однажды она миновала ангар, где стоял трактор. Прошла через плантации айвы и оливковых деревьев, проложила дорогу между высокими стеблями подсолнечника, обожженными солнцем. Аиша очутилась на пустыре, заросшем крапивой с нее ростом, и заметила каменную стенку высотой примерно в метр. Она была побелена известкой и огораживала небольшое пространство, которое заполнили сорняки. Однажды Аиша здесь уже была. Очень давно, когда она была совсем маленькой: Матильда держала ее за руку и собирала цветы, облепленные мошкаррой. Она показала Аише стену и сказала:

– Здесь нас похоронят – твоего отца и меня.

Аиша подошла к огороженному месту. От кактусов-опунций, покрытых плодами, тянуло медом, и она легла на землю, на том месте, где, как она воображала, будет захоронено тело ее матери. Разве может быть, чтобы Матильда стала дряхлой старухой, такой же старой и морщинистой, как Муилала? Она прикрыла согнутой рукой лицо, чтобы его не спалило солнце, и стала представлять себе анатомические таблицы, подаренные Драганом. Она выучила наизусть названия некоторых костей по-венгерски: *combcson* – бедренная кость, *gerinc* – позвоночник, *kulcscsont* – ключица.

Однажды вечером во время ужина Амин сообщил, что они проведут два дня на море, на пляже в Мехдии. Выбор места никого не удивил: до этого ближайшего к Мекнесу курортного городка было меньше трех часов пути на машине. Однако Амин всегда высмеивал развлечения, о которых мечтала Матильда, – пикники, лесные прогулки, походы в горы. Он говорил, что любители приятно отдохнуть – бездельники, лентяи, никчемные люди. Он устроил эту поездку, вероятно, только по настоянию Драгана: у того был на побережье небольшой домик, и, будучи неизменным союзником Матильды, Драган не раз замечал, что при упоминании об отпуске у нее в глазах загорался огонек зависти. В этой зависти не было ни злобы, ни горечи, только грусть, как у ребенка, который смотрит на игрушку в руках у другого малыша, смирившись с тем, что у него

никогда такой не будет. А может, Амином руководили иные, более глубокие чувства, например, желание загладить свою вину, порадовать жену, потихоньку угасавшую на холме, в его мире, где господствовал труд.

Они сели в машину на рассвете. Небо порозовело, и в этот час цветы, посаженные Матильдой у въезда на ферму, особенно сильно благоухали. Амин подгонял детей, ему хотелось проделать путь по утренней прохладе. Сельма осталась на ферме. Она не встала, чтобы с ними попрощаться, и Матильда подумала, что так даже лучше. Ей было бы трудно встретиться с ней взглядом. Селим и Аиша расположились на заднем сиденье. Матильда надела шляпу из рафии и взяла с собой большую корзину, сложив туда маленькие лопатки и старое ведро.

Неприятности начались за несколько километров до моря. Селиму стало нехорошо, в машине запахло рвотой – смесью кислого молока и кока-колы. Они запутались в улочках, где разгуливали люди, приехавшие семьями на отдых, и долго искали домик Палоши. Коринна загорала на террасе, а Драган с красным потным лицом прикладывался к очередной порции пива. Он очень обрадовался и схватил на руки Аишу. Он подбросил ее в воздух, и это воспоминание – воспоминание о том, как она почувствовала себя невесомой в его огромных волосатых руках, – врезалось в ее память почти так же сильно, как воспоминание о море.

– Как? Ты никогда не видела моря? Это нужно срочно исправить! – заявил доктор.

Он потащил Аишу на песчаный пляж, но ей не очень понравилось, что он так торопился. Она хотела бы посидеть несколько минут, закрыв глаза, на этой террасе, на солнышке, и послушать волнуемый, завораживающий шум моря. С этого ей было бы приятнее начать. Она считала, что это красиво. Шум, похожий на легкий шелест в свернутой трубкой газете, когда один тихонько дует в нее, а другой слушает, приставив ее к уху. Шум, напоминающий дыхание спящего человека, счастливого, видящего хорошие сны. Откат волны, ее ласковое ворчание, к которому примешивались приглушенные крики играющих детей и предостережения их мам: «Не заходи дальше, утонешь!» – жалобное поскуливание торговцев шоколадом и пончиками, обжигавших босые подошвы о горячий песок. Драган, по-прежнему

держа Аишу на руках, подошел к воде. Он опустил девочку на землю, ей еще надо было разуться, она села и сняла бежевые кожаные сандалии. Вода коснулась ее, но она ничуть не испугалась. Она попыталась кончиками пальцев поймать пузырьки пены, образовавшейся на краешке волны. «Пена», – произнес Драган со своим сильным акцентом. Казалось, он гордился тем, что знает это слово.

Взрослые пообедали на террасе.

– Утром к нам пришел рыбак и предложил сегодняшний улов. Свежее этой рыбы вы никогда ничего не попробуете, – заявил хозяин.

Служанка, которую Коринна привезла из Мекнеса, приготовила салат из помидоров и маринованной моркови, и они ели руками жареные сардины и какую-то белую рыбу, длинную как угорь, с плотной и пресной мякотью. Матильда то и дело запускала руку в детские тарелки. Она раздирала рыбу на мелкие кусочки, приговаривая:

– Не хватало только, чтобы они подавились косточкой. Весь отдых испортят.

В детстве Матильда была непревзойденной пловчихой. Ее товарищи говорили, что тело у нее создано для плавания. Широкие плечи, крепкие бедра, плотная кожа. В Рейне она купалась даже осенью, даже в самом начале весны, выходя из воды с посиневшими губами и сморщенными пальцами. Она могла надолго задерживать дыхание, и больше всего на свете ей нравилось держать голову под водой, получать удовольствие от этой тишины – даже не тишины, а дыхания глубин, – от отсутствия людской суеты. Однажды – ей тогда было лет четырнадцать-пятнадцать – она легла на воду и замерла лицом вниз, отдавшись на волю течения, и так долго плыла в этом положении, словно старая ветка, что ее приятель в конце концов не выдержал и бросился ее спасать. Он решил, что она умерла, ему на ум пришли романтические истории, когда юные девы топились в реке из-за несчастной любви. Но Матильда подняла голову и рассмеялась:

– Попался!

Мальчик разозлился:

– Я новые брюки испортил! Мать ругаться будет.

Коринна надела купальник, и Матильда пошла с ней на пляж. Вдалеке несколько семейств, поставив большие палатки прямо на

песке, жили в них уже месяц, готовя еду на маленьких керамических жаровнях и моясь в общественном душе. Матильда вошла в море и, когда оказалась по грудь в воде, испытала такое неизъяснимое блаженство, что чуть было не метнулась к Коринне, чтобы ее обнять. Она уплыла так далеко, как только могла, ныряла настолько глубоко, насколько позволяли легкие. Иногда она оборачивалась и смотрела на домик Палоши, который становился все меньше и меньше, а вскоре стал почти неразличим среди множества выстроившихся в ряд домов, похожих один на другой. Сама не зная почему, она принялась размахивать руками, может, чтобы поприветствовать своих детей, а может, чтобы показать, как далеко она заплыла.

Селим в великоватой для него соломенной шляпе копался в песке и вырыл ямку, привлекающую внимание других детей.

– Надо построить замок, – заявила девочка.

– И обязательно выкопать рвы! – с воодушевлением подхватил мальчик, у которого не хватало трех зубов, отчего он шепелявил.

Аиша села рядом с ними. Как, оказывается, легко подружиться на пляже у моря! По пояс голые, загорелые, они играли вместе и думали только о том, как выкопать ямку поглубже, чтобы на дне появилась вода и у подножия замка образовалось озеро. Под действием морской воды и ветра волосы Аиши, обычно спутанные и вьющиеся мелким бесом, теперь лежали крупными волнами, и она то и дело их трогала. Она подумала, что, когда они вернутся на ферму, надо будет попросить Матильду добавлять пакет соли в воду для мытья головы.

Ближе к вечеру Коринна помогла Матильде помыть детей. Переодетые в пижамы, утомленные играми и купанием, они улеглись на террасе. Аиша почувствовала, что глаза у нее слипаются, но представшее перед ней великолепное зрелище не позволило ей уснуть. Небо стало красным, потом розовым, наконец горизонт засиял оттенками сиреневого, и солнце, раскаленное до предела, медленно опустилось в море, которое его неспешно поглотило. По пляжу шел продавец жареной кукурузы, и Аиша взяла из рук Драгана горячий початок. Ей не хотелось есть, но не было ни малейшего желания хоть от чего-то отказываться, наоборот, она решила использовать все, что подарит ей этот день. Она впилась зубами в початок, зерна кукурузы застряли между ними, это было неприятно, и она закашлялась. Перед

тем как уснуть, она услышала смех отца, смех, какого прежде никогда не слышала, – беззаботный, искренний.

Когда Аиша проснулась на следующее утро, взрослые еще спали, и она в одиночестве стала разгуливать по террасе. Ночью ей снился сон, длинный, как ленточка фруктовой кожуры, которую Матильда снимала ножом, упрямо поджав губы и обещая сделать из нее праздничную гирлянду. Супруги Палоши завтракали прямо в купальных костюмах, и это, похоже, страшно смутило Амина.

– Мы живем здесь как робинзоны, – пояснил Драган, чья молочно-белая кожа приобрела оттенок неспелой вишни, – одеваемся попросту, едим то, что дает море.

В полдень стало так жарко, что над водой зависло облако блестящих красных стрекоз, пикировавших в воду, потом снова взлетающих над волнами. Небо словно выцвело и стало белым, солнце слепило глаза. Матильда перенесла зонт и полотенца как можно ближе к воде, чтобы наслаждаться морской прохладой и следить за детьми, без усталости играющими в волнах, копящимися в мокром песке, наблюдавшими за крохотными рыбками, которые щекотали им ступни. Амин сел рядом с женой. Он снял рубашку, потом брюки: под ними у него были плавки, которые одолжил ему Драган. Его кожа на животе, спине и ногах была бледной, загорели только руки. Он подумал, что никогда еще не позволял солнцу ласково трогать свое обнаженное тело.

Плавать Амин не умел. Муилала всегда боялась воды и запрещала детям приближаться к водоему и даже к колодцу. «Вода вас засосет», – предостерегала их она. Но, глядя на детей, плескавшихся в волнах, и хрупких белых женщин, поправлявших купальные шапочки и плававших, держа голову над водой, Амин решил, что это, скорее всего, не так уж трудно. Вряд ли у него это по какой-то причине может не получиться, ведь в детстве он бегал куда быстрее, чем большинство его друзей, ездил верхом без седла и мог взобраться на дерево на одних руках, не упираясь ногами.

Он собирался уже пойти в воду к детям, когда услышал вскрик Матильды. Волна, более высокая, чем остальные, добралась до полотенца и унесла одежду Амина. Стоя на кромке воды, он видел, как покачиваются на волнах его брюки. Море, словно ревнивая

любовница, насмеялось над ним, тыча пальцем в его наготу. Дети, заливаясь смехом, помчались ловить его одежду в надежде получить вознаграждение, коего они, как им казалось, заслуживают. Матильде в итоге удалось вытащить брюки, и она их отжала. Амин ей сказал:

– Не будем больше задерживаться. Пора возвращаться.

Когда они позвали детей, те отказались вылезать из воды и заявили, что не хотят ехать домой. Амин и Матильда стояли перед ними на песке и сердито говорили:

– Выходите немедленно. Довольно! Хотите, чтобы мы сами пришли и вас забрали?

Дети не оставили им выбора. Матильда грациозно прыгнула в воду, а Амин с опаской побрел следом, пока вода не дошла ему до подмышек. Он ледяным от ярости голосом потребовал, чтобы дети шли на берег, и вытащил Селима из воды, ухватив его за волосы. Малыш завопил.

– Не пытайся больше никогда перечить отцу, ты понял? – грозно прорычал Амин.

Аиша, не в силах совладать с собой, проплакала всю обратную дорогу. Она упорно смотрела вдаль, не разговаривая с матерью, которая безуспешно пыталась ее утешить. На обочине дороги она заметила вереницу мужчин со связанными руками, в лохмотьях, с покрытыми пылью волосами, и подумала, что их, наверное, вытащили из какой-нибудь пещеры или ямы. Матильда произнесла:

– Не смотри на них.

* * *

Они приехали на ферму среди ночи. Матильда взяла Селима на руки, а Амин понес заснувшую Аишу и уложил в кровать. Когда он уже собирался закрыть за собой дверь ее комнаты, дочь спросила его:

– Папа, только на злых французов нападают, правда? Добрых ведь их работники защищают, как ты думаешь?

У Амина на лице промелькнуло изумление, и он сел к ней на кровать. Опустив голову и прижав ладони к губам, на несколько секунд задумался.

– Нет, – решительно отрезал он, – все это не имеет никакого отношения ни к доброте, ни к справедливости. Есть хорошие люди,

чьи фермы сожгли, а есть скверные, которым все сходит с рук. На войне не бывает ни добрых, ни злых, и справедливости тоже нет.

– Значит, сейчас идет война?

– Не совсем, конечно, – задумчиво протянул Амин и, словно говоря с самим собой, добавил: – На самом деле это хуже, чем война. Потому что наши враги или те, кто должны быть нашими врагами, долгие годы живут рядом с нами. Некоторые из них – наши друзья, наши соседи, наши родные. Они выросли вместе с нами, и когда я смотрю на них, я не вижу перед собой врага, которого нужно убить, а вижу ребенка.

– Но мы-то, мы на какой стороне? Добрых или злых?

Аиша села на кровати и с беспокойством смотрела на него. Он подумал, что не умеет разговаривать с детьми, что она, вероятно, не поймет то, что он пытается ей объяснить.

– Нет, мы как твое дерево – наполовину апельсин, наполовину лимон. Мы ни на какой стороне.

– Значит, они и нас тоже убьют?

– Нет, с нами ничего не случится. Я тебе обещаю. Можешь положить щечку на подушку и спать спокойно.

Он обхватил ладонями лицо дочки, притянул ее к себе и поцеловал в щеку. Тихонько затворил дверь и, идя по коридору, размышлял о том, что апельсмон, конечно, дает плоды, но они несъедобны. Мякоть у них сухая, а вкус такой горький, что на глаза наворачиваются слезы. Он подумал, что в мире людей все происходит точно так же, как в мире растений. В конце концов один вид опередит другой, и настанет день, когда апельсин одержит верх над лимоном, или наоборот, и дерево наконец принесет съедобные плоды.

* * *

Нет, убеждал себя он, никто не придет нас убивать, и ему очень хотелось в это верить. Весь август он спал, положив под кровать карабин, и попросил Мурада поступать так же. Мурад помог Амину соорудить люк в платяном шкафу супружеской спальни. Мужчины вытащили вещи, убрали полки и смастерили что-то вроде двойного дна. В один прекрасный день он позвал детей, а когда они пришли, приказал:

– Полезайте сюда.

Селим решил, что это очень увлекательная игра, и юркнул в люк, а сестра залезла следом за ним. Амин опустил крышку, и дети очутились в полной темноте. Из своего тайного убежища они слышали голос отца, только приглушенный, и шаги ходивших по комнате взрослых.

– Если что-нибудь случится, если мы окажемся в опасности, вам надо будет спрятаться здесь.

Амин научил Матильду обращаться с гранатой на тот случай, если на ферму нападут в его отсутствие. Она сосредоточенно, как солдат, слушала его, готовая на все, чтобы защитить свою территорию. Несколькими днями раньше к ней в амбулаторию пришел один человек. Это был пожилой работник, который трудился на ферме с незапамятных времен и знал еще старого Кадура Бельхаджа. Она вообразила, что он вызвал ее поговорить на улицу, под большую пальму, из стыдливости. Может, заболел и не хотел, чтобы об этом стало известно. Может, как это часто бывало, решил попросить аванс в счет будущей зарплаты или работу для дальних родственников. Старик заговорил о погоде, об изнурительной жаре, о сухом ветре, очень вредном для урожая. Спросил, как поживают ее дети, и осыпал их благословениями. Исчерпав общие темы, он положил руку на плечо Матильды и шепотом проговорил:

– Если однажды, днем, а тем более ночью, я приду к тебе, не открывай дверь. Даже если это буду я, даже если скажу, что дело срочное, что кто-то заболел и нужна твоя помощь, покрепче запри дверь. Если я приду, значит, я собираюсь тебя убить. Значит, я в конце концов поверил тем, кто говорит, что можно попасть в рай, если убивать французов.

В ту ночь Матильда взяла спрятанный под кроватью карабин и отправилась босиком к большой пальме. В полумраке она стреляла в ствол до тех пор, пока у нее не кончились патроны. На следующее утро Амин, проснувшись, обнаружил трупы крыс, застрявшие среди побегов плюща. Он потребовал объяснений, но Матильда в ответ только пожала плечами:

– Я больше не могла выносить этот шум. Они так шуршали листвой, бегая по пальме, что мне начали сниться кошмары.

* * *

На исходе месяца наступила роковая ночь. Это была прекрасная, тихая августовская ночь. Между острыми верхушками кипарисов сияла рыжая луна, и дети легли на землю, чтобы удобнее было наблюдать за падающими звездами. Из-за изнурительного шерги у них вошло в привычку ужинать в саду, сразу как стемнеет. Блестящие зеленоватые мухи погибали, приклеившись к воску свечей. Десятки летучих мышей бесшумно планировали с дерева на дерево, и Аиша все время трогала голову, боясь, как бы они не устроили гнездо у нее в волосах.

Женщины первыми услышали выстрелы. Их слух был натренирован на крики младенцев, стоны больных, они проснулись и сели в кроватях, почувствовав, как сжалось сердце от недобрых предчувствий. Матильда побежала в комнату к детям. Она схватила их на руки, теплых, вялых со сна. Прижала к себе Селима, приговаривая: «Все хорошо, все хорошо». Она приказала Тамо спрятать их в шкаф, и Аиша, еще полусонная, поняла, что сверху закрыли крышку и ей нужно успокоить брата. Не время было плакать или привередничать, и они вели себя тихо. Аиша подумала, что им пригодился бы карманный фонарик, с помощью которого они ловили птиц. Жалко, что отец не подумал им его дать.

Из своего убежища Аиша слышала крики Тамо – та хотела бежать в деревню и узнать, как там ее родители, – и грозный возглас отца: «Никто отсюда не выйдет!» Служанка осталась сидеть на кухне, вздрагивая от малейшего шороха, и плакала, уткнувшись лицом в сгиб руки.

Сначала была гигантская вспышка, фиолетовый всполох, пробивший световую брешь в глубокой ночи. Пожар очертил новую линию горизонта, и казалось, будто посреди тьмы вот-вот засияет день. Синеватое зарево сменилось оранжевым пламенем. Поля и сады впервые прорезала световая дорога. Их мир превратился в огромное пожарище, в стреляющий искрами шар. Обычно тихий ландшафт наполнился звуками выстрелов, человеческих криков, смешавшихся с воем шакалов и уханьем сов.

В нескольких километрах от них загорелись поля, потом занялись ветви миндаля, пламя стало пожирать персиковые деревья. Можно было подумать, что тысячи женщин сговорились приготовить дьявольскую трапезу, и жуткий ветер начал разносить запах горячей

древесины и листья. К треску пламени прибавились крики работников из хозяйств поселенцев; люди носились от колодцев к стойлам и к стогам сена, исчезающим на глазах. В воздухе летали огненные искры, угольки и пепел, оседавшие на их лицах, обжигавшие им спины и руки, но они ничего не чувствовали и, сбиваясь с ног, таскали ведра с водой. Животные в стойлах сгорали заживо. «Даже добрая воля всего мира не сможет остановить это смертоубийство. Их ничто не остановит. Мы окажемся в самом пекле. Иначе быть не может», – думал Амин.

Ночью на территорию фермы въехал французский танк. Амин и Мурад, несшие караул после захода солнца, сообщили командиру о своем боевом прошлом. Военный спросил, нужна ли им помощь. Амин посмотрел на железную махину, на солдатскую форму, и ему стало не по себе. Он не хотел, чтобы работники видели, как он о чем-то договаривается с человеком, которого они считали захватчиком.

– Нет-нет, майор, все в порядке. Мы ни в чем не нуждаемся. Можете спокойно ехать дальше, – сказал он.

Военный уехал, а Мурад принял положение «вольно».

Селим плакал. Он сидел в тайнике, прижавшись к сестре, заливая ее соплями и слезами. Она говорила:

– Молчи, дурак, а то злые люди нас услышат, придут за нами и убьют.

Она зажала ему рот, но малыш не мог усидеть спокойно и все время дергался. Она прислушивалась к звукам, доносившимся из дома, особенно к голосу матери, за которую беспокоилась больше всего. Что они сделают с Матильдой, если ее найдут? Селим уgomонился. Он уткнулся в грудь сестры, удивился, что ее сердце бьется не сильнее обычного, к тому же она, кажется, не боялась, и это его успокоило. Прижавшись губами к уху брата, Аиша прочла молитву:

– Ангел небесный, мой надежный и милостивый проводник, помоги мне не противиться твоему внушению и направить свои стопы, ни на шаг не отступая от пути заповедей Господних. Пресвятая Дева, Матерь Божия, моя мать и покровительница, отдаю себя под Твою защиту.

Аиша проснулась первой. Она не знала, сколько времени проспала. Снаружи не доносилось ни звука. Ей показалось, что выстрелы

прекратились, что все успокоилось, и она стала гадать, почему никто не приходит выпустить их из тайника. «А если мы остались одни на всем белом свете? А если все погибли?» – подумала она. Она обеими руками подняла доску у них над головой, вскочила на ноги и открыла дверцу шкафа. Селим лежал на дне тайника и, когда она встала, слабо застонал. В комнате стояла беспросветная тьма. Аиша медленно, вытянув вперед руки, пошла по коридору. Она знала, где что стоит, и старалась ничего не сдвинуть, чтобы не поднять шум и не привлечь к себе внимание. Она добралась до кухни, там тоже было пусто, и сердце Аиши сжалось. Над остатками ужина кружили мухи. «Они пришли, – подумала Аиша. – Они схватили Тамо, родителей и даже Сельму». В этот миг дом показался ей огромным и враждебным. Она представляла себя матерью собственного брата, девочкой, которой предначертана необыкновенная судьба. Она вспоминала рассказы о сиротах и их страданиях, от которых у нее на глаза наворачивались слезы, они пугали ее и в то же время придавали ей сил. Потом она услышала голос Сельмы, далекий, угасающий. Аиша повернулась, но никого не увидела. Сначала она решила, что ей это почудилось, но голос ее тети долетел до нее снова. Девочка подошла окну: оттуда разговор был слышен более отчетливо. Она поняла, что они на крыше, распахнула дверь, радуясь, что они живы, и злясь, что они забыли про них с Селимом. В темноте она поднялась по приставной лестнице на террасу, и первое, что она увидела, были огоньки сигарет, которые курили Амин и Мурад. Мужчины сидели рядом на ящиках из-под миндаля, который работники сушили на крыше, а их жены стояли спиной друг к другу. Матильда смотрела в сторону города: с этой высокой точки можно было рассмотреть его огни. А Сельма наблюдала за пожаром:

– До нас он не доберется, хвала Всевышнему, холм не пострадает. Ветер утих, скоро начнется гроза.

Она раскинула руки, как Иисус на кресте, и несколько раз громко вскрикнула. Крики ее были хрипыми, долгими, они вторили вою шакалов, потревоженных пожаром. Мурад бросил сигарету и грубо дернул жену за юбку, заставив сесть.

Аиша стояла на перекладине лестницы, ее голова была чуть выше бортика террасы, и она сомневалась, надо ли ей показываться. А то еще начнут ее ругать. Отец все время делает ей замечания, что она

ходит за ними по пятам, вмешивается в жизнь взрослых, не знает своего места. Она заметила вдалеке тучу, формой напоминавшую мозг, временами озарявшуюся сиянием и наэлектризованную до предела. Сельма была права. Скоро пойдет дождь, и они будут спасены. Не зря она молилась, ее ангел-хранитель держит слово. Она осторожно перелезла через бортик и потихоньку подошла к Матильде, а та, заметив ее, ничего не сказала. Она прижала голову дочери к своему животу и повернулась к угасающему пожару.

У них на глазах погибал целый мир. Напротив догорали дома французских поселенцев. Огонь пожирал платица милых воспитанных девочек, шикарные манто их матерей, вместительные шкафы, в глубине которых, обернутые полотном, хранились роскошные наряды – те, что надевают только раз. Обратились в пепел книги, как и другие ценные, унаследованные от предков вещи, которыми их хозяева кичились перед местными. Аиша не могла оторвать взгляда от этого зрелища. Никогда еще их холм не казался ей таким прекрасным. Ей хотелось что-нибудь сказать, рассмеяться или пуститься в пляс, как колдунья-шуафа: бабушка рассказывала, что они бешено кружатся до тех пор, пока не упадут без чувств. Но Аиша ничего не сделала. Она села рядом с отцом и подтянула коленки к груди. «Пусть они горят, – подумала она, – пусть уходят. Пусть сдохнут».

Благодарности

Прежде всего я хотела бы выразить признательность моему редактору Жан-Мари Лаклаветину: без него эта книга никогда не вышла бы в свет. Его доверие, его дружба и увлеченность литературой побуждали меня сочинять страницу за страницей. Я также благодарю Марион Бютель, чей профессионализм и доброе отношение помогли мне находить время для творчества. Моя глубочайшая благодарность историку Хасану Ауриду, Кариму Бухари, профессорам Мустафе Беншеиху и Маати Монджибу: я черпала вдохновение в их трудах, а кроме того, они любезно делились со мной своими знаниями о жизни в Марокко в 1950-е годы. Спасибо Джамалю Бадду за его откровенные беседы и его душевную щедрость. И наконец, хочу от всего сердца поблагодарить моего мужа Антуана, который прощает мою рассеянность, безропотно несет стражу у двери моего кабинета и каждый день доказывает, как сильно он меня любит и как поддерживает.

Примечания

1

Мелла – название еврейских кварталов в марокканских городах. Меллы впервые появились в XV веке и обычно располагались поблизости от резиденций правителей. *(Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, прим. перев.)*

2

Себси – тонкая марокканская трубка для курения гашиша.

3

Хайк – традиционное женское одеяние в странах Магриба, закрывающее голову и тело целиком; прямоугольный кусок ткани размером 6 × 2,2 м, который драпируется и закрепляется на талии поясом, а на плечах – пряжками.

4

«Чтоб Господь наслал на тебя тиф!» *(Здесь и далее арабские слова и выражения автор передает латиницей и предлагает свой перевод.)*

5

«*Рожки газели*» – традиционное марокканское печенье из тонкого хрустящего теста с миндальной начинкой.

6

Ид-аль-Кабир (чаще Ид-аль-Адха) – мусульманский праздник, тюркское название которого Курбан-байрам.

7

«*Счастливая долина*» (*La Vallée Heureuse*) – обширный ландшафтный парк с водопадами и прудами, виноградниками, плантациями оливковых деревьев, коллекцией экзотических растений и разнообразными архитектурными объектами, созданный в годы Первой мировой войны архитектором и ботаником Эмилем Паньоном. Он располагался в нескольких километрах от Мекнеса и был популярным местом отдыха и туризма. Ныне заброшен и пришел в упадок.

8

Почтительное обращение к женщине.

9

О отец!

10

Дочка.

11

Дочь хозяина.

12

Отсылка к одному из хадисов – преданий о словах и делах пророка Мухаммеда: услышав голос петуха, говорил он, славьте Аллаха и просите о милости, ибо петух поет, когда видит ангела.

13

Французы презрительно называли североафриканцев крысятами (*les ratons*).

14

Имперские города Марокко (Фес, Марракеш, Мекнес, Рабат) в разные периоды истории были столицами правящих династий.

15

Дядюшка Анси (Oncle Hansi) – Жан-Жак Вальц (1873–1951), французский художник эльзасского происхождения, иллюстратор и карикатурист.

16

«Заткнитесь!»

17

Современное название города – Сиди-Касем.

18

Матушка.

19

То есть на острове Мадагаскар. В августе 1953 г. султан Мухаммед V был низложен и вместе с семьей отправлен на Корсику, а затем в январе 1954 г. перевезен на Мадагаскар.

20

Монолог Ореста из трагедии Жана Расина «Андромаха» (I, 1).

21

«*Штрувельпетер*» (Struwwelpeter, 1845; в русском переводе 1849 г. «Степка-растрепка», автор перевода неизвестен) – сборник детских назидательных стихотворений в жанре «ужастиков», написанный немецким психиатром Генрихом Гофманом для своего сына.

22

Бусбир – квартал в Касабланке, в эпоху французского протектората отведенный под публичные дома. (Прим. автора.)

23

Мокаддем — помощник местной администрации. (Прим. автора.)

24

Дьенбьенфу – город на северо-западе Вьетнама, где весной 1954 г. произошло длительное сражение между вьетнамцами и французами, положившее начало деколонизации Индокитая.

25

Сынок.

26

Посторонись!

27

Риад – большой, в несколько этажей, дом с просторным внутренним двором, как правило, с водоемом и фонтаном. Риады чаще всего располагались в медине (историческом центре) марокканских городов; ныне в основном превращены в гостиницы.

28

Припев популярной песенки в исполнении Мориса Шевалье; Амин слегка изменил слова.

29

Грех.

30

Шарль Ногес — генерал-резидент Франции в Марокко с 1936 по 1943 г.

31

Имеется в виду нарушение запрета на алкоголь в исламе.

32

Адул (адел, адил) – в странах Северной Африки представитель закона, исполняющий некоторые обязанности нотариуса.

33

Специальная площадка, устроенная рядом с местом манифестаций для эвакуации пострадавших каретами скорой помощи. (*Прим. автора.*)